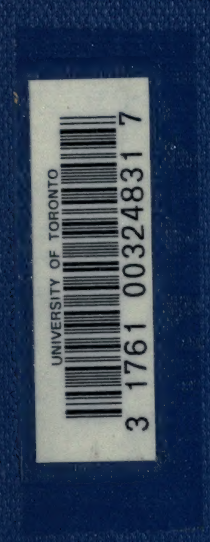

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00324831 7



КНИГА ТРЕТЬЯ.

КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ.

ДРОЖАЩІЯ СТУПЕНИ.

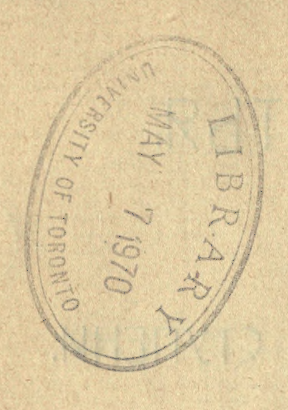
Часть 1-я.

СЕМНАДЦАТАЯ ТЫСЯЧА.

Я мечтою ловилъ уходящія тѣни,
Уходящія тѣни погасавшаго дня.
Я на башню всходилъ, и дрожали ступени,
И дрожали ступени подъ ногой у меня.
И чѣмъ выше я шелъ, тѣмъ яснѣй рисовались,
Тѣмъ яснѣй рисовались очертанья вдали
И какіе-то звуки вдали раздавались,
Вкругъ меня раздавались отъ Небесъ и Земли..

Бальмонтъ.

РОМАНЪ А. ВЕРБИЦКОЙ.





Типо-литографія Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К⁰, Пименовская ул., соб. домъ

МОСКВА—1911.

I.

Отъ М. Штейнбаха Сонѣ Горленко.

Декабрь. Вѣна.

„Мы пріѣхали нынче, а завтра уже выѣзжаемъ въ Венецію. „Сыро. Идетъ дождь со снѣгомъ. Мы топимъ печи.

„Я усталъ, Соня. Вы помните, какъ я рвался въ путь? Я вложилъ въ эту поѣздку такъ много упованій и разсчетовъ! Я вѣрилъ въ новую Маню, вопреки всему, что говорили доктора.

„Поѣздъ въ семь часовъ переѣзжаетъ черезъ узкій мостикъ „Онъ отдѣляетъ Россію отъ Австріи. Низкіе холмы, небольшой ручеекъ. Нѣсколько оборотовъ колеса, и Россія осталась позади. „Иная жизнь неслась намъ навстрѣчу. Хуже ли, лучше ли? Но иная.

„— Маня, оглянись!—сказалъ я.—Ты долго не увидишь Россіи."

„Но лицо ея оставалось нѣмымъ.

„Сейчасъ пробило два. Я открывалъ окно, глядѣлъ въ озаренныя улицы, слушалъ сонное дыханіе *Веселой Вѣны.*

„Давно исчезло веселье изъ этого мѣщанскаго города. Трудно „подумать, проѣзжая мимо мрачнаго дворца, что когда-то на этой „площади бушевала толпа, и что тронъ Габсбурговъ заколебался „отъ раскатовъ народной бури.

„Я не люблю Европы, Соня. Она кажется мнѣ наглухо запертымъ ящикомъ. Въ немъ хранятся цѣнные пергаменты; покрытыя пылью вѣковъ лѣтописи былыхъ подвиговъ; легенды, гдѣ „личность встаетъ во весь ростъ... „Но ящикъ запертъ на ключъ. „И охраняетъ его Церберъ. И имя ему *Буржуазность.*

„Чѣмъ живутъ они? Какъ живутъ они, для которыхъ все уже „рѣшено? За которыхъ все уже сказано? У кого есть все, что нужно мирному обывателю?.. Но зато отняты всѣ возможности, всѣ „мечты безумцевъ?

„Вы удивляетесь, отчего я такъ усталъ? Въ моей душѣ слишкомъ малъ запасъ жизненной энергіи. А она здѣсь вся уходитъ „на пререканія изъ-за мелочей. Хочу взять train de luxe, чтобъ „скорѣе быть на югѣ. Но фрау Кеслеръ заявляетъ: „—Это намъ „съ Маней не по средствамъ. Петръ Сергѣевичъ даетъ намъ опредѣленную сумму. Мы не можемъ выйти изъ бюджета".—Она бе-

„реть путеводитель и выбираетъ поѣздъ самый утомительный. Но „зато дешевый.

„И я покоряюсь. Я не рѣшаюсь настаивать и доказывать, что „четырнадцать часовъ дороги вредны для больной. Пусть! Сохра-„нить пятьдесятъ марокъ—задача болѣе достойная.

„Ахъ, этотъ страхъ людей передъ деньгами!..

„Но я нагналъ на васъ скуку. Простите.

Вашъ Маркъ.

. . . .

„Три часа. Мнѣ не спится.

„У меня нѣтъ ключа къ душѣ Мани.

„Когда я смотрю въ ея глаза теперь, ревнивый мракъ, подавляю-„щій и жуткій, глядитъ мнѣ навстрѣчу. И я не вижу въ немъ „пути къ ея сердцу.

„Она сейчасъ чужая и мнѣ и вамъ. Кого любитъ она? Не знаю. „Страдаетъ ли? Тоже не знаю. Возможно, что она даже не цѣнитъ „жизнь, такъ сурово разбившую ея иллюзіи.

„Но я долженъ найти ее въ этомъ мракѣ!

„Не казалось ли вамъ, что Маня прожила эти годы за хрусталь-„ной стѣной, какъ въ стихахъ Тетмайера? *)

Немногіе изъ насъ отрѣзаны отъ свѣта
Хрустальной, призрачной, обманчивой стѣной.
За нею, какъ всегда, въ могуществѣ расцвѣта,
Вскипая, бьется жизнь смывающей волной.
Изъ-за нея все видно такъ свѣтло и ясно,
Такъ четки образы мелькающихъ людей,
Что мнится, нѣтъ ея...

„Эти немногіе—поэты... Но мы не понимаемъ ихъ. Они тоскуютъ „объ облакѣ, растаявшемъ въ лазури. Они вдохновляются такими „обыкновенными вещами, какъ закатъ солнца, лунный свѣтъ, аро-„матъ цвѣтка. Они замѣчаютъ вещи, мимо которыхъ мы прохо-„димъ ежедневно, и говорятъ намъ: „Остановись! Это красота. Пре-„клони предъ ней колѣна".

„Эти натуры чужды толпѣ. И толпа инстинктивно не любитъ „ихъ. Она нормальна. Она жаждетъ ярма, цѣпей, долга, рабства. „Она требуетъ строго опредѣленныхъ рамокъ для вѣры, любви, „дружбы. Все, что переходитъ эти рамки, есть уже вырожденіе. „Самоотверженіе и экстазъ, яркая страсть, фанатизмъ въ работѣ, „стремленіе къ свободѣ, героизмъ—все вырожденіе! Она враждебно „глядитъ на голову, которая дерзнула подняться надъ общимъ „уровнемъ. Быть-можетъ, это голова поэта, мыслителя, художника? „Все равно! Пригнуть ее пониже! Выродженцамъ нѣтъ пощады.

---

*) Перевелъ Александръ Топольскій.

„Всѣ должны одинаково мыслить и одинаково чувствовать. Индивидуализмъ—это плевелы на полѣ, всегда готовомъ къ жатвѣ. „Красотѣ нѣтъ мѣста въ мірѣ, гдѣ царствуетъ полезное. Расцвѣтъ „и ростъ индивидуальности грозитъ распадомъ „сплоченному большинству“... Все нивеллировать, все подчинить общему закону— „вотъ идеалъ толпы.

„И натурамъ, какъ Маня, нѣтъ иного выхода, какъ жить за „хрустальной стѣной. Только тамъ, отгородившись отъ *рынка* и „*улицы*, поэтъ слагаетъ свои стихи, художникъ обдумываетъ картины, ученый работаетъ надъ микроскопомъ. Пока стѣна стоитъ, „живы искусство и мысль.

„Никого изъ насъ она не знала. Всѣ мы: Нелидовъ, Янъ, вы, „я—были созданы ея мечтой.

„Но жизнь грубо ворвалась въ это царство грезы. Она разрушила стѣну изъ хрусталя. И Маня гибнетъ.

„Внутренній голосъ говоритъ мнѣ: „Создай ей новую сказку! „Силой твоей любви вызови передъ нею новый міръ. Полный несбыточнаго. Далекій отъ возможнаго“.

„Венеція? Италія?.. Искусство?..

„Если я ошибусь и тутъ...

„Но гдѣ же мнѣ найти ее?.. Гдѣ?

. . . .

„Самымъ красивымъ цвѣткомъ въ таинственномъ саду этой „души была любовь.

„Этотъ цвѣтокъ растоптанъ.

„Надо сѣять другіе. Надо создать новыя цѣнности. Въ разоренномъ храмѣ поставить новыхъ боговъ.

„Вы говорите: „Ея міросозерцаніе ложно. Не въ счастіи смыслъ „жизни“. Но что такое *счастіе*, Соня?.. Вы это знаете?

„Правда, Маня пошла къ нему торнымъ путемъ.

„Это та большая дорога, о которой говоритъ Янъ. Слезами и „кровью полита она вся. Вся, до единой песчинки! Долго шли по „ней женщины. И не скоро отыщутъ онѣ новыя тропы.

„Что дала Манѣ ея любовь къ Нелидову? Слезы, униженія, потерю иллюзій, жажду смерти. Все, что получаютъ женщины, порабощенныя страстью. Всѣ, поставившія любовь въ центрѣ жизни. Всѣ, отдавшія ей душу... А вы помните завѣтъ Яна? *Душу* „*свою не отдавайте любви*. Какъ звѣрь пожираетъ она ее.

„О, я знаю это! Я это знаю хорошо.

„Васъ поразила попытка Мани покончить съ собою?

„Почему? Я ждалъ этого, какъ неизбѣжнаго. Тотъ, кто создалъ „себѣ изъ любви кумира, долженъ гибнуть отъ любви. Это жестоко, но логично. Все это звенья одной цѣпи.

„Говорятъ, она случайно осталась жива. Но я не вѣрю въ случай.

„Вы видѣли когда-нибудь деревья, надъ которыми пронесся „ураганъ? Они стоятъ, согнувшись, не въ силахъ выпрямить верху- „шекъ. И ужасомъ вѣетъ отъ нихъ, какъ на картинѣ Рущица.

„Душа Мани похожа теперь на эти деревья. Вѣтки сломаны. „Листья опали и умираютъ на землѣ.

„Но вѣдь распрямится же она когда-нибудь! И найдетъ свое „счастіе!

„Не въ любви.

„Въ другомъ.

„Когда вернется весна, и зазеленѣютъ новые побѣги, я дамъ „ей книгу Яна. Хочу, чтобъ она искала путь на высокую башню! „Хочу, чтобъ она взошла на нее.

„О, не думайте, что это дастся ей легко! И этотъ путь, какъ „старыя тропы, будетъ весь залитъ слезами и кровью. И „мно- гія погибнутъ по дорогѣ къ башнѣ.

„Но развѣ побѣда бываетъ безъ жертвъ?

„Весь долгій путь человѣчества къ прогрессу тоже залитъ „кровью. Пугаетъ ли это идеалистовъ и мечтателей?.. „Не возна- „градитъ ли и васъ сознаніе, что впереди освобожденіе?

„Надо выработать міросозерцаніе. Это прежде всего.

„Когда я создамъ новыя цѣнности въ ея опустошенной душѣ; „когда распустятся посѣянные Яномъ и взлелѣянные мною цвѣ- „ты,—моя роль будетъ кончена. И я скажу себѣ, что я прожилъ „не даромъ." . . . .

II.

Поѣздъ ныряетъ въ туннеляхъ съ тонкимъ, какимъ-то безпо- мощнымъ вскрикомъ. Путь вьется и подымается въ горы. За- свѣжѣло. Чувствуется близость снѣга.

Вотъ и станція Земмерингъ, на перевалѣ. Всюду глубокій снѣгъ и тишина. Поѣздъ уйдетъ. И опять все погрузится въ молчаніе. Воздухъ необычайно чистъ. Такого нѣтъ въ долинахъ. Тирольки въ круглыхъ шляпахъ и короткихъ юбкахъ продаютъ засушенные эдельвейсы и ароматныя еловыя вѣтки. Всѣ выбѣжали на плат- форму и смотрятъ въ горы.

Маня лежитъ въ купэ, закрывъ глаза. Штейнбахъ не знаетъ, сонъ это или слабость. Онъ боится перевернуть газету.

Поѣздъ перевалилъ и стремительно бѣжитъ внизъ.

Вдругъ шумно отворяется дверь, и входитъ фрау Кеслеръ.

— Спишь? Вставай скорѣе, Маня!.. Видны Альпы...

Маня садится и поднимаетъ рѣсницы. Какая пустота въ ея взглядѣ!

— Хочешь выйти?—шопотомъ спрашиваетъ Штейнбахъ.

„Мнѣ все равно“, отвѣчаетъ ея лицо.

О, эти жесты! Эта походка! Лишенные души. Автоматичные, какъ у куклы...

Все та же! Та же...

Они выходятъ въ корридоръ. Всѣ прильнули къ окнамъ. Вдали залегла серебристая туча, съ четко изломанными краями.

— Тирольскія Альпы,—взволнованно говоритъ фрау Кеслеръ.— Я тамъ жила дѣвушкой...

Маня смотритъ вдаль. Штейнбахъ смотритъ на нее. Ему чудится... Или это ошибка? Нѣтъ... Глаза ея ожили. Лицо теряетъ бездушіе маски. Брови поднялись, удивленныя.

Штейнбахъ боится выдать свое волненіе.

Мелькаютъ бѣлые стройные віадуки. Къ полотну подходятъ горныя ущелья. Лѣса, утонувшіе въ снѣгахъ, лѣпятся на уступахъ. Водопадъ свергается внизъ, сверкая, какъ атласная лента. И весь зеленый бѣжитъ и бурно пѣнится горный потокъ, кидаясь въ долину. Горы громоздятся... Все выше и выше... Ничтожнымъ и смертнымъ чувствуетъ себя человѣкъ.

Она молчитъ, стараясь вспомнить что-то важное для нея.

Долина становится все у́же... Кажется, дальше ужъ некуда ѣхать... Вдругъ крутой поворотъ... И вдали, сверкая на солнцѣ, развертывается горная цѣпь. Призрачное, неподвижное, далекое отъ жизни, безмолвное царство вѣчныхъ снѣговъ...

И онъ вдругъ поразительно ярко чувствуетъ, что дрогнули очи ея души, ослѣпшія отъ горя и мрака. Онъ чувствуетъ трепетъ разбуженной мысли. Что дастъ она? Безцѣльное страданіе? Опять?.. Или же осмысленную тоску исканій?

— Замокъ, Маня... Развалины...—кричитъ фрау Кеслеръ.

Прямо на нихъ изъ золотистой дымки несутся очертанія замка-призрака. Какъ орлиное гнѣздо повисъ онъ на вершинѣ отвѣсной скалы.

„Ueber Land und Meer“... шепчетъ Маня. И улыбка, слабая и нѣжная, раскрываетъ ея губы, уже непохожія на цвѣтокъ.

Штейнбахъ не понимаетъ. Онъ боится спросить... Названіе дѣтскаго журнала, кажется? Почему она вспомнила? И не оттого ли, что взоръ ея черезъ гряду всего темнаго и пережитаго упалъ въ эти золотыя поля ея дѣтства,—въ лицѣ ея опять задрожала улыбка?.. Ему страшно разбить настроеніе, налетѣвшее Богъ вѣсть откуда!

Горы, долины, зеркала озеръ, старинные города, затерянныя въ горахъ деревушки—бѣгутъ, какъ въ панорамѣ.

Вотъ замокъ. Уже другой. Весь въ развалинахъ...

...Она его видѣла... Она его знаетъ. Она прилетала сюда не

разъ на крыльяхъ мечты, дѣвочкой съ кудрявой головкой... Она какъ фея взмахнула волшебной палочкой... И вотъ руины оживаютъ. Камни встаютъ. Стѣны одѣваются плющомъ Мостъ на цѣпяхъ перекидывается черезъ глубокій ровъ. Трубитъ рогъ егеря. Лаютъ псы. Князь выѣзжаетъ на охоту.

Маня видитъ его глаза. Сѣрые, надменные, жестокіе глаза.

„Почему она такъ поблѣднѣла?..“ думаетъ Штейнбахъ.

...Какъ хищникъ царитъ онъ надъ окрестностью. Женщины изъ деревни, прилѣпившейся у подножія скалы, унимаютъ плачущихъ дѣтей однимъ видомъ зубчатыхъ стѣнъ и темныхъ оконъ. Боязливо крадется мимо вассалъ, прячась въ кустарникѣ. Онъ дрожитъ за свой урожай, за свой заработокъ, за честь жены или дочери.

...Съ башни видны всѣ дороги. Ни одинъ караванъ, ни одинъ странствующій пѣвецъ не скроется отъ зоркаго глаза.

...Вотъ спускаютъ съ грохотомъ и лязгомъ подъемный мостъ. Подъ ворота, украшенныя гербами, въѣзжаютъ купцы съ товарами.

...Во второмъ дворѣ ихъ ждетъ князь. Его улыбка привѣтлива. Но холодомъ вѣетъ отъ нея.

...Что это за страшный ударъ, отъ котораго дрогнули гости?

...Это желѣзный занавѣсъ упалъ за ихъ спиною. И отрѣзалъ ихъ отъ міра.

...„— Вы—мои плѣнники“,—улыбаясь, говоритъ имъ князь...

Ахъ! Маня знаетъ эту улыбку... Она ее не забыла...

...Выкупъ возвращаетъ купцамъ свободу. Но горе имъ, если они протестуютъ!.. Подъ гулкими плитами замка чернѣютъ зловонные колодцы темницъ. Ни одинъ лучъ солнца не проникалъ туда. Прикованные къ кольцу въ стѣнѣ, тамъ медленно умираютъ узники. И когда пушки Габсбурговъ разрушатъ эти твердыни, въ подземельѣ найдутъ заржавленныя цѣпи и истлѣвшія кости.

...Но князь умѣетъ цѣнить искусство.

...Какъ коронованное лицо, гордо вступаетъ подъ арки воротъ рыцарь-менестрель съ своей лютней.

...Въ залѣ пылаетъ огонь въ каминѣ. Головы вепрей и медвѣдей скалятся на стѣнахъ. Хозяинъ подноситъ гостю вино въ кованомъ кубкѣ ...А сверху, съ лѣстницы, спускается дама. Тяжелый шлейфъ волочится по ступенямъ. Серебристый вуаль кутаетъ ея плечи. Печальный взоръ съ ожиданіемъ глядитъ на того, кто принесъ ей вѣсти иного міра, гдѣ нѣтъ насилія и крови; нѣтъ пьяныхъ пирушекъ и грубыхъ ласкъ. Гдѣ нѣтъ торжествующихъ наложницъ. Гдѣ не льются въ тиши слезы обиды“ . . . .

. . . .

Глаза Мани расширяются и застываютъ на одной точкѣ. Она видитъ ихъ лица... Она слышитъ голоса... Отчетливо и ясно, какъ

будто это было вчера... Душа ея звучитъ. Встаютъ новые образы. Призрачные. Сквозь нихъ еще видно прошлое. Это прошлое, отъ котораго сердце ея стало одной открытой раной. Но вымыселъ какъ дымкой окуталъ знакомыя черты. И онѣ стали иными. И глядѣть въ нихъ можно безъ боли.

...Князь съ досадой смотритъ на жену. Опять она плакала! И щеки ея блѣдны... Онъ любитъ только румяныхъ. Только здоровыхъ... Она такъ много смѣялась и плясала, когда онъ ее встрѣтилъ. Онъ думалъ найти въ ней свою радость, свой отдыхъ... И чѣмъ она недовольна? Развѣ не цѣлуетъ онъ ея глаза, ея косы, ея губы? Развѣ не любитъ онъ ея тѣло? Не осыпалъ онъ ее развѣ подарками? Не окружилъ ее почетомъ? Ей—бѣдной, незнатной дѣвушкѣ—выпала честь быть княгиней. А она смѣетъ тосковать... Она должна родить ему наслѣдника. Въ этомъ все ея назначеніе!

...Она поднимаетъ рѣсницы и глядитъ на менестреля. У него печальное блѣдное лицо, скорбная улыбка. Брови сокола. Глаза безъ блеска и дна... Таинственные... И рѣсницы его длинны, какъ стрѣлы... Ихъ взгляды встрѣчаются. На одинъ мигъ... Онъ беретъ лютню.

...О чемъ поетъ онъ?.. Не все ли равно!.. Важны не слова... Этотъ голосъ колдуетъ. И въ душѣ, растоптанной и измятой страданіемъ, распускаются цвѣты.

...Онъ поетъ о весеннихъ зоряхъ, о лунномъ свѣтѣ. О любви, загорающейся съ перваго взгляда. Любви, далекой и робкой... которая ничего не требуетъ... которая не знаетъ удовлетворенія и усталости. Онъ поетъ о загробной встрѣчѣ. Объ иной жизни, гдѣ ангелы ласковыми пальцами прикоснутся къ ранамъ души, истекающей кровью здѣсь, на жестокой землѣ ...По блѣднымъ щекамъ катятся слезы и падаютъ на кружева и атласъ... Но это слезы счастія. Она ихъ забыла.

...Уронивъ на колѣни загрубѣлыя руки, внимаютъ пѣвцу и другія женщины. Онѣ состарились среди работъ и страха. Какъ и госпожа, онѣ не знали въ жизни ничего, кромѣ насилія и страданій. Желаніе называли любовью. Согласія не спрашивали. Поцѣлуи брали, какъ дань. Потомъ уходили къ другой. Госпожъ и рабынь, ихъ ждала та же участь.

...А пѣвецъ поетъ о валькиріяхъ. О гордыхъ и свободныхъ дѣвахъ. Онѣ дарятъ свою любовь по выбору. Сильнымъ и прекраснымъ. Оскорбителей убиваютъ на поединкахъ. Онѣ знаютъ, что такое вѣтеръ въ степи, бѣшено бьющій въ лицо. Онѣ знаютъ поцѣлуи росы на бѣлыхъ ногахъ. Знаютъ ночные туманы, ткущіе серебряныя сказки. Онѣ знаютъ, что такое гордое и желанное одиночество...

...О, какъ все это далеко! Все ушло. Все недоступно... Принцессы

не ходятъ босыми ногами. Принцессы не смѣютъ бродить по лѣсу безъ свиты... Что знаютъ онѣ объ янтарныхъ зоряхъ? О серебряномъ туманѣ? Объ алыхъ улыбкахъ разсвѣта?..

. . . .

Замокъ исчезъ давно. Горы раздвинулись. Внизу лѣпится старинный городокъ съ готическимъ соборомъ. Скорбно рвется ввысь изъ тѣсной долины прелестная колокольня, какъ страстный вопль закованной въ цѣпи души. Это молитва, воплощенная въ камнѣ. Маня провожаетъ ее долгимъ взглядомъ.

Какъ надо было вѣрить, чтобы создать такой символъ! Такой пламенный порывъ къ небу человѣческаго духа...

— Wie schön!..

Штейнбахъ оглядывается съ досадой. Онъ чувствуетъ, что этотъ возгласъ разбилъ красивое настроеніе.

Поѣздъ полонъ новобрачными. Этотъ путь—традиціонная свадебная поѣздка нѣмцевъ. Къ окну прильнула пара. У него типъ торговца, рыжіе усы, глаза безъ мысли, самодовольная усмѣшка. Онъ такъ много пьетъ пива, что уже отрастилъ себѣ брюшко, хотя ему нѣтъ 30-ти лѣтъ. Онъ одѣтъ въ вѣнскій готовый костюмъ. Его сигара отравляетъ воздухъ.

Она—съ линючими волосами. Безвкусна, неуклюжа, съ плоской, длинной таліей. Съ румянымъ лицомъ, лишеннымъ души. Но ему не надо лучшаго. Онъ безстыдно обнимаетъ ее. Глядитъ еще несытыми глазами. Громко цѣлуетъ въ щеку. Ихъ улыбки, взгляды, жесты полны такой примитивной чувственности, что двѣ юныя англичанки, пожавъ плечами, становятся къ нимъ спиной.

Маня вдругъ блѣднѣетъ. Порывисто открываетъ она дверь купэ и садится, отвернувшись къ окну.

Но она ничего не видитъ теперь. И руки ея дрожатъ.

Штейнбахъ остается въ корридорѣ. Онъ не смѣетъ войти. Что вспомнила она? Онъ чувствуетъ себя виноватымъ за эти циничныя ласки, за чужіе поцѣлуи. За все, что принято называть *любовью.*

— Что такое?—спрашиваетъ фрау Кеслеръ.

Онъ молча показываетъ ей на пару.

— „Unanständig?“ — смѣется она. — Ахъ, надо снисходить къ людскимъ слабостямъ!—Она смотритъ въ щелку:

— Маркъ Александровичъ, представьте! У нея въ лицѣ отвращеніе... Какъ будто передъ нею жаба!

— Да. Знаю. Но она переноситъ это отвращеніе и на меня!

— Ахъ, Боже мой!.. О чемъ вы думаете? Вѣдь это уже вспышка... Раньше лицо ея было маской... Почему вы не радуетесь?

„Да, да. Я долженъ радоваться“, говоритъ онъ себѣ.

Надъ дикой пустыней за Понтеббой начинаетъ сѣять дождь. Онъ косо бьетъ въ окна. И вдругъ, какъ змѣйки, бѣгутъ внизъ струйки по стеклу. Бѣгутъ, перегоняютъ другъ друга... Встрѣчаются и исчезаютъ...

Маня задумчиво смотритъ на нихъ. Потомъ ложится опять и закрываетъ глаза. Душа пресытилась зрительными впечатлѣніями...

Рядомъ ѣдутъ двѣ англичанки, обѣ молодыя и бѣлокурыя. Одна высокая, здоровая, ласковая и застѣнчивая. Другая съ лицомъ чахоточной, капризная, властная. И худенькая, и маленькая, какъ дѣвочка. Стиснувъ зубы, онѣ глухо говорятъ, читаютъ англійскіе романы и великолѣпно игнорируютъ окружающихъ. Справляясь съ путеводителемъ, онѣ смѣло выходятъ на станціяхъ и возвращаются съ горячими сосисками, завернутыми въ бумагу, или съ бутылочками вина въ плетенкахъ.

На закатѣ солнца облачная пелена разрывается. И вдругъ между холмами, въ маленькой долинѣ, загорается радуга.

— Гляди, гляди, Маня! Совсѣмъ какъ мостъ...

Да, похоже!.. Сверкающій, радужный мостъ. Сквозь него видны горы. Однимъ концомъ радуга оперлась въ землю. Совсѣмъ близко... Вонъ она дрожитъ у камня. Призрачная. Какъ наша радость... Страшно! Сейчасъ разсѣется.

Поѣздъ подходитъ ближе. Почти касается этого камня. Хочется протянуть руку и дотронуться до радуги.

„О, милая... Такая чуждая намъ. Странная, какъ сказка... Зачѣмъ спустилась ты сюда, въ эту глухую долину! Что ты хочешь мнѣ напомнить? Сказать?“

„Или утѣшить меня хочешь?.. Ты, прекрасная?..“

Поѣздъ проносится мимо.

Радуга все еще дрожитъ надъ землей. Сейчасъ растаетъ...

— Исчезла...—говоритъ фрау Кеслеръ.—Въ первый разъ вижу ее такъ близко..

Маня закрываетъ глаза. Во мракѣ еще дрожитъ и переливается воздушный мостъ.

Грезы сходятъ по немъ на землю. Сны обманувшихся.

Счастливъ тотъ, кто ихъ видитъ!

Южныя сумерки падаютъ быстро. Всѣ утомились, примолкли. Фрау Кеслеръ тоже прилегла. И уже спитъ, тихонько всхрапывая.

Штейнбахъ смотритъ на Маню.

И вдругъ сердце его начинаетъ громко стучать. Спитъ она или дремлетъ? Но онъ ясно видитъ въ ея лицѣ улыбку.

Съ той ночи она *такъ* не улыбалась.

Онъ долго, жадно глядитъ въ это лицо. Такое замученное, больное, утратившее красоту и свѣжесть.

Онъ никогда не видалъ ее спящей. Никогда.

И сейчасъ передъ нимъ чужое лицо. Въ чемъ была его прелесть? Гдѣ тайна его обаянія? Неправильный профиль. Отъ худобы ротъ сталъ большой, и въ линіяхъ его усталость. Краски исчезли. Фигура уже не та. Она будетъ матерью... чужого ему ребенка.

И нѣтъ, казалось бы, между ними никакой связи, никакой близости. Она говоритъ ему *ты*, какъ брату. Но игнорируетъ его, какъ все и всѣхъ кругомъ, въ своемъ загадочномъ оцѣпенѣніи.

Онъ смотритъ и слышитъ стукъ собственнаго сердца.

Это ли та смуглая дѣвочка, что встрѣтилась случайно на его дорогѣ и взяла всю его жизнь? Это ли безумная, жестокая и прекрасная Маня, которая лежала на его груди и клялась, что въ его любви все ея счастіе?

„Мы всѣ умираемъ много разъ. И раньше нашей смерти“.

Хорошо сказано!.. Вотъ эту спящую передъ нимъ больную женщину развѣ онъ знаетъ?..

Любитъ ли?

Онъ любилъ Маню, которой нѣтъ. Та Маня ушла навѣки.

Въ тѣ страшныя ночи, когда они всѣ, молчаливые и растерявшіеся, сидѣли въ комнатѣ умирающей, они не даромъ оплакивали ее. Маня умирала. Маня уходила отъ нихъ... Мани нѣтъ.

Онъ слышалъ въ ту ночь ея голосъ: „Маркъ... Маркъ... Маркъ...“

Это былъ вопль погибающей души. Послѣдній привѣтъ уходившей...

О, онъ не ошибся тогда! Его отчаяніе подсказало ему истину.

Та Маня ушла въ Безконечность. И унесла съ собой Любовь.

Онъ выходитъ въ корридоръ покурить.

Непроницаемая южная ночь прильнула къ окнамъ.

Ахъ, эта улыбка ея! Эта новая странная улыбка..

О чемъ грезитъ она? Кто снится ей?

Нѣтъ ключа къ этой душѣ, гдѣ онъ видѣлъ такъ ясно! Гдѣ по желанію умѣлъ зажигать чувственность. Гдѣ онъ сѣялъ мечты.

. . . .

— Лягъ, Катя! Зачѣмъ ты себя мучишь? Навѣрно устала...

Кто это говоритъ? По-русски. И такъ мягко, задушевно...

Это высокая англичанка... Весь день онѣ обѣ сидѣли, вытянувшись въ струнку, не снимая жакетокъ и шляпъ. Даже вуалетокъ не подняли. Какъ будто ѣхали на дачу. Но послѣ десяти часовъ ѣзды онѣ вдругъ размякли. Словно тихонько выдернули изъ нихъ

стальную пружину. Сначала сняли шляпы и жакетки. Потомъ маленькая прислонилась вискомъ къ спинкѣ дивана.

— Право, лягъ. Тебя навѣрно знобитъ. И всѣ уже спятъ. Никто на тебя не смотритъ...

Но маленькая гнѣвно качаетъ головой. Она еще крѣпится и, упорно стискивая зубы, отвѣчаетъ сестрѣ по-англійски.

Черезъ полчаса сдается и она. Высокая, оказавшаяся Лизой, вынимаетъ изъ портсака подушечку и закрываетъ сестрѣ ноги пледомъ.

Скоро въ вагонѣ настаетъ тишина. Корридоръ опустѣлъ. Катя заснула, и на щекахъ ея горятъ два пятна. Уронивъ книгу на колѣни и запрокинувъ головку, Лиза громко дышитъ.

Изъ третьяго купэ несется храпъ новобрачнаго.

Ночь непроглядна. И въ стеклахъ отражаются только огни фонарей и спящія фигуры.

Штейнбахъ куритъ, сидя на откидномъ стулѣ, въ корридорѣ. Онъ какъ бы оберегаетъ сонъ всѣхъ этихъ одинокихъ женщинъ. Но въ душѣ у него такая же ночь.

Маня молчала всѣ эти два мѣсяца послѣ катастрофы. Однако Соня помнитъ минуту, когда въ нѣмомъ лицѣ ея блеснула нѣжность. Она почувствовала въ себѣ біеніе новой жизни.

„Она будетъ страстно любить свое дитя", говорила ему фрау Кеслеръ. „И это спасетъ ее..." Да. Но не безуміе ли опять строить на пескѣ свое счастіе? Опять бережно ставить въ храмѣ глиняныхъ кумировъ? Развѣ дѣти не умираютъ? Развѣ въ жизни не все невѣрно и случайно?

Подняться надъ жизнью. Полюбить вѣчное. Цѣлью бытія сдѣлать стремленіе ввысь...

Взойти за Яномъ на высокую башню...

Поѣздъ замедляетъ ходъ. Вдали уже видно зарево города. Коегдѣ у самыхъ рельсъ свѣтлѣетъ мертвая вода лагунъ. Какъ будто плывешь по морю... Штейнбахъ входитъ въ купэ.

— Что такое?.. Неужели я уснула?.. Мы уже подъѣзжаемъ?

Фрау Кеслеръ живо вскакиваетъ на ноги и глядитъ, прильнувъ лицомъ къ стеклу.

— Мы будемъ въ Венеціи черезъ 45 минутъ.

Вдругъ Маня встаетъ. Глаза огромные, жадные. Глаза прежней Мани. Они словно обжигаютъ лица Штейнбаха и фрау Кеслеръ. Пытливо, до реальности жгуче дотрагивается она взглядомъ до ихъ душъ. И онъ какъ бы чувствуетъ на своемъ сердцѣ ея слабые пальчики...

Она подходитъ къ окну и, сдавивъ ладонями виски, вглядывается во тьму.

Фрау Кеслеръ тихонько пожимаетъ локоть Штейнбаха. Ея блестящіе глаза говорятъ: „Гляди!.. Ты понимаешь, что это значитъ?“ Да. Видны только плечи, затылокъ, ея руки, прижатыя къ вискамъ. Но жизнью вѣетъ отъ всѣхъ этихъ линій. Торжествующей жизнью. Радостью. Порывомъ.

Какъ прежде!.. Какъ прежде...

III.

Боже! Что за шумъ?

Это послѣдняя станція передъ Венеціей. Толпа фабричныхъ работницъ возвращается въ предмѣстье.

Словно лавина обрушилась на вагонъ. Итальянки мгновенно наполняютъ криками и смѣхомъ всѣ площадки, корридоры...

— Второй классъ?.. Скажите, пожалуйста! Какое намъ дѣло? Если въ третьемъ не хватаетъ мѣстъ, мы сядемъ тутъ...

Онѣ черныя, вульгарныя, съ грубыми лицами. Всѣ въ модныхъ прическахъ и большихъ серьгахъ, съ огромными шалями на плечахъ. Но есть молодыя и рыжія, съ ослѣпительной кожей, словно модели Тиціана. Мужчинъ мало въ этой толпѣ.

Онѣ стучатся въ купэ Штейнбаха, хотя наверху приклеено: *Bestellt.* Онъ выходитъ и хочетъ затворить дверь. Но смуглые сильные пальцы просунулись въ щель и держатъ. Черезъ его плечо и подъ его локтемъ итальянки глядятъ въ щелку и встрѣчаютъ враждебный взглядъ Мани. Эти женщины нарушили строй ея души.

— Э, signor... Чего вы стоите? Пустите насъ сѣсть!—кричатъ работницы. Безъ гнѣва, даже съ улыбками. Но въ ихъ жестахъ такъ много темперамента!

— Моя дочь больна. Она испугается шума.

Онѣ притихаютъ на одну секунду. Безцеремонно молодая блондинка сдергиваетъ руку Штейнбаха и заглядываетъ въ купэ.

— Вотъ прелесть!—говоритъ фрау Кеслеръ, приподнимаясь на подушкѣ. Онѣ обмѣниваются широкими улыбками. Потомъ блондинка молча разглядываетъ Маню.

— О, poveretta! (Бѣдняжка!..)—Вдругъ съ громкимъ смѣхомъ она толкаетъ Штейнбаха локтемъ въ бокъ.

— Онъ говоритъ, что это его дочь... Ха!.. Ха!..

Она плутовато грозитъ ему пальцемъ. И всѣ хохочутъ.

Штейнбахъ не можетъ скрыть движенія радости.

„Развѣ виски мои не посѣдѣли за этотъ мѣсяцъ? Неужели я не кажусь старикомъ?“

Работницы расталкиваютъ заспавшихся пассажировъ. Сначала

со смѣхомъ, потомъ съ негодующими жестами. По какому праву эти синьоры улеглись на диванахъ, когда надо сидѣть?

— Мы работали весь день. И требуемъ себѣ отдыха!

— Онѣ восхитительны!—говоритъ фрау Кеслеръ.—Истинныя демократки...

Катя давно проснулась, но брезгливо стиснула тонкія губы и дѣлаетъ видъ, что спитъ. Лиза пробуетъ вступиться.

Вдругъ рабочій съ худымъ, темнымъ какъ бронза лицомъ ударяетъ кулакомъ по спинкѣ дивана. Онъ говоритъ, задыхаясь:

— Signorina, вы заплатили только за одно мѣсто!

Кровь кидается въ лицо Кати. Она садится съ лицомъ оскорбленной принцессы. Итальянки хохочутъ, упираясь въ бока руками и запрокидывая головы. Ихъ серьги звенятъ. Зубы блестятъ.

Штейнбахъ подходитъ къ рабочему.—Хотите занять мое мѣсто?

Улыбка озаряетъ темное лицо:—Grazie, signor!

Онъ шагнулъ въ купэ и робко садится рядомъ съ Маней.

— Scusi, signorina! (Извините, сударыня!)—говоритъ онъ мягко. И приподнимаетъ шляпу съ изяществомъ, за которымъ чувствуется тысячелѣтняя культура.

Фрау Кеслеръ вмѣшивается въ толпу работницъ и жестами показываетъ имъ, что есть еще мѣста.

Двѣ мегеры садятся въ ихъ купэ. У нихъ пышныя прически и ярко-накрашенныя щеки. У одной профиль вѣдьмы. Штейнбахъ вводитъ стройную блондинку. Маня внимательно глядитъ въ эти лица. И вдругъ улыбается. Потомъ она вспоминаетъ о своей бонбоньеркѣ и протягиваетъ ее красивой дѣвушкѣ.

Вотъ предмѣстье Венеціи. Работницы шумно поднимаются. Рыжая дѣвушка треплетъ Штейнбаха по плечу. Всѣ жмутъ руки фрау Кеслеръ и Мани.—Russi... Buoni Russi! (Добрые русскіе!)—восторженно говорятъ онѣ.

— Какія нахалки!—сквозь зубы цѣдитъ мрачная Катя. Лиза молча смотритъ вслѣдъ жизнерадостной толпѣ.

— Это югъ!—говоритъ фрау Кеслеръ.—Онѣ принесли съ собой счастіе...

Вдругъ звуки музыки раздаются въ корридорѣ.

Это бродячіе музыканты: старый со скрипкой и помоложе съ віолончелью. Оба одѣты, какъ нищіе.

Прислонясь къ двери купэ, Маня внимательно глядитъ въ эти смуглыя лица, помятыя жизнью. И видитъ въ нихъ то, чего не замѣчаютъ другіе: блѣдныя улыбки обманувшихся, горящіе глаза неудовлетворенныхъ. Бѣдные современные менестрели!.. Въ ихъ игрѣ, подъ грубой корой ремесла, Манѣ чудятся проблески за-

губленнаго таланта... Или это только кажется? И душу, утомленную прозой дорожной дѣйствительности, чаруетъ ужъ самый звукъ старой итальянской скрипки?.. Но зачѣмъ они играютъ этотъ банальный вальсъ? Эту ужасную тарантеллу?

— Маркъ, скажи имъ... Пусть они сыграютъ свое!.. Чего не играли никому...

Они подходятъ... Старикъ-скрипачъ удивляется. Чего хочетъ эта дѣвушка съ глазами, какъ звѣзды?..

Она хочетъ, чтобъ онъ сыгралъ ей свое? Но почему signorina знаетъ, что онъ учился въ миланской консерваторіи и былъ композиторомъ?.

Острымъ, страдающимъ взглядомъ онъ глядитъ въ глаза чужеземцамъ. И вдругъ лицо его мѣняется. Гордо закинулась голова. Спина выпрямилась...

— Si, signorina... Онъ сыграетъ ей одной то, что живетъ въ его душѣ, чего не слыхалъ никто...

Какимъ-то новымъ движеніемъ беретъ онъ скрипку. Нервно рванулъ струны смычкомъ... Словно вопль прозвучалъ и замеръ...

Всѣ бросили увязывать вещи. Двери растворились. Пассажиры на цыпочкахъ вышли въ коридоръ.

Онъ играетъ... И опять молодо и прекрасно его лицо. Онъ вдохновенно глядитъ сверкающими глазами въ тьму южной ночи. И видитъ тамъ свою молодость, свои забытыя мечты... А звуки лепечутъ, захлебываются отъ радости воспоминаній. Разсказываютъ дивную сказку, какъ росли крылья у маленькой души, придавленной жизнью. Какъ на этихъ крыльяхъ изъ тѣсной каморки подымалась она высоко, въ прекрасные чертоги творчества... И летѣла надъ большой дорогой жизни, не видя ея камней и грязи, кидая на нее пышные цвѣты вымысла... А люди подбирали ихъ и плакали отъ счастія...

О, призрачное царство мечты! Послѣдній пріютъ обманутыхъ и неудовлетворенныхъ!.. Гдѣ некрасивые прекрасны, гдѣ нелюбимые желанны... Гдѣ нѣтъ старости и забвенія... Гдѣ бѣднякъ съ лампой Алладина стоитъ передъ сокровищами. Гдѣ слава вѣнчаетъ того, кто встрѣчалъ одни униженія..

Что-то новое или давно забытое встаетъ въ сознаніи слушателей... Нѣмецъ, совершающій свадебную поѣздку, смотритъ на жену, какъ на чужую... Развѣ она, эта румяная самка, являлась ему въ снахъ юности?.. Чахоточная Катя глядитъ въ тьму окна остановившимися глазами... Здѣсь, подъ яркимъ солнцемъ, она найдетъ исцѣленіе. И вернетъ любовь того, кто чувствовалъ къ ней одну жалость...

А низкіе звуки віолончели, чуть слышно вторящіе мрачными

аккордами сверкающей мелодіи импровизатора, какъ будто шепчутъ: „Ваши сны безумны... Ваши грезы хрупки... И жизнь ихъ разобьетъ...“

Такъ встрѣчала своихъ разноплеменныхъ гостей прекрасная Италія, гдѣ композиторы играютъ на большихъ дорогахъ, гдѣ величавое прошлое горделиво смѣется надъ жалкой дѣйствительностью.

„О, Италія!.. Страна чудесъ...“ умиленно думаетъ фрау Кесслеръ. „Ты не обманула насъ...“

„О, Италія!..“ думаетъ Штейнбахъ. „Страна нищеты... Родина анархизма... Обмани насъ... Дай забвеніе!..“

Поѣздъ мчится черезъ лагуны. А артистъ все играетъ. И звуки строютъ въ его собственной душѣ нерукотворный мостъ черезъ бездну нищеты и униженія къ сіяющему огнями чертогу его вымысла. . . . .

— Venezia!—кричитъ кондукторъ, хлопая дверью вагона.

Звуки оборвались нестройнымъ диссонансомъ... Глаза померкли. Спины согнулись. Робкія руки протянулись за подачкой. И души всѣхъ, кто грезилъ, кто стремился всю жизнь въ Венецію, на мгновеніе охватило непостижимое разочарованіе...

Ахъ, всегда далекъ городъ нашей мечты! И никогда не остановится поѣздъ у его дебаркадера...

Черезъ шумную, жестикулирующую южную толпу, мимо катящихся съ грохотомъ багажныхъ телѣжекъ, они выходятъ на перронъ.

Тишина..

Она надвигается съ Большого канала, точно вгоняя обратно, въ вокзалъ, звуки суетной жизни. За минуту передъ тѣмъ озабоченные пассажиры, которыхъ дергаютъ за рукава кричащіе на перебой тощіе гондольеры въ грязныхъ курткахъ,—невольно понижаютъ голоса... И вдругъ смолкаютъ, пораженные единственной въ мірѣ картиной... Направо и налѣво теряется за поворотами широкая водная улица. И стѣны безжизненныхъ домовъ опускаются прямо въ каналъ. Мелкая черная зыбь лижетъ ступени вокзала. А колеблющіяся гондолы, какъ мистическія черныя птицы, граціозно киваютъ зубчатыми носами.

Вдругъ съ сѣверо-запада налетаетъ взрывъ вѣтра. Гондолы, какъ призраки, закачались на волнахъ.

Старикъ въ ливреѣ, съ темнымъ бритымъ лицомъ и сѣдыми кудрями, почтительно склонившись передъ Штейнбахомъ, докладываетъ ему что-то быстро и вкрадчиво. Странный говоръ! Всюду мягкое, льстивое *ц* и *з* вмѣсто шипящаго страстнаго, стремитель-

днаго ч... Вругъ съ быстротою юноши лакей бѣжитъ къ краю перрона и бросаетъ какіе-то сигналы въ темноту.

Подплываетъ гондола съ двумя гребцами. На кабинкѣ чернаго бархата вышиты золотомъ гербы. Штейнбахъ оглядывается на Маню.

— Дай руку!.. Садитесь...

— Мы поѣдемъ по водѣ? И земли не будетъ?.. Не будетъ?

Знакомый горячій шопотъ! Очарованіемъ вѣетъ отъ него... Онъ чувствуетъ трепетъ ея пальцевъ.

Какъ прежде... какъ прежде...

— Холодно, однако!—говоритъ фрау Кеслеръ и накидываетъ Манѣ на плечи платокъ.—Закройте ей ноги пледомъ...

— Войдемъ въ кабинку. Хотите?

— Нѣтъ... Нѣтъ... Ни за что!

Вотъ она... таинственная, старая, когда-то страшная Венеція, деспотично царившая надъ всѣмъ Средиземнымъ моремъ... Кто не чувствовалъ на себѣ ея желѣзную руку? Унгры, мусульманы, сарацины отступали передъ нею. И даже непобѣдимые норманны считались съ ея флагомъ. Она владѣла Константинополемъ. Она диктовала свои условія въ Европѣ и Азіи. Она воевала за Гробъ Господень.

Теперь она спитъ, каменная сказка Востока. Грезится ли ей былое величіе?

По лабиринту ея узкихъ зловѣщихъ каналовъ плывутъ они, заблудившіеся странники иной, далекой земли.

Словно лодка Харона по таинственному царству Смерти безшумно скользитъ ихъ гондола подъ арками мостовъ, перекинутыхъ черезъ каналы. Маня смотритъ вверхъ. Какой старый камень! Онъ плачетъ... Слезы капаютъ съ его сѣрыхъ морщинистыхъ щекъ.

Беззвучныя, какъ тѣни, показываются впереди гондолы. Когда онѣ хотятъ завернуть за уголъ, гондольеръ издаетъ рѣзкій крикъ ночной птицы.

По сторонамъ вздымаются слѣпыя стѣны, похожія на тюрьмы, изъѣденныя волнами, обвитыя погребальной зеленью плюща. Окна только наверху. Желѣзныя ржавыя рѣшетки что-то скрываютъ внизу... Тайной и преступленіемъ вѣетъ отъ каждаго камня. Неужели здѣсь жили люди?.. Иногда надъ грубымъ фундаментомъ мелькнетъ мраморное кружево балкона или легкая колоннада лоджіи. Иногда на перекресткѣ, какъ проблескъ надежды въ этомъ царствѣ Молчанія, вдругъ встаетъ увитая завядшимъ вѣнкомъ, озаренная лампадой статуя Мадонны.

Всѣ молчатъ, подавленные необычнымъ. „Развѣ можно жить за этими стѣнами, уходящими въ воду, своею прежнею, такою

чуждою имъ жизнью?" думаетъ Маня. „Нѣтъ... Нѣтъ... Здѣсь должно начаться что-то другое..."

Вдругъ на одномъ изъ перекрестковъ громадная черная баржа загромождаетъ каналъ. Гондольеръ впереди что-то кричитъ. Но граціозная гондола съ гербами на бархатѣ уже зацѣпилась за бортъ варварскаго судна.

— Опрокинемся!—съ ужасомъ говоритъ фрау Кеслеръ, глядя въ темную воду.

Вотъ они трутся бокъ-о-бокъ два чуждые міра... Маня удивленно смотритъ на баржу. Въ ней навалены какія-то доски, кирпичи и бочки... Самые земные прозаическіе предметы. Символы тяжелаго повседневнаго труда... Куда гонитъ эту баржу запыленный известкой рабочій?... Почему работаетъ онъ такъ поздно ночью, когда спятъ туристы въ отеляхъ?.. Обычно это?.. Или что-нибудь особенное случилось съ нимъ?.. И онъ тоже навсегда запомнитъ эту холодную ночь, когда его баржа столкнулась съ изящной гондолой?.. Повернувшись всѣмъ станомъ, полуоткрывъ губы, глядитъ Маня въ запавшіе глаза на бронзовомъ лицѣ, которые ее тоже зорко разглядываютъ въ это коротенькое мгновеніе въ полумракѣ...

Что онъ чувствуетъ? Зависть?.. Ненависть?..

Но гондольеры уже оттолкнулись веслами и огибаютъ чудовище-баржу съ молчаливымъ и загадочнымъ силуэтомъ...

И, на секунду встрѣтившись лицомъ къ лицу, два міра поплыли каждый въ свою сторону... Одинъ къ заботамъ тяжкаго труда. Другой—къ изысканнымъ печалямъ праздности.

Крутой поворотъ. И вдругъ Canale Grande развертывается передъ ними, озаренный электрическими солнцами.

Фрау Кеслеръ вскрикиваетъ отъ восторга.

— Да это Востокъ!.. Это арабскій городъ... Послушайте, Маркъ...

Но вѣтеръ срываетъ съ нея шляпу и чуть не уноситъ пледа съ ногъ Мани. Вода въ каналѣ поднялась и заливаетъ ступени лѣстницъ. Мутная, бурная. Гондола качается на волнахъ. Изъ одного отеля съ лѣстницы перебросили мостки. И Маня видитъ, какъ „англичанки" Лиза и Катя, балансируя и слегка вскрикивая, идутъ по доскѣ въ переднюю.

— Куда же мы ѣдемъ, наконецъ? Я замерзла,—говоритъ фрау Кеслеръ, когда ихъ лодка пересѣкаетъ каналъ.—И чья эта гондола?

— Мы ѣдемъ въ мой палаццо. Я его купилъ три года назадъ у разорившагося венеціанца. Это его гербы на бархатѣ.

Что это за дивный храмъ выростаетъ передъ Маней? Словно плыветъ изъ мрака навстрѣчу. Бѣлый, призрачный... Ахъ, видѣть все это завтра!.. Можно ли спать въ Венеціи?

Гондола упирается въ ступени дворца. На лѣстницѣ ихъ ждетъ высокій человѣкъ въ сюртукѣ. Вѣтеръ треплетъ его волосы. Двое лакеевъ въ ливреяхъ держатъ зажженные канделябры. Свѣтъ ихъ мечется, дрожитъ и искрится въ темной водѣ.

Они входятъ въ огромный, мрачный вестибюль. Полы изъ мозаики. На стѣнахъ фрески. Все здѣсь осталось почти такъ же, какъ было четыреста лѣтъ назадъ. Нѣтъ ни газа, ни электричества. Здѣсь никогда не было отеля. Въ огромномъ каминѣ пылаетъ огонь.

— Какое счастіе!.. Тепло... Маня... Что-жъ ты не идешь?..

Штейнбахъ выходитъ за нею на подъѣздъ. Прислонясь къ мраморной колоннѣ, Маня глядитъ на сверкающую линію старыхъ дворцовъ.

— Ты видишь наискосокъ отсюда двухъэтажный старый домъ? Преданіе говоритъ, что въ томъ домѣ жила Дездемона.

— Вонъ тамъ?... Маркъ... Неужели...

— Сохранился балконъ. Въ лунныя ночи она выходила. И долго стояла тамъ... И передъ нею былъ вотъ этотъ палаццо, гдѣ мы сейчасъ... И этотъ бѣлый храмъ... Ты видишь балконъ?

— О, Маркъ...

Онъ знаетъ значеніе словъ. Встаетъ хрустальная стѣна. Поднимается сказочный міръ.

Они идутъ наверхъ. Ихъ тѣни сгибаются, сплетаются, бѣгутъ по стѣнамъ, пляшутъ на плафонѣ. Изъ темноты сверкаетъ позолота рамы. Бѣлѣетъ пятно лица. Старые портреты провожаютъ ихъ глазами съ тонкой, печальной усмѣшкой тѣхъ, кто все пережилъ, кому все понятно.

„Не сердитесь!“ думаетъ Маня. „Я знаю, мы не должны бы смѣяться здѣсь, гдѣ вы умирали. Но мы будемъ говорить шопотомъ и двигаться, какъ тѣни... Мы не потревожимъ вашъ покой...“

Въ бельэтажѣ, въ залѣ, озаренномъ старинной люстрой съ восковыми свѣчами, все накрыто къ ужину.

— Вотъ твоя комната, Маня, — говоритъ Штейнбахъ. И отворяетъ дверь на балконъ.

Вѣтеръ вздуваетъ тяжелый шелковый занавѣсъ.

Они молча смотрятъ на каналъ. Огни въ отеляхъ гаснутъ. Поѣздовъ больше не будетъ до утра. Только у входа горитъ электричество, и сверкающая рябь бѣжитъ по водѣ.

Вдали темнымъ пятномъ встаетъ дворецъ Дездемоны.

Быть-можетъ, она никогда не жила здѣсь? Быть-можетъ, она жила только въ душѣ поэта?

Но зачѣмъ нужна правда?..

Только то прекрасно, что не жило никогда...

Фрау Кеслеръ вдругъ просыпается. Брезжитъ разсвѣтъ.

Въ ногахъ постели стоитъ Маня въ одной рубашкѣ, босикомъ. Въ этой сѣрой мглѣ лицо ея кажется призрачнымъ.

— Что такое?

— Я слышу шаги, фрау Кеслеръ...

— Ахъ, Боже мой! Ты босая на каменномъ полу... Надѣнь мои туфли сейчасъ!..

— Здѣсь кто-то ходитъ... Я ясно слышу шаги...

— Полно, дружокъ! Это крыса. Ихъ здѣсь навѣрное много...

— Фрау Кеслеръ... Вы думаете, что ничего не осталось отъ тѣхъ, кто здѣсь жилъ и умеръ?

— Что мнѣ съ тобой дѣлать!

Онѣ одѣваются и выходятъ въ корридоръ.

Въ полумракѣ они кажутся жуткими—эти переходы съ мраморными стѣнами, съ гулкими каменными плитами. Всюду закоулки, неожиданные повороты, какія-то заколоченныя двери. Тутъ были потайныя лѣстницы... Быть - можетъ, *ухо Діониса*, для удобства инквизиціи? Быть-можетъ, нѣмые люки, внезапно открывавшіеся въ море, куда бросали трупы тѣхъ, кто мѣшалъ...

Онѣ бродятъ на цыпочкахъ, спускаются по лѣстницамъ, заглядывая во всѣ двери. Въ огромныхъ дремлющихъ залахъ сырой мракъ беззвучно глотаетъ жалкій свѣтъ ихъ свѣчей. Онѣ прислушиваются къ страннымъ шорохамъ и смутнымъ трепетаніямъ. Лица гордыхъ патриціевъ выступаютъ, какъ живыя, блѣдными пятнами. И глаза ихъ слѣдятъ за ними враждебно или насмѣшливо... Именъ членовъ Совѣта Десяти не зналъ никто. Быть-можетъ и тѣ, чьи глаза такъ загадочно улыбаются изъ золоченыхъ рамъ, были инквизиторами въ красныхъ маскахъ?..

Вдругъ подымается вѣтеръ. Онъ распахиваетъ окно въ корридорѣ. Съ жалобнымъ воемъ кидается онъ изъ-за угла на балконъ. Дверь медленно отворяется. Маня въ ужасѣ бѣжитъ назадъ.

Фрау Кеслеръ храбрится. Но у нея тоже стучатъ зубы, и она никакъ не можетъ согрѣться. Она готова побожиться, что сама слышала въ залѣ, за своей спиной, чьи-то вздохи...

По небу кто-то разметалъ алыя ленты.

Свинцовыя воды канала становятся розовыми.

Солнце загорается вдругъ на бронзовыхъ коняхъ св. Марка. Потомъ каналъ голубѣетъ, отражая въ себѣ безоблачное небо.

Маня засыпаетъ, когда мертвый городъ наполняется звуками жизни.

„Они ушли въ свои рамы“, думаетъ она въ полуснѣ. „Ушли до ночи. Ночью выйдутъ опять... Они не хотятъ, чтобъ мы спали въ этомъ домѣ, на ихъ постеляхъ... И они правы. Это городъ мертвыхъ“.

IV.

Высокое небо. Яркое солнце. Невиданныя зданія съ тремя этажами аркадъ и зубчатыми крышами. Подъ ногами скользкія, широкія каменныя плиты. Совсѣмъ какъ паркетъ. Воздухъ полонъ трепетаньемъ крыльевъ. Это цѣлыя стаи голубей. Какъ сверкаютъ на солнцѣ! Ослѣпительно... Вонъ зашевелились черныя фигуры на старой башнѣ, тамъ... высоко... И, четко выдѣляясь на фонѣ неба, бьютъ молотами по мѣди. Десять часовъ.

„Дездемона тоже слышала этотъ бой".

Дѣвушки въ весеннихъ костюмахъ и бѣлыхъ фетровыхъ шляпахъ... Дѣти, съ звонкимъ смѣхомъ кидающія хлѣбомъ въ серебристую стаю птицъ... Площадь, залитая пестрой толпой, полная смѣха и движенія... Это югъ, о которомъ мы тоскуемъ въ дождливые вечера осени, о которомъ мы грезимъ въ февральскія бури.

Фрау Кеслеръ останавливается, какъ опьяненная.

— Нѣтъ... Нѣтъ! Дальше!—торопитъ Маня.—Пожалуйста дальше!

Ихъ гондола плыла переулками. Они вышли изъ нея и улицей Мерчеріа, шумной и пестрой, прошли подъ башню съ часами. Штейнбахъ сдѣлалъ это нарочно.

Ошеломленныя, стоятъ онѣ теперь передъ базиликой св. Марка, приземистой, причудливой въ своей пестротѣ, въ своемъ восточномъ великолѣпіи. Время оказалось безсильнымъ передъ красками мозаики на стѣнахъ. И онѣ такъ же нѣжны, какъ были восемьсотъ лѣтъ назадъ. Бронзовые кони, некрасивые и ненужные, горятъ наверху.

— Но здѣсь нѣтъ Campanile,—говоритъ Маня, оглядываясь.

— Вѣришь ты, что я два года не хотѣлъ возвращаться сюда, когда она рухнула? Но пойдемте дальше!

— Да, да... Ради Бога, скорѣе!

Они заворачиваютъ за уголъ. И передъ ними Дворецъ Дожей. Наконецъ!

Вотъ онъ передъ нею въявь! Но какъ во снѣ. Мавританская греза, непохожая ни на что въ мірѣ. Съ кроваво-бѣлой мозаикой стѣнъ.

Она видѣла его еще ребенкомъ. Подросткомъ въ гимназической формѣ, пробѣгая мимо витринъ художественныхъ магазиновъ, она замирала вся въ блаженномъ созерцаніи, когда черная громада этого арабскаго дворца, озаренная луной, вставала передъ нею на картинѣ... И эта синяя ночь, эти черныя тѣни отъ колоннъ на землѣ снились ей не разъ.

— Маня, тебѣ холодно? Почему ты дрожишь?

— Ничего, Маркъ... Это ничего...

Онъ двуликій и загадочный, какъ тѣ, кто жили въ немъ. Внизу

колоннада, легкая и воздушная, съ арками и просвѣтами, полная жизни и радости.

Вверху слѣпая, угрюмая, таинственная громада. Даже странно, какъ не раздавитъ она своей тяжестью этихъ ажурныхъ аркадъ! Одиночествомъ и презрѣніемъ вѣетъ отъ этихъ стѣнъ...

Жестокіе замыслы должны были зрѣть въ этомъ домѣ, недоступномъ толпѣ. И тяжкіе сны, полные крови, видитъ теперь дремлющій дворецъ.

Отъ обелисковъ на піацеттѣ, съ наивнымъ крокодиломъ и маленькимъ, смѣшнымъ львомъ,—вѣетъ печалью забытаго. Жизнь, крикливая и пошлая, поминутно вторгается въ это царство прошлаго и оскорбляетъ его тишину. Группы туристовъ съ биноклями и путеводителями бродятъ по площади. Пронырливые, неряшливые гиды въ широкополыхъ жирныхъ шляпахъ и стоптанныхъ штиблетахъ снуютъ между ними, предлагая услуги. Продавцы фруктовъ разложили свой товаръ у подножія обелисковъ и крикливо подзываютъ прохожихъ.

— Ну, что же мы стоимъ? Гдѣ тутъ пьютъ кофе?—спрашиваетъ фрау Кеслеръ.—Ахъ, вонъ ресторанъ... Чудесно!..

„Надо прійти сюда ночью. Одной..."

Они поворачиваютъ назадъ. Вдругъ Маня останавливается.

Навстрѣчу бѣжитъ собачка. Маленькая желтая собачка. Самая обыкновенная дворняжка. Фрау Кеслеръ смѣется.

— Что ты глядишь на нее, Маня? Можетъ, ты думаешь, что это тоже призракъ?

— Не понимаю!—безпомощно срывается у Мани.—Такая же собака... Точь въ точь, какъ у насъ...—И лицо у нея несчастное.

— Ахъ, ты мечтательница!—грустно улыбается Штейнбахъ, прижимая къ себѣ ея руку.—Но я понимаю тебя, Маня...

Послѣ кофе идутъ на набережную.

— Сейчасъ взглянемъ на Canale Grande... Потомъ въ музей...

— Сколько жизни!—говоритъ фрау Кеслеръ, останавливаясь.

Набережная полна движенія. Моряки, торговцы всѣхъ національностей. Крики, споры, брань. Сверкающіе глаза, экспансивная жестикуляція юга... Дальше, подъ аркадами, пьютъ кофе. И нарядная толпа туристовъ, наслаждаясь солнцемъ, медленно движется по *Riva degli Schiavoni*. Черныя гондолы стоятъ рядомъ съ барками. Гордо бѣлѣютъ огромные пароходы. Ослѣпительно сверкаетъ вода канала. А вдали, въ дымкѣ, исчезаютъ красные паруса рыбачьей лодки, плывущей къ взморью.

Штейнбахъ говоритъ:

— Тысячу лѣтъ назадъ славяне плыли оттуда, гдѣ мелькаетъ сейчасъ красный парусъ. И бросали якорь здѣсь.

— И Садко, Маркъ? И Садко?.. Помнишь? „Веденецъ славный"?

— Мы точно въ театрѣ,—говоритъ фрау Кеслеръ.—Все кажется, что вотъ сейчасъ... О чемъ ты плачешь, Маня?

— Ради Бога, не глядите на меня!.. Не обращайте вниманія... Я счастлива...

Наконецъ!.. Она это сказала...

Кошмары прошлаго исчезнутъ. Поднимется хрустальная стѣна, и расцвѣтутъ за нею дивные цвѣты иллюзій.

Но отчего такъ больно сердцу?

Тяжесть прожитаго лежитъ на плечахъ. И не съ нимъ пойдетъ она въ новую жизнь рука съ рукою...

Только въ сумерки выходятъ они изъ Королевской академіи. Роскошь красокъ несравненныхъ колористовъ Джіованне Беллини и его знаменитыхъ учениковъ Тиціана и Джіорджіоне; картины Веронезе, Бассана и Тинторетто совсѣмъ ошеломили ихъ.

— Какая чувственная эта венеціанская школа!—говоритъ фрау Кеслеръ.—Ни малѣйшаго мистицизма, даже у Мадоннъ...

— Но не у Беллини. Какъ основатель этой школы, онъ самъ былъ еще долго подъ чужимъ вліяніемъ. Вы замѣтили, какая у него строгая ясность въ ликахъ?

Маня не можетъ привыкнуть къ старому дворцу. Боится громко говорить. Ходитъ на цыпочкахъ. Все восторгаетъ ее: полы изъ мозаики, нѣжный мраморъ стѣнъ; безцѣнныя фрески Джіорджіоне на плафонѣ; гобелены; оригинальный хрусталь, какого нѣтъ нигдѣ въ мірѣ, эти бокалы и чаши изъ стекла, хрупкіе какъ мечта; цвѣтныя стекла въ окнахъ, всѣ въ арабескахъ, въ причудливыхъ узорахъ Востока... Отъ нихъ даже въ солнечные дни царитъ полусвѣтъ, таинственный и мягкій. И на полу дрожатъ такія странныя тѣни... Она смотрится въ старыя, прославившіяся венеціанскія зеркала, всѣ изъ кусочковъ, въ бронзовыхъ и серебряныхъ рамахъ. Какіе глаза глядѣли въ нихъ!.. Такое же зеркало, какъ рѣдкую цѣнность, поднесли когда-то гордой Аннѣ австрійской.

— Наконецъ-то!—говоритъ фрау Кеслеръ, садясь за обѣденный столъ.—Я голодна и измучена. Что же ты стоишь, Маня?

— Люстра!—шепчетъ она, глядя вверхъ.

Онъ улыбается.—Эти старыя вещи, Маня, тѣмъ и хороши, что въ нихъ чувствуешь душу того, кто творилъ. Его мысль, его любовь.

— Маня, неужели еще спишь?

— Который часъ, фрау Кеслеръ?

— Скоро десять... Ахъ, Маня, ты не подозрѣваешь, что я видѣла! Венецію на землѣ... Да... да... Не ту, что на каналахъ, и которую

знаютъ всѣ. Я видѣла улицы шириною... вотъ какъ эта кровать... гдѣ двое не разойдутся... Старые дома, лавки... Какіе уголки!.. Вставай скорѣе! Пойдемъ!.. Тамъ столько жизни!

— Опять?.. Тамъ все люди?

— Ну, да... И прелестныя дѣти... Столько смѣха!.. Эти яркіе лохмотья на балкончикахъ и окнахъ... Эта звонкая рѣчь...

— Нѣтъ, фрау Кеслеръ... Я не пойду... Я хочу кататься...

— Но торопись же, дитя мое!.. Надо пользоваться солнцемъ...

— Я не хочу солнца, фрау Кеслеръ! Здѣсь я его не хочу! Ни людей, ни шума... Здѣсь должна быть тишина. И только лунный свѣтъ... Какъ на кладбищѣ...

Какое наслажденіе плыть вдвоемъ мимо этихъ дворцовъ, величаво дремлющихъ, какъ бы въ заколдованномъ снѣ! На стѣнахъ вѣтеръ и дожди смыли дивныя фрески Сансовино, Тиціана и Джіорджіоне. Сырость начертала на нихъ свои причудливые узоры. И онѣ стали перламутровыми. Время коснулось ихъ своей рукой. И онѣ стали загадочными и прекрасными. Какъ прекрасно только отжившее. Глазъ не можетъ насытиться этими неуловимыми оттѣнками мрамора.

— Взгляни направо, на этотъ рядъ... Все это зданія XV столѣтія. Здѣсь жили дожи, патриціи и великіе художники, Тьеполо и Тиціанъ... вонъ тамъ, гдѣ терраса...

— А теперь здѣсь отели, набитые англичанами! Маркъ, ты понимаешь, что можно возненавидѣть людей?

Дворецъ, величественный и печальный, на поворотѣ развертываетъ передъ ними свой мрачный фасадъ. На стѣнахъ сохранились гербы Фоскари.

— А вотъ это дворецъ дожа Мочениго... Здѣсь жилъ Байронъ.

— Съ маркизой Гвиччіоли?

— Да. Послѣ разрыва съ женой. Когда онъ написалъ ей:

Farewell! And if forever,
Than for ever fare thee well!..

Маня вдумчиво глядитъ на стѣны съ исчезающими фресками, блѣдными, какъ сны. Вспоминается гордое лицо поэта. Какъ могъ онъ, избранный изъ тысячъ, тосковать о своей ничтожной женѣ! Какую власть надъ людьми имѣютъ символы!

— Покажи мнѣ домъ, гдѣ умеръ Вагнеръ!

— Это дальше... А вотъ взгляни сюда... По преданію, это былъ дворецъ Отелло...

— Ты, кажется, не вѣришь?—строго спрашиваетъ Маня и пристально смотритъ въ его лицо.

Онъ опускаетъ глаза, пораженный ея чуткостью.

— Какъ можно! Ни тѣни сомнѣній...

Подавшись впередъ, Маня глядитъ съ задумчивой нѣжностью на эти нѣмые камни, обвѣянные легендой. Лодка скользитъ беззвучно. Стоя въ наклонной позѣ, гребутъ гондольеры. Молчаливые, мускулистые, съ бронзовыми безбородыми лицами. Мимо снуютъ пароходики, подымая волну. Маня брезгливо отворачивается. Куда уйти отъ людей?..

— Вотъ что лучше всего!—вдругъ говоритъ она, встрепенувшись.

Навстрѣчу плыветъ развалина, меланхолическая, заброшенная. Въ уступахъ выросли деревья. Плющъ одѣлъ эти стѣны. Уцѣлѣла одна часть зданія съ ветхимъ балкономъ.

— Говорятъ, что это дворецъ казненнаго дожа Марино Фальери.

Одно только имя... И опять душа звучитъ отъ воспоминаній дѣтства. Черная доска во Дворцѣ Дожей, вмѣсто портрета... Лѣстница во дворѣ, гдѣ его казнили... „Я все это увижу"...

Они подплываютъ ближе. Стѣны развалинъ, отраженныя въ водѣ канала, струятся и дрожатъ.

Вдругъ на балконѣ мелькаетъ что-то яркое. Толстая женщина въ красномъ платьѣ облокотилась на перила. Она видитъ, что на нее смотрятъ, и горделиво киваетъ головой.

— Назадъ! Назадъ!—кричитъ Маня. Она вдругъ встаетъ во весь ростъ, оборачивается къ женщинѣ въ красномъ и, высоко поднявъ руки, трясетъ въ воздухѣ сжатыми кулаками.

Штейнбахъ громко смѣется.

— Не смѣй смѣяться!—говоритъ она, сверкая глазами. И топаетъ ногой.

„Какъ прежде... Какъ прежде"...

Гондола сворачиваетъ во внутренніе каналы.

Какіе романтичные уголки! Вотъ величественный дворецъ Контарини, похожій на крѣпость, съ круглыми башнями на углу.

Слѣпая внизу стѣна глядитъ угрожающе и неприступно. Деревья выросли на полуобрушившихся камняхъ, рядомъ, и тянутся къ водѣ вѣтками. Старинный фонарь на длинномъ желѣзномъ стержнѣ повисъ надъ каналомъ.

Дворецъ Даріо. Отвѣсно опустилась глухая стѣна въ неподвижную воду. Кипарисъ выросъ какимъ-то чудомъ на клочкѣ земли. Смѣлымъ изгибомъ перебросилась арка моста, и ступени ведутъ внизъ, къ узкой полоскѣ набережной, по которой не разойдутся два пѣшехода. Всѣ окна вверху, высоко. А внизу, въ покрытыхъ мохомъ и плѣсенью мрачныхъ камняхъ, видны только узкія отверстія съ желѣзными рѣшетками. Что было за ними? Тюрьмы? Кладовыя? Сокровища? Узники?.. Чувствуется, что плохо спалось

въ этихъ дворцахъ; что люди жили въ трепетѣ передъ опасностью въ безсмѣнномъ ожиданіи предательскаго удара.

Лодка скользитъ изъ одного узенькаго канала въ другой.

Вдругъ Маня видитъ высоко вверху, между двумя старыми дворцами, висячій мостъ. Онъ весь ажурный. Онъ недоступенъ...

Кто, кромѣ влюбленнаго, могъ построить его? Только жажда быть вмѣстѣ и невозможность осуществить желаніе перекинули надъ темной водой воздушный переходъ. Какъ символъ сліянія двухъ душъ, разлученныхъ жизнью... Деревья выросли на стѣнѣ; вскарабкались наверхъ и завладѣли угрюмымъ мшистымъ камнемъ. Подъ мостомъ—балконъ. Плющъ обвилъ его колоннки и поползъ вверхъ, до каменныхъ фестоновъ крыши, откуда упалъ пышнымъ вуалемъ.

— Это дворецъ Альбридзи,—говоритъ Штейнбахъ.

Они плывутъ дальше. Но Маня долго затуманенными очами глядитъ вверхъ, на ажурный мостъ, увитый плющомъ, на суровые камни съ гербами. Они шепчутъ что-то. И она ихъ слышитъ. Хрустальная стѣна растетъ.

Гондола выплываетъ опять на Canale Grande.

— Хочешь видѣть сказку въ камнѣ изъ *Тысячи одной ночи*?— встрепенувшись, спрашиваетъ Штейнбахъ.

— О, Маркъ, неужели есть что-нибудь лучше дворца Альбридзи?

— Плывите къ *Ca d'Oro*!—говоритъ Штейнбахъ гондольеру.— Покажите намъ Fondachi dei Turchi...

Солнце садится, когда черезъ часъ почти они возвращаются съ другого конца Венеціи. Тамъ уже нѣтъ дворцовъ, а начинаются фабрики. Въ воздухѣ замѣтно свѣжѣетъ. Они ѣдутъ въ глубокомъ молчаніи. Хрустальная стѣна отрѣзала ихъ отъ міра. Какъ туманъ поднимается она надъ лагунами. И въ немъ таетъ прошлое. Безъ слѣда.

Фрау Кеслеръ встрѣчаетъ ихъ на лѣстницѣ.

— Куда вы пропали? Маня, у тебя руки, какъ ледъ!..

Она отвѣчаетъ трепетнымъ голосомъ:

— Мы видѣли сейчасъ закатъ... Я никогда не забуду этого дня, фрау Кеслеръ! Обнимите меня, дорогая... Я такъ счастлива!.. Жизнь такъ хороша!..

V.

— Хотите слышать музыку?—вечеромъ спрашиваетъ Штейнбахъ.

— О, да!—отвѣчаетъ фрау Кеслеръ. Маня молчитъ.

— Это слишкомъ оригинальный концертъ, — говоритъ онъ.— Вмѣсто паркета плиты древней мостовой. Открытое небо вмѣсто

плафона. Аркады дворцовъ замѣняютъ стѣны салона... Пойдемъ! Нигдѣ въ мірѣ потомъ ты не встрѣтишь ничего подобнаго.

На площади св. Марка толпа окружила военный оркестръ. Огромные канделябры даютъ такъ много свѣта, что ночи не чувствуешь. Итальянцы слушаютъ молча, сосредоточенно. Особенно простолюдины. Съ негодованіемъ оглядываются они на туристовъ, которые ходятъ стадами, шаркая по скользкой мостовой и громко смѣются. Всѣ столики заняты. Пьютъ кофе и сиропы.

Рядомъ съ Маней стоитъ группа фабричныхъ работницъ. Какія онѣ высокія, сильныя, стройныя!.. Жаль, что огромныя шали скрываютъ ихъ фигуры! Ни платочковъ, ни шляпъ, ни кружевъ. Однѣ модныя прически. Волосы у нихъ пышные, густые. И у многихъ рыжіе. Нигдѣ, кромѣ Венеціи, не встрѣтишь такого оттѣнка.

Вдругъ Маня перехватываетъ взглядъ Штейнбаха, которымъ онъ разглядываетъ стоящую рядомъ рыжеволосую женщину. У нея ослѣпительная кожа. И она красива. Но почему онъ такъ странно смотритъ?.. Лицо у него стало острое и хищное, какъ у сокола. Сердце Мани сжимается. Какъ больно!.. Даже нечѣмъ дышать...

Итальянка оглядывается и краснѣетъ.

Они знакомы?..

Онъ поднимаетъ шляпу и говоритъ ей что-то. Ея рѣсницы опустились. Она смѣется, показывая бѣлые, крѣпкіе зубы.

— Какъ она хороша!—шепчетъ фрау Кеслеръ.

Лицо итальянки сіяетъ счастіемъ. Она что-то быстро говоритъ Штейнбаху, озираясь, грозя пальцемъ и подбородкомъ указывая кого-то въ толпѣ. Штейнбахъ щурится въ ту сторону. Пожимаетъ плечомъ. Что-то настойчиво переспрашиваетъ.

Она отвѣчаетъ, вся растерявшаяся. Потомъ, обмѣнявшись съ нимъ быстрымъ, яркимъ взглядомъ, она киваетъ ему головой и вмѣшивается въ толпу.

„Они встрѣтятся“, думаетъ Маня. „Онъ ее любитъ. Онъ жилъ здѣсь до встрѣчи со мною. Это его прошлое, котораго я не знала“.

Штейнбахъ еще мгновеніе острымъ взглядомъ ищетъ въ толпѣ рыжую женщину. Потомъ обращается къ Манѣ. И въ его голосѣ она сквозь усиленную нѣжность съ ужасомъ впервые чувствуетъ что-то фальшивое.

Точно стѣна поднялась между ними. И она не видитъ уже его лица. И у нея такое впечатлѣніе, что подъ ногами открылась яма. И вотъ-вотъ она рухнетъ въ нее...

— Не устала ли ты? Хочешь сѣсть?

Она молча качаетъ головой.

Фрау Кеслеръ чуетъ „романъ“. И улыбается. Это хорошо... Зачѣмъ безплодныя страданія? Аскетизмъ? Жертвы? Все, что лишаетъ

жизнь красокъ, а душу—радости? Онъ слишкомъ много выстрадалъ во всей этой печальной исторіи съ Маней, чтобъ не имѣть права „встряхнуться“...

— Можетъ-быть, ты возьмешь мою руку?—спрашиваетъ онъ, на этотъ разъ съ глубокой нѣжностью. Онъ видитъ муку въ ея лицѣ, въ закрытыхъ вѣкахъ, въ сжатыхъ бровяхъ, въ поблѣднѣвшихъ устахъ... Забыта женщина-капризъ, разбудившая память нервовъ. Вотъ эту—недоступную и больную—онъ любитъ беззавѣтно. И страданіе въ лицѣ ея, причину котораго онъ не знаетъ, пугаетъ его. И потихоньку гаситъ чувственный порывъ къ другой.

Но она этому не вѣритъ. Она не научилась еще великому искусству—отличать любовь отъ желанія. Она глубоко несчастна. Она враждебно отворачивается.

— У васъ хорошій вкусъ, Маркъ Александровичъ,—смѣется фрау Кеслеръ. Лицо его вдругъ становится холоднымъ.

— Да. Она красива. Она позировала моему другу-художнику два года назадъ. И эта картина имѣла успѣхъ. Теперь она замужемъ.

„Для кого онъ это говоритъ? Зачѣмъ онъ лжетъ?..“

Вдругъ рядомъ съ ними, на рукахъ одной работницы, кричитъ проснувшійся младенецъ.

— Куда ты, Маня?

Но она машетъ рукой и бѣжитъ на піаццетту.

О, одиночество!.. Лунный свѣтъ... Тишина...

Слезы хлынули изъ ея глазъ... Лучшія иллюзіи умираютъ сейчасъ въ ея сердцѣ. Самая свѣтлая вѣра... Пусть ея душу втопталъ въ грязь *тотъ*, другой! Она все-таки знала ей цѣну... Она вѣрила, что больную, замученную, увядшую—ее любитъ *этотъ*... что онъ ждетъ ея пробужденія терпѣливо и самоотверженно... что глаза его закрыты для искушеній, а душа недоступна соблазну. Она мечтала наградить его потомъ... О, эта любовь его! Ея гордость, ея сокровище... Какой богачкой считала она себя еще вчера! И жалкой нищей стоитъ она сейчасъ...

И что утолитъ теперь голодъ ея души?.. Что?..

Палаццо дожей встаетъ передъ нею. Съ слѣпыми красными стѣнами. Какъ будто кровь задушенныхъ ночью въ ея подземельяхъ выступила и запеклась здѣсь, на камняхъ. Яркая луна, незамѣтная тамъ, на площади, затопила здѣсь все синимъ свѣтомъ. Ее еще не видно изъ-за дворца. Но она крадется... Она свѣтитъ въ ажурное окно и серебритъ мавританскую галлерею... Совсѣмъ какъ на картинѣ, которую она видѣла въ дѣтствѣ... Черная тѣнь отъ дворца падаетъ, ломаясь, у обелиска Льва... Все такъ же, какъ въ ту ночь, когда Отелло, побѣдитель Кипра, подплывалъ сюда на галерахъ, навстрѣчу своей судьбѣ...

„О, дивная греза! Подыми меня надъ землей! Подыми вокругъ меня стѣны вымысла! Высокія стѣны, за которыя не заглянетъ пошлость... Окружи меня людьми, непохожими на смертныхъ! Гордыми и печальными. И великими въ своей любви!.. Дай утонуть мнѣ въ этомъ синемъ серебрѣ!.. Изъ отчаянія моего создай мнѣ новый міръ!.. Я гибну...“

— Маня... Прости... Я помѣшалъ тебѣ?

„Лишь бы не замѣтилъ слезъ... Молчать и таиться... Быть гордой... Быть сильной. И одинокой... Помоги мнѣ, Господи!..“

— Не хочешь ли прокатиться? Дальше? Къ взморью?

— Да... да... Мнѣ невыносима эта музыка, эта толпа... Видишь серебряный мостъ въ водѣ?

— Но ты легко одѣта... Простудишься.

— Ахъ, все равно! Поѣдемъ скорѣе...

Наконецъ одни!.. Сюда не достигаютъ звуки. Надъ ними нѣмое небо. Подъ ними нѣмыя волны. Вдали огни Венеціи. Далекіе, прощальные. Они плывутъ мимо острова. Призрачныя очертанія церкви, похожей на греческій храмъ, бѣлѣютъ изъ серебрянаго тумана.

Они не были вдвоемъ съ того вечера, когда она приходила къ нему проститься въ Москвѣ... Звучатъ въ душѣ ея слова:

„Вы дали мнѣ много счастія. И я была бы ничтожной женщиной, если-бъ вычеркнула васъ изъ моей души. Я никогда, никогда не забуду васъ, милый, чудный Маркъ!.. Гдѣ это счастіе?.. Ушло...“

— Вонъ тамъ, вдали, есть еще одинъ островъ... Видишь? Байронъ тамъ спасался отъ людей...

— И отъ любви?

Какой странный тонъ! У дѣвочки-Мани его не было.

— Я понимаю Байрона. Какъ могъ онъ писать среди такихъ диссонансовъ? Быть-можетъ, это смѣшно, Маркъ? Но поминутно меня здѣсь раздражаютъ люди...

Онъ улыбается. Все реальное чуждо ей: плачъ младенца, желтая собачка на площади св. Марка... И какъ ребенку близко ей то, чего не было: шаги умершихъ въ корридорѣ, живые глаза портретовъ, грезы Дездемоны... Вотъ что имѣетъ для нея цѣну... Она видитъ лица зданій. Душу камней. Она угадываетъ мысль въ бронзѣ. И мраморъ дышитъ для нея. И говоритъ съ нею о быломъ.

— Ты—счастливица!—шепчетъ онъ.

Они плывутъ мимо острова Лидо, молчаливаго и темнаго.

— Маня... Можешь ты мнѣ отвѣтить на одинъ вопросъ?

Она поднимаетъ голову и смотритъ на него. Большими глазами смотритъ. Точно видитъ его въ первый разъ... Или онъ ошибается? Холодомъ и горемъ вѣетъ отъ этого лица.

Неужели это та самая дѣвушка, которая въ страстномъ порывѣ...

Не надо вспоминать!.. Священно должно быть для него ея тѣло теперь... Но душа... Развѣ не его позвала она въ ту ночь, когда бродила во મракѣ, слѣпая и одинокая? Затерявшаяся въ Безпредѣльности... Въ темныхъ поляхъ потустороннягo міра?

— Почему ты не хотѣла, чтобъ я былъ съ тобою сейчасъ?

— Ты, все равно, пришелъ...

Она это говоритъ съ горечью?..

— Не могъ же я тебя бросить одну въ чужомъ городѣ...

Она отвѣчаетъ, опустивъ рѣсницы:

— Я хочу быть одна... Особенно въ такія ночи... Видишь ли?.. Мои мечты улетаютъ, когда со мной кто-нибудь стоитъ рядомъ. Онѣ такія странныя, мои мечты...

Голосъ ея срывается. Но, овладѣвъ собой, она продолжаетъ:

— Никто не понимаетъ меня. Я всѣмъ кажусь смѣшной или сумасшедшей...

— Но не мнѣ, Маня!.. Нѣтъ... Чтобъ создать тебѣ новый міръ, я привезъ тебя сюда...

Она обдумываетъ его слова, опустивъ голову.

— Прости меня, Маркъ!.. Я неблагодарное созданіе.

— Не надо благодарности! Любовь ея не требуетъ.

Она порывисто отодвигается. Закрываетъ лицо руками.

— Молчи!.. Молчи!.. Ни слова о любви... Молчи...

— Ты уже не вѣришь въ нее?

— Нѣтъ!.. Нѣтъ!..

У нея это вырывается, какъ рыданіе. Какъ крикъ... Онъ видитъ, какъ дрожатъ ея плечи...

Подавивъ свою горечь, онъ думаетъ только о ней... Какъ жива еще обида! Почему онъ надѣялся, что она забыла Нелидова?

Вѣтеръ поднимается.

— Плывите назадъ,—говоритъ Штейнбахъ гондольеру.

— Маня, ты простудишься. Войдемъ въ кабинку!

Она покорно подаетъ ему руку. Они садятся рядомъ, на кожаныя подушки. Темно и тѣсно подъ крышкой. Лучъ луны крадется черезъ окошечко позади.

— Ты дрожишь? Ты уже простудилась?..

— Нѣтъ... Обними меня!.. Закрой плащомъ...

Они сидятъ, тѣсно обнявшись. Онъ крѣпко держитъ ее. Какъ будто ее хотятъ отнять.

Но кто же? Кто смѣетъ теперь отнять у него эту женщину?

Его губы тихонько касаются ея волосъ.

Замѣтила она это? Или нѣтъ?

Ахъ, зачѣмъ дрожитъ его рука!..

Слезы ея бѣгутъ. Крупныя, жаркія. Онѣ падаютъ на ея руки, на его плащъ. Какъ хорошо, что темно!..

— Мое дорогое дитя!—говоритъ онъ вдругъ. И голосъ его пронизанъ нѣжностью, какъ эта ночь луной.

Въ порывѣ отчаянія, затопившаго ея душу, она обвиваетъ его шею руками. И рыдаетъ, презрѣвъ гордость и стыдъ.

„Она еще любитъ его...“

— Что я долженъ сдѣлать, чтобъ тебѣ стало легче?.. Или я безсиленъ скрасить твою жизнь? Дать тебѣ забвеніе?

Она вдругъ откидываетъ голову. Лучъ луны чрезъ окно кабинки озаряетъ его профиль, его брови, глаза.

„Глаза менестреля... И тутъ все ложь!!..“

— А развѣ ты еще любишь меня?..—слышитъ онъ.

Она сомнѣвается??.. И звукъ голоса такой надорванный... Такой страдающій... Горестно закрывъ глаза, горестно улыбаясь, онъ качаетъ головой. Потомъ, вздохнувъ глубоко, крѣпче прижимаетъ ее къ себѣ.

— Почему ты молчишь, Маркъ, когда я жажду твоихъ словъ?.. Почему ты молчишь?..

— Мнѣ нечего отвѣтить. Если ты до сихъ поръ не повѣрила въ мое чувство, къ чему слова?

Но они дошли до ея души.

Она долго и пристально глядитъ въ свое сердце... Какъ все загадочно и сложно!..Глубокая тайна—любовь!..Не страдалъ ли онъ покорно и молча, когда она полюбила Нелидова, когда она отрекалась отъ него? Свою ревность онъ таилъ, какъ болѣзнь. И она не считалась съ нею... Она чувствовала себя правой... Но значитъ правъ и онъ сейчасъ?.. И эта рыжая женщина... И все его прошлое, котораго она не знаетъ...

Она вдругъ отстраняется, полная вражды...

— Нѣтъ!.. Нѣтъ!.. Мнѣ не надо любви!

Онъ остается недвижнымъ. И лицо у него, какъ маска

— Она совсѣмъ больна,—говоритъ фрау Кеслеръ.—И вы сами виноваты. Развѣ можно по ночамъ ѣздить на взморье?

— Но почему она не хочетъ меня видѣть?

— Не понимаю... Она и со мной не говоритъ. И, знаете, на что это похоже, Маркъ Александровичъ?

— Молчите... Я боюсь васъ понять!

— Но это такъ. Она какъ будто вновь переживаетъ то, что было тогда... послѣ разрыва съ Нелидовымъ...

— Но вѣдь *я* ей былъ нуженъ тогда? Почему же теперь?.. Что такое, Паоло? Телеграмма?.. Дайте сюда!..

Фрау Кеслеръ видитъ, какъ поблѣднѣлъ онъ... какъ онъ лихорадочно рветъ бумагу... Что случилось?.. Почему у него такое лицо?..

VI.

Маня лежитъ уже третій день.

— Завтра ты встанешь,—говоритъ фрау Кеслеръ.—А когда ты поправишься, мы пойдемъ смотрѣть Дворецъ Дожей. Мы еще многаго не видали въ этомъ чудномъ городѣ.

— Фрау Кеслеръ...

— Зови меня Агатой... И говори мнѣ *ты*... Хочешь?

Маня прижимается головой къ ея плечу. Безумная жажда зарыдать подымаетъ грудь ея. Нѣтъ... Довольно!..

— Почему ты не хочешь видѣть Марка Александровича?.. Зачѣмъ ты его огорчаешь, жестокое дитя!

— Ему и безъ меня хорошо...—И губы ея дрожатъ.

— Ай-ай!.. Неблагодарная дѣвочка...

— Развѣ онъ... не развлекается?

— Хороши развлеченія!.. Бродитъ по заламъ цѣлый день...

— А ночью?..

— Что такое... ночью?.. Ты хочешь, чтобы онъ и ночей не спалъ изъ-за тебя?—Фрау Кеслеръ громко смѣется.

— Развѣ онъ никуда не выходилъ эти дни?

— Буквально никуда... Онъ дежуритъ у твоей комнаты до глубокой ночи.

Она слышитъ громкій вздохъ Мани.

— Фрау...

— ... Агата...

— Милая Агата... Онъ и сейчасъ тамъ?

— И сейчасъ... Позвать его?

— Нѣтъ... Нѣтъ...

— Опять плачешь?

— Фрау Кеслеръ... ахъ, Агата... не говорите...

— ... не говори...

— Не говори ему ни слова!.. Побожись, что ты не скажешь!..

Послѣ долгаго молчанія Маня спрашиваетъ шопотомъ:

— Вы очень...

— ... ты...

— Ты очень любила своего мужа?

— О, да!.. Я любила его...

Красивое лицо баварки вдругъ становится серьезнымъ.

— А онъ?

— Мы были счастливы, дитя мое.

— И онъ никогда не измѣнялъ... тебѣ?

— Очень часто... Развѣ художники могутъ не увлекаться? Чтобъ работать, имъ нужны сильныя ощущенія, новизна, острота, опьянѣніе... все то, чего не можетъ дать жена, съ которой прожилъ пять лѣтъ...

— И ты... это знала?

— Конечно... Онъ думалъ, что я ничего не замѣчаю... А когда капризъ его угасалъ, онъ приходилъ ко мнѣ съ своей исповѣдью... „Я все уже знаю", отвѣчала я. „Но если тебѣ отъ этого легче, то говори!.."

Маня садится на подушкахъ. Худенькія смуглыя руки прижались къ сердцу.

— И ты не возненавидѣла его? Ты его не бросила?

— За что?.. Если-бъ я бросила его, онъ умеръ бы съ горя... Или ты думаешь, что онъ любилъ не меня, а тѣхъ, съ кѣмъ онъ меня обманывалъ?

— Онъ тебя обманывалъ... Гдѣ же тутъ любовь?

— Ахъ, дитя мое! Какъ ты мало знаешь жизнь? Развѣ любовь и желаніе одно и то же? Развѣ мы не видимъ на каждомъ шагу, что мужъ, обожающій жену свою, чувственно увлекается другою? Но здѣсь одни нервы... Души здѣсь нѣтъ. И это такъ же похоже на любовь, какъ свѣтъ лампы похожъ на солнце.

— Какая пошлость!

— Неправда! Это жизнь, которая не можетъ ни застыть, ни остановиться.

— Тогда не надо этой жизни!.. Я ее ненавижу!.. Я отвернусь отъ нея, Агата... И уйду въ міръ мечты...

— И ты сдѣлаешь огромную ошибку,—говоритъ фрау Кеслеръ на этотъ разъ по-нѣмецки, чтобы яснѣе выразить свою мысль.— Надо принять жизнь здѣсь, на землѣ, какъ она есть, безъ иллюзій и лжи! Прекрасную и жестокую жизнь, съ ея невѣдомыми намъ цѣлями, съ непостижимыми для насъ законами... Развѣ мы думаемъ о старости? Но вѣдь она неизбѣжна. Развѣ мы не боимся смерти? Но вѣдь она законъ... И мы подчиняемся... Почему же мы дерзаемъ приручить нашу фантазію, наши желанія и мечты?.. Какъ можетъ быть безнравственнымъ то, что стихійно? Ты не спрашиваешь, почему наводненіе или ураганъ разрушили твой домъ?.. Тамъ, гдѣ прошла смерть, бѣгутъ новые побѣги...

Баварка долго молчитъ, охвативъ колѣни руками, тихонько раскачиваясь туловищемъ и глядя на пеструю мозаику паркета. Потомъ продолжаетъ вполголоса. Какъ будто думаетъ вслухъ:

— Богата и сложна наша душа. И такъ глубока она, что часто мы старимся и умираемъ, не зная о томъ, что лежитъ на днѣ ея... И только случай будитъ все это загадочное и темное, что дрем-

летъ тамъ, и чего мы смутно боимся... Знаешь, дитя мое, что въ сердцѣ самой чистой женщины... если только у нея есть темпераментъ... на ряду съ самымъ высокимъ чувствомъ, наполняющимъ, казалось бы, всю ея жизнь, живутъ тайно для другихъ, безсознательно для нея самой какія-то странныя влеченія... темные капризы... чувственное любопытство. Мы иногда подавляемъ его... Но еще чаще оно подавляетъ насъ... На время, конечно... Иногда на одинъ мигъ. Но сила эта стихійна... И эти минуты бываютъ прекрасны!.. И мы помнимъ о нихъ до сѣдыхъ волосъ...

Маня слушаетъ. И не столько слова, сколько звуки. Она глядитъ въ это энергичное лицо, теперь затуманенное воспоминаніями. Вдругъ она придвигается и спрашиваетъ шопотомъ:

— И у... тебя?..

Фрау Кеслеръ молча наклоняетъ голову.

Губы Мани шевелятся беззвучно. Наконецъ она рѣшается:

— При жизни мужа... котораго ты любила?..

— Да...

Маня ложится на подушки. Подперевъ рукою голову, она смотритъ въ окно, на яркое небо.

Она вспоминаетъ собственное прошлое между двумя людьми, которыхъ она любила. И любила одинаково сильно и страстно... Пусть *онъ* съ презрѣніемъ отвернулся отъ нея!.. Отвернулся съ ужасомъ, какъ отъ чудовища... Развѣ сама она можетъ отречься отъ своего прошлаго? Развѣ не одно прошлое всецѣло наше,—какъ сказалъ поэтъ? Одно, что не измѣняетъ? Не обманываетъ?

А фрау Кеслеръ задумчиво говоритъ:

— У насъ на югѣ, въ Баваріи, поля пшеницы всѣ золотыя... Стоишь надъ ними въ лѣтній день. Воздухъ струится. И кажется, что самъ Богъ глядитъ на землю и благословляетъ мирную ниву... Идешь по полю... И вдругъ маки... Яркіе, какъ кровь... Боже, какъ они прекрасны!.. Знаешь вѣдь... хорошо знаешь, что это только плевелы, сорная трава... И что не мѣсто имъ среди золотого хлѣба... Но кто же посѣялъ ихъ здѣсь? Не вѣтеръ ли, промчавшійся случайно надъ полемъ?.. Кто вызвалъ ихъ къ жизни? Не то же ли солнце, которое взлелѣяло колосъ? И чѣмъ виноваты маки?.. Яркіе маки, что горятъ, какъ кровь... и радуютъ глазъ прохожаго?..

. . . .

А можетъ-быть это и не она говоритъ?.. Можетъ-быть, она говоритъ другое... А это поетъ и звенитъ въ ея сердцѣ ея старая, жгучая боль?

Маки... Грѣшные маки, дерзновенно подымающіе головки на золотой нивѣ души . . . .

— Маркъ, поди сюда!.. Здравствуй!..

„Какъ онъ похудѣлъ...“

Онъ цѣлуетъ ея руки. Они одни въ большой высокой комнатѣ, гдѣ умираетъ закатъ.

— Ты не хотѣла меня видѣть... Почему?

— Этого я тебѣ не скажу, Маркъ... Никогда...

— Развѣ у меня не найдется словъ, чтобъ побороть твое горе?

Она улыбается такъ странно...

— Видишь ли?.. Я уже не вѣрю въ слова.

Онъ придвигаетъ себѣ кресло и, не выпуская ея руки, садится рядомъ, у постели.

— Ты очень измѣнилась, Маня.

— Да, Маркъ. Я стала другой... Я разлюбила жизнь и... любовь...

— За что?

— За то, что она ползетъ въ грязи... За то, что она безсильна поднять нашу душу надъ большой дорогой... За то, что жизнь смѣется надъ нею...

Онъ думаетъ надъ ея загадочными словами.

Вдругъ, безъ всякой логики, повинуясь порыву, она притягиваетъ его къ себѣ и спрашиваетъ шопотомъ:

— А ты все тотъ же?

О, какъ она пронзительно глядитъ!

— Я не могу измѣниться, Маня. Моя любовь выше жизни.

Она все глядитъ въ его зрачки. И видитъ отраженное въ нихъ бѣлое лицо, рыжіе волосы, статную фигуру...

„А я смуглая и больная. У меня уже нѣтъ стройности. Скоро я буду безобразна... Устоитъ ли его чувство?..“

— А если... у меня будетъ оспа?

Онъ грустно улыбается и цѣлуетъ ея волосы.

— Я люблю душу твою, Маня. Развѣ можетъ измѣниться твоя душа?

„Не надо такой любви!“ хочетъ крикнуть она. „Тѣло мое люби и желай! Только это и вѣрно. Только это и цѣнно...“ Но она молчитъ, боясь выдать свою тайну. И сердце ея стучитъ.

Отчего ее оскорбляла чувственность Нелидова? И она жаждала, чтобъ онъ видѣлъ и любилъ ея душу; чтобъ онъ считался съ ея внутреннимъ міромъ... чтобъ онъ былъ нѣженъ, какъ братъ...

Но здѣсь... Безраздѣльно хочетъ она владѣть этимъ человѣкомъ! Его желаніями, его порывами, его фантазіей...

— Скажи, что ты меня любишь!—мрачно говоритъ она.

Онъ опускается на колѣни и цѣлуетъ край одѣяла.

— Вотъ мой отвѣтъ!

Но напрасно думаетъ онъ, что удовлетворилъ ея требователь-

ность. Слишкомъ высоко и свѣтло его чувство!.. Оно похоже на молитву. А рядомъ встаетъ обликъ другой... Рыжіе волосы, бѣлая кожа... Она вспоминаетъ свою свѣтлую любовь къ Нелидову. Развѣ не тонула она безъ слѣда при первой ласкѣ Штейнбаха? При первомъ взрывѣ чувственности? Вотъ гдѣ власть... Вотъ стихія, отъ которой нѣтъ спасенія...

— Поклянись, что ты не уйдешь!—съ отчаяніемъ говоритъ она.

— Куда?

— Ни-ку-да...

Онъ вздыхаетъ всей грудью. Онъ опять горестно качаетъ головой. Потомъ беретъ въ руки ея лицо и цѣлуетъ ея лобъ.

Маня вдругъ просыпается. Она слышала глухой звукъ внизу. Стукъ затворяющейся двери... Или это приснилось?..

Она сидитъ нѣсколько мгновеній, спустивъ ноги. Потомъ обувается и набрасываетъ на себя капотъ. Руки ея дрожатъ, и губы тоже. И все внутри ея сотрясается мелкой дрожью. Она выходитъ на балконъ.

Все тихо. Ни звука на каналѣ.

Со свѣчой въ рукѣ она спускается по лѣстницѣ.

Мракъ дрогнулъ. Тѣни метнулись. Нѣтъ... Ей не страшно... Живые глаза глядятъ со стѣны... Все равно! Она должна узнать то, что прячется за словами.

Она подходитъ къ подъѣзду. Трогаетъ замокъ. Все заперто.

Минуту она стоитъ, соображая. Сырость пронизываетъ ее ледяной волной... Но она слышала стукъ... Она не могла ошибиться...

Она идетъ ощупью внизъ, изъ залы въ другую... черезъ корридоры и закоулки. Лишь бы не погасла свѣча... Съ жалобнымъ пѣніемъ или визгомъ отворяются тяжелыя двери. Тутъ долженъ быть другой выходъ. Она его найдетъ...

Вотъ онъ... Низкая, темная дверь... Отсюда ходитъ прислуга. Но она тоже заперта. Онъ заперъ ее снаружи, уходя...

Маня смотритъ въ окно. Узкая набережная. И мостикъ переброшенъ на другую сторону... Агата говорила, что всю Венецію можно перейти по этимъ мостамъ, съ одного острова на другой. Онъ прошелъ здѣсь...

„Но почему именно онъ?“ спрашиваетъ кто-то въ ея душѣ. „Можетъ, это прислуга?“

Она идетъ назадъ въ вестибюль... Вотъ каминъ. Вѣшалка. Его пальто тутъ... Но развѣ у него нѣтъ другой одежды?

Она вспоминаетъ, что онъ былъ въ плащѣ...

На лѣстницу она поднимается, еле волоча ноги. Въ сердцѣ ея теплится и бьется послѣдній огонекъ надежды. Это отчаяніе ея

горитъ и трепещетъ, и мечется... то угасая, то вспыхивая, какъ эта свѣча, которую со всѣхъ сторонъ душитъ безпощадный мракъ... Угаснетъ сейчасъ...

Она идетъ все тише...

Вотъ корридоръ, гдѣ его комната. Наискосокъ отъ ея спальни.

У порога она замираетъ на мгновеніе. Нѣтъ силъ войти... Не вернуться ли?.. Но отчаяніе толкаетъ ее впередъ.

Дверь открывается беззвучно.

„Не такъ, какъ другія", проносится въ головѣ ея, точно кто-то говоритъ ей въ уши. „Онъ объ этомъ позаботился..."

Она съ порога смотритъ въ комнату. Высокая спинка постели скрываетъ отъ нея подушки.

Она подходитъ медленно, вся дрожа...

Никого... Постель не тронута. Онъ не ложился.

Она стоитъ, закрывъ глаза. У нея такое чувство, что раскрылась земля подъ ногами. И дальше итти некуда.

Вдругъ она роняетъ свѣчу. Все погружается въ мракъ.

Она падаетъ на колѣни передъ постелью. И, обхвативъ подушки, прижавшись къ нимъ губами, пряча въ нихъ лицо, она рыдаетъ такъ мучительно и страстно, какъ будто передъ нею трупъ Штейнбаха.

VII.

— Я нашла ее у постели, на полу, и въ глубокомъ обморокѣ,— говоритъ фрау Кеслеръ Штейнбаху.

— Можно мнѣ ее видѣть?

— Идите... Она не спитъ.

Штейнбахъ хочетъ овладѣть собою. Но съ порога онъ видитъ ея лицо. Маленькое, жалкое... Такое скорбное и страдающее... Онъ никогда не видѣлъ у нея такого выраженія.

Чувство сильнѣе воли толкаетъ его къ кровати. Онъ обнимаетъ Маню и прячетъ лицо въ подушки.

Онъ ничего не говоритъ. Онъ цѣлуетъ ея волосы, лобъ, холодныя щеки, ея руки, безпомощно бѣлѣющія на одѣялѣ. Онъ отдалъ бы по каплѣ всю кровь своего сердца, чтобъ сдѣлать ее здоровой и счастливой... Хотя-бъ съ другимъ! Да, да... Онъ ни секунды не колебался бы. Но не съ Нелидовымъ... Нѣтъ!.. Ему онъ не уступитъ своего мѣста здѣсь, у ея изголовья...

Но на что ей его преданность? Его беззавѣтная любовь?

Она безстрастна и далека. Его ласки, его первые поцѣлуи послѣ такого долгаго отчужденія она принимаетъ равнодушно... Какъ будто она устала... Смертельно устала... Она даже не глядитъ на него... Она смотритъ мимо.

— Ты страдаешь, Маня?

— Нѣтъ...

— Дитя мое... Зачѣмъ эта скрытность? Развѣ я не другъ тебѣ? Не братъ?.. Открой мнѣ свое сердце... Плачь!.. Тебѣ будетъ легче...

— Я уже выплакала всѣ слезы...

Ея голосъ измѣнился. Нѣтъ въ немъ звонкихъ нотокъ, горячаго трепета. „Прощай, дѣвочка-Маня!.. Радостная, яркая Маня!“

— Прощай...

Онъ поднимаетъ голову... Послышалось ему? Или она это прошептала?.. Или это бредъ?.. Онъ не смѣетъ спросить... Ея губы сомкнулись. Глаза закрыты. Она устала...

— Можетъ-быть, мнѣ уйти?—тихонько спрашиваетъ онъ.

— Нѣтъ... Нѣтъ... Мнѣ лучше, когда ты здѣсь...

— Хочешь, я почитаю что-нибудь?

— Да...

Онъ поворачивается, чтобъ уходить.

Онъ уже на порогѣ. Не смотритъ.

Тогда глаза ея раскрываются. Огромные, сверкающіе. Алчные глаза. Она глядитъ ему вслѣдъ съ такимъ отчаяніемъ, какъ уплывающіе въ далекій океанъ, въ невѣдомое будущее, глядятъ на тѣхъ, кто остался на берегу, и вотъ-вотъ исчезнутъ въ туманѣ.

„Прощай, моя греза... Прощай, менестрель...“

Вечеромъ, опустивъ рѣсницы, съ безстрастнымъ лицомъ, она говоритъ этимъ новымъ равнодушнымъ голосомъ, котораго такъ боится Штейнбахъ:

— Вчера ночью, Маркъ, я испугалась. Я видѣла что-то въ корридорѣ... Мои нервы разбиты, говоритъ докторъ... Но онъ не понимаетъ... У меня къ тебѣ просьба...

— Все, дитя мое... Все, что ты хочешь!..

— Агата спитъ очень крѣпко. Вели поставить ея кроват здѣсь, въ моей комнатѣ. А самъ перейди спать туда, рядомъ... Если я позову, ты вѣдь услышишь? Ты чутко спишь?

— О, конечно...

— Я затворю дверь... Но ты дай мнѣ звонокъ на столикъ. У тебя есть звонокъ?

— Чего же ты испугалась, Маня?

— Пустяки. Это нервы... Но... можетъ-быть... тебѣ нужно... гулять ночью... И я тебя стѣсню?

— Что за вздоръ, Маня!.. Кто гуляетъ по ночамъ?

Она все глядѣла на карнизъ. Теперь она прямо смотритъ въ его лицо.

— Тебя не было вчера...

А!.. Онъ смутился... Его матовыя щеки порозовѣли. Рѣсницы дрогнули. Но глаза смотрятъ спокойно и холодно. Глаза лгутъ...

Онъ спрашиваетъ не сразу. Сдержанно и вкрадчиво:

— Значитъ ты меня искала?

— Да.

Онъ опять молчитъ, выжидая. Онъ похожъ на путника, который ходитъ по трясинѣ. Ступилъ на кочку и ждетъ, не опустится ли она подъ его ногой? Ни шагу дальше!..

Но, ревнивая и страдающая, она становится необычайно чутка. Его осторожность она чувствуетъ. Почти физически.

— Я кинулась въ корридоръ... Я тебя звала...

— Ты была въ моей комнатѣ? Это ты отворила дверь?

— Да... Я пришла къ тебѣ... И тебя не было...—доканчиваетъ она. И голосъ ея звенитъ вдругъ, какъ сорвавшаяся струна.

— О, Боже мой!—Онъ берется за голову руками.

— Ты, значитъ, тоже... любишь бродить по ночамъ?

Она старается говорить спокойно. Но и его подозрѣнія проснулись. Онъ насторожился. Что она знаетъ?.. Возможно ли, чтобъ она догадывалась?

— Нѣтъ... Это была случайность. Я никуда больше не пойду.

Она улыбается... Хорошо, что онъ не видитъ этой улыбки презрѣнія! Онъ понялъ бы все...

Какое ласковое солнце! Совсѣмъ какъ весна... Можно ли подумать, что это конецъ декабря?

— А въ Россіи сейчасъ сугробы снѣга и морозъ,— говоритъ фрау Кеслеръ.—Скоро будетъ Рождество... Зажгутъ елки...

Онѣ обѣ сидятъ на балконѣ. Ноги Мани укутаны въ пледъ. Лицо у нея стало совсѣмъ крошечное и больное. Но глаза — темные и мрачные. И холодомъ вѣетъ отъ ея улыбки.

— Скоро мы осмотримъ Дворецъ Дожей,— говоритъ она.— Потомъ уѣдемъ...

— Ты разлюбила Венецію?

— Нѣтъ, я люблю ее... Но я ненавижу жизнь!..

— Какъ жаль! Я мечтала видѣть карнавалъ...

Штейнбахъ выходитъ на балконъ въ плащѣ и шляпѣ. У него въ рукахъ портфель.

— Я ѣду къ Ріальто, на почту. Не надо ли вамъ чего-нибудь въ городѣ?.. Ты, должно-быть, озябла, Маня? У тебя совсѣмъ бѣлыя губы... И руки какъ ледъ...

— Вы скоро вернетесь, Маркъ Александровичъ?

— О, да. Я привезу письма... Не сиди, Маня, долго на воздухѣ... Это опасно.

Онъ цѣлуетъ ея руку. Она остается недвижной.

Опершись на балюстраду, фрейлейнъ Кеслеръ смотритъ внизъ, на отплывающую гондолу.

— Маня, онъ кланяется... Онъ ищетъ тебя глазами...

Она не отвѣчаетъ. Лицо ея какъ будто закаменѣло. Она смотритъ вверхъ, на легкія гряды облаковъ.

— Агата,—говоритъ она, когда гондола заворачиваетъ налѣво, скрываясь за дворцомъ Фоскари,—когда у меня родится дочь, я буду опять гордой и сильной. А не такой ничтожной и презрѣнной, какой чувствую себя сейчасъ... У тебя были дѣти?

— Трое... Всѣ умерли въ дѣтствѣ...

— Какъ ты могла это пережить?

Фрау Кеслеръ пожимаетъ плечами.

— Если-бъ мы всѣ умирали отъ любви или отъ горя, что сталось бы съ человѣчествомъ?.. Горе проходитъ. Скорбь блѣднѣетъ... Это жизнь...

— Опять *жизнь*?.. Великая пошлость!

— Вѣрнѣе, могучая власть! Она не даетъ пощады, не знаетъ остановки, не терпитъ унынія и отчаянія. Она зоветъ впередъ! Къ новымъ встрѣчамъ, новымъ радостямъ, новымъ обязанностямъ... Какъ часто я думала: „Вотъ теперь кончено все... Опустилась въ черную яму. Окружили меня глухія стѣны. И выхода нѣтъ...“ А жизнь, между тѣмъ, уже распахивала тихонько передо мною двери. И я видѣла вверху клочокъ голубого неба... Не качай головкой!.. Ты когда-нибудь научишься любить ее, не какъ дѣвочка, живущая сказками, а какъ гордая женщина, у которой есть силы посмотрѣть въ лицо своей судьбѣ... И я знаю, что недалека та минута, когда ты скажешь: „Да здравствуетъ жизнь!“

Онѣ уходятъ съ балкона. Маня, закутавшись въ платокъ, ложится на широкой, старой софѣ. Она прислушивается къ движеніямъ таинственнаго существа, которое носитъ въ себѣ. И глаза ея расширены отъ мистическаго ужаса.

Когда она очнулась въ ту ночь отъ обморока, кто-то маленькій и безпомощный постучалъ въ ея грудь... „Я здѣсь... Ты обо мнѣ забыла?..“ А когда она хотѣла встать, *онъ* съ такой рѣжущей болью всколыхнулся въ ней!.. Даже въ глазахъ потемнѣло...

О, съ чѣмъ сравнить взрывъ раскаянія! Этотъ потокъ жалости, затопившій ея душу! Да, она о немъ забыла!.. Она не берегла себя... Своими слезами и отчаяніемъ она губила не только себя... У *того*, безпомощнаго, крошечнаго, связаннаго съ нею неразрывными узами,—она отнимала силы и кровь... О, жестокость!.. И вотъ сейчасъ, когда душа ея опять рыдала надъ рас-

топтанными иллюзіями, этотъ маленькій *кто-то* постучалъ тихонько и жалобно, какъ бы прося пощады...

— Агата, закрой меня получше!.. Я хочу заснуть... Крѣпко заснуть и встать здоровой. Когда придетъ Маркъ, скажи, чтобъ не мѣшалъ мнѣ...

— Ты опять не спала? Опять прислушивалась къ шагамъ?

„Если-бъ Агата знала... Она не подозрѣваетъ, что я была его любовницей... Довольно безумія!"

— Все будетъ теперь иначе, Агата... Поцѣлуй меня!.. Постой... Скажи мнѣ: знаешь ты средство вылѣчиться отъ любви?

Фрау Кеслеръ смѣется и гладитъ ее по головѣ.

— Знаю, Маня. Есть только одно средство: новая любовь...

— У меня она будетъ. Великая, глубокая, свѣтлая любовь... Непохожая ни на что... Безъ измѣны, обиды, унизительныхъ страданій. Съ бѣлыми крыльями, какъ у ангеловъ... Я была безумная, Агата... У меня въ рукахъ сокровище, а я забыла о немъ и гналась за призраками... Почему ты мнѣ не сказала, что дѣти замѣняютъ намъ всѣ цѣнности, что мы теряемъ по дорогѣ?..

— Потому что они не замѣняютъ намъ любви, — спокойно отвѣчаетъ фрау Кеслеръ.—Любовникъ — одно, дитя — другое... Это земля и небо. И слить ихъ нельзя.

— Тогда я поднимусь надъ землей... Мое дитя, Агата, спасетъ меня отъ пошлости... Моя любовь къ нему подниметъ меня надъ грязью большой дороги... Мы вдвоемъ съ нимъ, рука объ руку, вступимъ въ жизнь... И побѣдимъ ее, Агата! Побѣдимъ!!.. Ты видишь, я уже не плачу... Мое дитя не хочетъ, чтобъ я страдала... И я буду улыбаться... Теперь обними меня... Я засну спокойно... Ахъ, какъ я устала! Какъ я смертельно устала!..

— У васъ плохія извѣстія, Маркъ Александровичъ?

— Я получилъ письмо отъ Сони... Нелидовъ за границей.

— Не можетъ быть!

— Тише!..

— Нѣтъ... Она крѣпко уснула...

— Все равно... Пойдемте внизъ, въ библіотеку...

— Что она пишетъ?—спрашиваетъ фрау Кеслеръ, садясь въ кресло и оглядываясь.

Она никогда здѣсь не была. Комната мрачная, высокая, съ огромными рѣзными шкафами, съ витринами, подъ которыми красуются коллекціи камней, старинныхъ монетъ и украшеній. Каминъ топятъ здѣсь цѣлый день, но все-таки холодно.

Штейнбахъ вынимаетъ письмо Сони.

„...Дядюшка говоритъ, что Нелидовъ такъ измѣнился, какъ

будто перенесъ тяжелый тифъ. Онъ узналъ о попыткѣ Мани покончить съ собой, и дядюшка увѣренъ, что это именно глубоко потрясло его... И, вообще, я начинаю думать, что онъ не разлюбилъ Маню и не скоро ее забудетъ... Онъ дошелъ до такого нервнаго разстройства, что Климовъ требовалъ немедленной перемѣны обстановки. Иначе онъ ни за что не ручался... Вчера я опять получила письмо. Нелидовъ изъ Кіева выѣхалъ на Вѣну. Оттуда въ Ментону...“

Онъ опускаетъ письмо на колѣни. Фрау Кеслеръ испуганно глядитъ въ его лицо.

— Неужели встрѣча возможна?—спрашиваетъ она шопотомъ.

— Я ее не допущу!—говоритъ онъ тихо.

— Мы, значитъ, должны немедленно уѣхать?

— Почему?.. Пока Маня со мною, она въ безопасности. Развѣ Нелидовъ не знаетъ, что мы вмѣстѣ сейчасъ? Этого достаточно.

— Вы думаете, это ему извѣстно?

— Я объ этомъ постарался...

— Что это значитъ?

— Я былъ готовъ ко всему и... просто принялъ свои мѣры. Мое довѣренное лицо выѣхало съ Нелидовымъ въ одномъ поѣздѣ Кіевъ—Вѣна... Третьяго-дня я получилъ телеграмму...

Фрау Кеслеръ вдругъ вспомнаетъ его лицо, когда онъ ее получилъ.

— Вы видѣли Нелидова??

— Онъ видѣлъ меня... Это гораздо важнѣе... Я былъ на вокзалѣ, когда подошелъ поѣздъ...

— Боже мой!.. И вы говорили?..

Штейнбахъ тихо смѣется.

— О чемъ намъ говорить, фрау Кеслеръ?.. Мы постарались не узнать другъ друга... Наша встрѣча длилась мигъ. Но этого было довольно... Нелидовъ провелъ одну ночь въ Грандъ-Отелѣ... противъ нашихъ оконъ... Вы видите? Тамъ... И я знаю, что съ первымъ утреннимъ поѣздомъ онъ выѣхалъ на Ментону... Я не люблю недоразумѣній, фрау Кеслеръ...

Она встаетъ съ пылающимъ лицомъ.

— Маркъ Александровичъ! Но вѣдь это именно и было величайшимъ недоразумѣніемъ... И по какому праву? Чтобъ оградить Маню отъ сплетенъ, Петръ Сергѣевичъ поручилъ мнѣ увезти ее на югъ. Не вамъ, а мнѣ... Вы предложили ваши услуги, какъ опытный человѣкъ и какъ другъ... Но вспомните, на какихъ условіяхъ!.. Вы должны были насъ сопровождать до Вѣны, гдѣ живетъ ваша больная жена... И всѣ, даже мои родные, думаютъ, что вы остались съ нею... Петръ Сергѣевичъ въ этомъ убѣжденъ...

— Но не Соня... Соня знаетъ все...

— При чемъ тутъ Соня?.. Мнѣ важно оправдать довѣріе Петра Сергѣевича... Въ какое положеніе вы поставили меня?

— Развѣ вы не дали мнѣ вашего согласія сопровождать васъ сюда?.. И всюду?..

— Да, но подъ величайшей тайной... Кто увидитъ насъ за границей?—думала я... Но вѣдь вы знаете сами, какъ я щепетильна во всемъ, что касается нашихъ расходовъ... Петръ Сергѣевичъ умеръ бы отъ горя, если-бъ Маню приняли за вашу...

— Содержанку... Договаривайте, пожалуйста!..

— Да, вы меня поняли... Вы думаете, Маня и сейчасъ не дорожитъ мнѣніемъ Нелидова?

— Мнѣніемъ человѣка, который отрекся отъ нея?

— Изъ-за васъ!—экспансивно бросаетъ она ему въ лицо.

— Я ли, другой... тутъ дѣло въ принципѣ... Но оставимъ это! Въ чемъ вы меня обвиняете?.. Что я не отвернулся отъ Мани, какъ это сдѣлали другіе?

— Ахъ, Боже мой!.. Какъ вы странно ставите вопросъ!—лепечетъ она, избѣгая глядѣть въ его лицо.—Но согласитесь, если Нелидовъ, этотъ дядюшка и всѣ другіе будутъ считать теперь Маню вашей любовницей...

— Вы предпочли бы, чтобъ она осталась одинокой въ мірѣ? Отвергнутой и забытой? Такъ? Моя любовь для нея большій позоръ, чѣмъ презрѣніе Нелидова и К°? Вы это хотите сказать?

— Нѣтъ... Кто говоритъ про любовь?

— Вы видите какой-нибудь выходъ отсюда?

— Я?

— Ну, да... Вы... Разъ вы критикуете мое поведеніе, у васъ должны быть иные планы... Будьте любезны мнѣ ихъ сообщить!

Она бѣгаетъ по комнатѣ.

— Я ничего не знаю, Маркъ Александровичъ! Но я чувствую, что вы ступили на ложный путь. Гордость Мани...

— Подождемъ ея слова... Мнѣ кажется, это единственное, что цѣнно...

— Но вы забываете, что она сейчасъ больна и... слишкомъ поглощена своимъ горемъ, чтобъ считаться съ послѣдствіями того или другого шага... Но потомъ... когда ей придется создавать себѣ положеніе въ жизни... когда отъ ея репутаціи будетъ зависѣть найти себѣ кусокъ хлѣба,—скажетъ ли она спасибо вамъ и мнѣ—своимъ лучшимъ, скажу даже: единственнымъ друзьямъ,—что мы по безпечности позволяли клеветѣ расти вокругъ ея имени? Вы вѣдь не можете жениться на ней?

— Нѣтъ. Я не свободенъ...

— Вотъ видите!

— Но, насколько я понимаю... и для брака съ Нелидовымъ у нея отрѣзаны всѣ пути... Или вы разсчитываете на то, что они опять сойдутся?

Она глядитъ ему прямо въ лицо.

— А вы?.. Развѣ не этого боялись вы сами, когда ѣхали на вокзалъ?

— Я боялся за Маню... Неожиданность, потрясеніе, взрывъ горя, новое оскорбленіе—все можетъ быть гибельно для нея сейчасъ... Неужели вы вѣрите, что онъ изъ тѣхъ людей, которые способны поставить крестъ на прошломъ любимой женщины и никогда не упрекнуть ее?... Неужели вы ждете для нея счастія въ такой связи?... Его порывъ великодушія длился бы одну ночь, фрау Кеслеръ! Одну только ночь...

Она садится съ безпомощнымъ жестомъ.

— Это было ея дѣло рѣшать здѣсь... А если вы все-таки разбили ея счастіе? Какъ знать, въ чемъ она его видитъ?

— Фрау Кеслеръ,—холодно перебиваетъ онъ.—Что сдѣлалъ я, чтобъ заслужить эти упреки?.. Я прекрасно понимаю преимущества Нелидова передо мною. Онъ былъ женихомъ. Я—только поклонникомъ... Теперь наши шансы равны... Но неужели и сейчасъ довольно одного призрака этого эксъ-жениха на горизонтѣ, чтобы всѣ дружескія услуги топтались въ грязь, и обезцѣнивались самыя высокія отношенія и чувства?

Онъ встаетъ и подходитъ къ окну, изъ котораго виденъ Canale Grande. Прошелъ торопливый, переполненный пароходикъ, направляясь къ Ріальто, и мутныя волны добѣжали до стѣнъ палаццо и лизнули его мраморъ.

Она не видитъ его лица. Но она порывисто подходитъ къ нему и кладетъ руку ему на плечо.

— Не сердитесь, Маркъ Александровичъ!.. Повѣрьте, что и я, и Петръ Сергѣевичъ, и мои родные, мы всѣ высоко цѣнимъ ваше отношеніе къ Манѣ... Нелидовъ приревновалъ къ вамъ... Былъ ли онъ правъ, мы въ это не вмѣшиваемся... Во всей исторіи этого разрыва для меня и другихъ осталось много темнаго и неяснаго, все равно! Мы опускаемъ завѣсу... Если Маня и виновата,—съ точки зрѣнія Нелидова,—она сама разбила свое счастіе. И своими страданіями искупила свою вину... Мы ей не судьи...

— Вины не было...

— Тѣмъ лучше! Нелидовъ не зналъ, что она будетъ матерью...

— Но когда онъ это узналъ, онъ кинулся сюда...

Она смотритъ на него. Потомъ всплескиваетъ руками.

— Маркъ Александровичъ... Что вы сдѣлали?.. Зачѣмъ?.. Вѣдь теперь онъ ничему не повѣритъ...

— И не нужно, фрау Кеслеръ!.. Маня не узнаетъ лишнихъ униженій оправдываться и доказывать...

— Но и не онъ одинъ... Теперь всѣ будутъ васъ считать отцомъ этого ребенка...

— У него есть мать... И этого довольно!.. Но если даже и такъ... Чего вы боитесь, фрау Кеслеръ?

— Но съ этой клеветой надо бороться!

— Зачѣмъ?

— Боже мой!.. Что за вопросы? Вы упорно хотите все-таки, чтобъ ее считали вашей любовницей?

— Да... фрау Кеслеръ! Да... Я этого хочу!.. Не думаете ли вы, что и теперь насъ считаютъ за брата и сестру?.. Кого вы хотите обмануть? Кого хотите подкупить?.. И во имя чего?Если-бъ я овдовѣлъ нынче, я завтра просилъ бы Маню вѣнчаться со мною... Я предъ всѣмъ міромъ готовъ признать этого чужого ребенка своимъ и усыновить его... Но этого мало... Я хочу, чтобъ Федоръ Филипповичъ, Горленко, Лизогубы и tutti quanti, всѣ эти люди, втоптавшіе въ грязь имя Мани, знали, что вся моя жизнь принадлежитъ дѣвушкѣ, отвергнутой г. Нелидовымъ... И если такое чувство не сможетъ залѣчить ея раны и дать ей удовлетвореніе, значитъ я не знаю женщинъ!..

Фрау Кеслеръ взволнованно обдумываетъ его слова.

Штейнбахъ беретъ письмо Сони, бѣлѣющее на столѣ, и прячетъ его въ столъ.

— Она не должна знать ничего объ этомъ, фрау Кеслеръ! Встрѣчи не будетъ... По крайней мѣрѣ, пока не минетъ опасность волненій для Мани. Не допускайте до нея ни писемъ, ни телеграммъ... Даете слово?.. Но вы глубоко ошибетесь, если подумаете, что мною въ выработанномъ планѣ руководитъ ревность или жажда завладѣть Маней. Я думаю только о ней... Любовь Мани къ Нелидову—гибель всѣхъ возможностей. Всѣхъ цѣнностей ея души. Бракъ ея съ нимъ былъ бы равносиленъ самоубійству... А я не хочу, чтобъ Маня погибла!.. Нелидовъ,—если даже уцѣлѣла искра его чувства,—постарается не видать ея лица теперь... Все проститъ мужчина, кромѣ оскорбленнаго самолюбія... И тѣмъ лучше! Черезъ эту любовь ей надо шагнуть, чтобъ найти свой путь...

Она идетъ, когда онъ окликаетъ ее на порогѣ.

— Фрау Кеслеръ, если вы дѣйствительно другъ Манѣ, то перестаньте бояться словъ!.. Какъ любовница моя, она завоюетъ себѣ славу, свое мѣсто въ жизни, независимость... И станетъ *личностью.* Какъ жена Нелидова, она останется въ тѣни. Она будетъ ничѣмъ!

Любовь закроетъ передъ нею ворота въ будущее, которыя я распахиваю настежь... Простите... Нашъ разговоръ конченъ...

VIII.

Изъ дневника Мани.

Венеція. Декабрь.

„Опять пишу... Послѣ долгаго перерыва... Въ послѣдній разъ это было въ гимназіи. Мы съ Соней встрѣтили на станціи Марка въ первый разъ. И вся моя жизнь стала съ той минуты однимъ жгучимъ стремленіемъ къ нему...

„Почему я пишу? Потому что я одинока... Потому что я несчастна... Потому что слезы дрожатъ въ моей груди... Кому скажу я о моей тоскѣ? Кто пойметъ меня?.. Мои требованія къ людямъ такъ высоки, что я всѣмъ покажусь смѣшной...

„Нѣтъ, нѣтъ!.. Не надо даже здѣсь, наединѣ съ собою, вспоминать, что́ я выстрадала и въ чемъ разочаровалась... Назадъ глядѣть не буду. Развѣ передо мною не лежитъ жизнь?..

„Цѣлая жизнь... И ее надо прожить...

„Я любила ее... Трогательно и довѣрчиво, восторженно и страстно... А она поступила со мной, какъ предатель. Напала изъ-за угла, ночью. Кинула въ грязь мою душу. Придушила мои мечты. И унесла мои иллюзіи... И вотъ я лежу, ограбленная, униженная и одинокая... О, какая одинокая!..

„И даже умереть нельзя сейчасъ... Мое дитя—маленькое, беззащитное—потребуетъ отъ меня отвѣта за каждый мой шагъ... Я должна жить хотя-бъ съ отчаяніемъ въ душѣ... Я должна подняться и итти...

„Куда?

„Есть ли кто-нибудь сейчасъ во всемъ обширномъ мірѣ, въ кого бы я могла повѣрить?

„О вы, молодыя и чистыя души, которыя никогда не прочтутъ эти строки!.. Вы, вѣрившія въ жизнь и мечтавшія о любви,—къ вамъ протягиваю я руки изъ глубины моего паденія... О васъ я плачу, какъ о себѣ... Вѣдь любви нѣтъ, поймите!... А есть *желаніе.* Ненасытное, неумолимое, непобѣдимое желаніе... Въ нашей душѣ живетъ стремленіе къ небу, къ безпредѣльному чувству, къ Вѣчности... Это отзвукъ другого міра. Это эхо далекой пустыни, гдѣ бродили наши счастливыя души, прежде чѣмъ мы явились на свѣтъ. Это сны нашей души, которая не можетъ примириться съ смертью и измѣной... И эти сны мы—женщины—хотимъ осуществить на землѣ... И жизнь смѣется надъ нами... Слышите?.. Она насмѣется надъ вами также... Мнѣ говорятъ, что жизнь—это движеніе, это бѣгъ, торопливый и безудержный... Бѣгъ черезъ свергнутыя тѣла,

черезъ протянутыя руки... Куда?.. Кто знаетъ?.. Волна несется къ скалѣ и разбивается о нее грудью... Зачѣмъ? Кто скажетъ?.. Мы не видимъ смысла... Но онъ есть, скрытый для насъ... Такъ говорятъ мнѣ... Но можетъ ли смириться душа?.. Можетъ ли волна остановиться?..

„Жизнь—это тѣло, съ его требованіями, съ его капризами, страстями, съ его собственной логикой, непонятной намъ... Это сила, глухая и темная... Прекрасная сила, какъ говорилъ мнѣ Янъ... Могучая и яркая, какъ говоритъ Агата. Что передъ нею наша маленькая душа съ ея блѣдной грезой?..

„Мнѣ страшно... Развѣ я сама не поступала такъ же?

„Нелидовъ... Вотъ я сказала это имя... Оно жгло мои уста и мою душу... Но я молчала... Нелидовъ... Я теперь громко говорю его... Развѣ я не одна въ комнатѣ?.. Развѣ не спитъ весь домъ?..

„Ты былъ моей любовью... Моей мечтой. Моимъ стремленіемъ къ небу... Все готова была я отдать тебѣ. И ничего не просила взамѣнъ... Ничего, кромѣ маленькой, чистой ласки... И я хотѣла, чтобъ ты наклонился и заглянулъ мнѣ въ душу. И увидалъ тамъ отраженнымъ твой образъ и мою жажду любить тебя...

„Но рядомъ жило мое желаніе... Оно таилось на днѣ моего *я*... Въ томъ глубокомъ мракѣ, куда заглянуть такъ жутко... Куда многія не заглядываютъ до сѣдыхъ волосъ... И это желаніе было не *ты*... Не ты... Другой!.. Оно подстерегало меня. И нападало внезапно. И душило любовь... И твой образъ тонулъ въ захлеснувшей волнѣ...

„Я не прошу прощенія. Нѣтъ!.. Я не раскаиваюсь, нѣтъ!.. Они были прекрасны, эти яркіе, эти грѣшные маки... Ихъ посѣялъ тотъ, кто покрылъ все поле золотистымъ хлѣбомъ... Какъ могла я вырвать ихъ изъ души моей? Убить красоту и радость?.. И здѣсь навѣрное есть скрытый смыслъ, таинственный законъ. Но мы не видимъ цѣли. Наши очи слѣпы. И мы говоримъ: судьба...

„Но теперь я понимаю тебя... Я знаю, за что ты меня оттолкнулъ... Въ твоей душѣ жила великая греза... А я разбила ее...

„Прощай!.. Мы уже никогда не встрѣтимся... Ты не можешь помириться на маломъ... И я испортила тебѣ будущее. Отняла семью, дѣтей, уютъ, тихія радости несложной жизни, къ которой стремилась твоя простая душа... Ты меня не забудешь, знаю!.. Но у меня нѣтъ удовлетворенія при этой мысли... Я молюсь, чтобъ судьба послала тебѣ счастіе съ другой... лучше, прекраснѣе, сильнѣе меня,—слабой и мятежной... Желаю, чтобъ ты встрѣтилъ *Лизу* изъ *Дворянскаго гнѣзда*, если есть такія теперь... Только такую долженъ бы ты любить... Зачѣмъ мы встрѣтились, Николенька?..

. . . .

„Нѣтъ... Нѣтъ... Къ чему эти слезы? Я не хочу быть неблагодарной... Ты далъ мнѣ много счастія... Ты подарилъ мнѣ дитя... Развѣ можетъ *мать* быть одинокой въ мірѣ?.. Развѣ дитя не наполнитъ нашей души? Не угаситъ нашихъ стремленій? Не осуществитъ наши сны?...

„Но, Боже мой, какъ мнѣ жутко!.. Безъ иллюзій, съ обнаженной и израненной душой должна итти я дальше. Темно и холодно... Если-бъ . . . .

Изъ письма Нелидова къ матери.

Бретань.

„Вы спрашиваете, почему я измѣнилъ маршрутъ?.. Почему я не осмотрѣлъ Венецію? Какъ я очутился здѣсь, когда меня послали въ Ментону?.. Милая мама̀, я чувствую между строкъ Вашу тайную тревогу... Не бойтесь!.. Встрѣчу ли я *ее*, нѣтъ ли, *она* для меня уже умерла... Моя разбитая иллюзія будетъ стоять между *ней* и мною. И я не узнаю теперь ея лица, которое такъ безумно любилъ еще недавно. Да, любилъ, несмотря ни на что!.. Но теперь я постараюсь ее забыть... Мнѣ стыдно за мою слабость. Но вы не будете презирать меня, мама̀?

„Въ Ментонѣ я прожилъ не больше недѣли. Тамъ слишкомъ людно. Пряная красота юга, тишина этого моря были такимъ диссонансомъ для моей души!.. Я стремился къ Океану...

„А сейчасъ я въ захолустномъ бретонскомъ курортѣ, гдѣ меня никто не знаетъ; гдѣ нѣтъ никого, кромѣ хозяевъ и мѣстныхъ жителей, которые считаютъ меня за ненормальнаго. Вѣдь это сезонъ бурь. Но я люблю сѣверъ, его туманы, просторъ Океана передо мной, вѣчный отливъ и приливъ... Вотъ лучшее лѣкарство для моей больной души.

„Цѣлыми часами въ полномъ одиночествѣ сижу я на скалахъ и смотрю, какъ бѣгутъ и пѣнятся волны. Куда бѣгутъ? Въ чемъ цѣль этого бѣшенаго стремленія?.. Вы улыбнетесь, мама̀? Но мнѣ ихъ жаль, эти волны... Какая громадная энергія! Какой чудовищный порывъ!.. И все безплодно...

„Я часто думаю о Богѣ. Я слышу его голосъ въ ураганѣ. Я слышу его дыханіе въ бурѣ.

„Недавно я катался въ рыбачьей парусной лодкѣ... Насъ унесло вѣтромъ далеко въ море. Вдругъ налетѣлъ шквалъ... Теперь, когда все миновало, не скрою отъ васъ, что два часа мы ждали смерти ежесекундно...

„Я никогда не забуду этихъ высокихъ минутъ!.. Я чувствовалъ себя такимъ ничтожнымъ среди стихіи... Я видѣлъ лицо Бога въ надвигавшемся меракѣ... Всѣ камни, пригнувшіе къ землѣ мою

душу, вдругъ скатились, утонули въ шипящей пучинѣ. И я понялъ, что я опять свободенъ, что опять здоровъ. Что жизнь есть цѣнность, а моя боль—ничто...

„Все прожитое начинаетъ казаться мнѣ сномъ. У меня нѣтъ уже ненависти... Кажется, нѣтъ и боли... Скажите Климову, что я крѣпко жму его руку за то, что онъ послалъ меня сюда. Онъ психологъ—этотъ смѣшной, самовлюбленный человѣкъ, съ его вульгарнымъ краснымъ галстукомъ. И онъ уменъ. Теперь я буду съ нимъ считаться...

„Я пріѣхалъ сюда худой и блѣдный, а теперь лицо мое обвѣтрилось, какъ у моряка, и вернулся прежній сонъ. Не бойтесь за меня!.. Когда мнѣ понадобятся люди, я уѣду въ Шотландію, къ моему пріятелю, лорду Файфу. Письмо его лежитъ передо мной. Онъ тоже одинокъ и несчастенъ. Жена его никогда не вылѣчится. И теперь онъ сталъ ближе моей душѣ...

„Федоръ Филипповичъ пусть подождетъ писать сюда... Я хочу все забыть! Все!..“

... Что это за странный замокъ тамъ на утесѣ? Сѣдое море бушуетъ подъ нимъ... И брызги летятъ вверхъ... Кричатъ наверху чайки... Вонъ взмахнула одна серебрянымъ зигзагомъ на грифельномъ фонѣ тучъ... И сѣла на зубцы башни...

„Была я тутъ?.. Или нѣтъ?..“

... „Или сплю?..“

... Сѣрыя стѣны... Неприступенъ замокъ. Надъ воротами гербъ барона: *Чайка летитъ надъ моремъ...*

... Въ залѣ пылаетъ каминъ. Отблески огня играютъ въ рыцарскихъ доспѣхахъ, на стѣнѣ. Ждутъ съ охоты гостей... Сумерки падаютъ. Туманъ поднимается...

... Сверху глядитъ маленькое личико съ темными глазами.

„Это я?.. Или нѣтъ?“

... Высокая комната. У окна прялка. Все кругомъ просто и строго. На стѣнѣ бѣлѣетъ Распятіе. Подъ нимъ деревянная кроватка. Спитъ малютка, раскинувъ ручонки...

„О, милый... Мое дитя...“

... Чернѣетъ что-то на подушкѣ... Конекъ... Рѣзной изъ дерева... Рыцарь де-Трувилль самъ привезъ его въ подарокъ крестнику... Сейчасъ они вернутся съ охоты... Ужъ поздно...

... Наконецъ!.. Трубятъ рога... Гремятъ цѣпи моста. По мерзлой землѣ стучатъ копыта... Вонъ *онъ* впереди кавалькады, на бѣломъ конѣ. Бѣлокурый, надменный...

„Это ты, Николенька?“

... Онъ смотритъ вверхъ, и лицо его смягчается. Онъ видитъ въ окнѣ маленькое личико... Онъ киваетъ ей головой...

...Она спускается съ лѣстницы. Шлейфъ волочится за нею. Вуаль, какъ облако, окуталъ плечи... У нея такой странный головной уборъ!.. Какъ у Агнесы Сорель...

...Гости увидали ее. Всѣ встали и цѣлуютъ руку. Но она ищетъ глазами мужа,—смиренная, кроткая, нѣжная...

...Ея взглядъ говоритъ: „Я ждала тебя весь день и тосковала... „Но это ничего, мой милый... Пируй, веселись!.. День для тебя... „А мнѣ ночь... И твоя ласка... Жестокая, но блаженная ласка... „И я жду ее, незамѣтная въ свѣтѣ твоей славы... въ твоей бур„ной, мятежной жизни занимая такое маленькое, такое скромное „мѣсто... Развѣ не это счастіе?.. Развѣ есть для насъ, женщинъ, „что-нибудь выше любви?..“

— Не хочу!.. Нѣтъ!.. Не хочу!!..—кричитъ Маня...

И просыпается...

Вѣтеръ съ моря стучитъ въ окна. Слышно, какъ волны канала трутся о гранитныя стѣны...

Такъ это былъ сонъ?..

...Только сонъ?...

Слезы бѣгутъ по лицу ея...

Какъ хорошо, что ихъ никто не видитъ!..

— Вотъ по этой тропинкѣ, monsieur, въ горы... Вы дойдете до перекрестка, гдѣ стоитъ Распятіе, и возьмете влѣво... Зàмокъ Tour de la Mouette...

Вертлявая француженка, хозяйка пансіона въ захудаломъ бретонскомъ курортѣ, улыбается и присѣдаетъ передъ знатнымъ иностранцемъ. Онъ mysterieux, этотъ русскій... Такъ молчаливъ, такъ одинокъ!.. „Et si distingué... Oh Dieu!.. Comme il est distingué...“ думаетъ она, глядя вслѣдъ Нелидову.

Прежней походкой, легкой и упругой, онъ идетъ по тропинкѣ. На немъ костюмъ горца. Въ рукахъ палка съ острымъ концомъ. Вчера шелъ снѣгъ, и камни скользки. Но сейчасъ вѣтеръ разогналъ тучи. И солнце вливаетъ въ душу давно забытую радость.

Онъ живетъ здѣсь ужъ двѣ недѣли. Бродитъ по окрестностямъ Бретани. Здѣсь много развалинъ, освященныхъ легендами.

Черезъ часъ ходьбы, усталый отъ борьбы съ вѣтромъ, онъ останавливается передъ зàмкомъ XIII вѣка... Съ двухъ сторонъ отвѣсные утесы. Кругомъ широкій ровъ. Сосны, низкія и лохматыя, выросли кругомъ, даже въ расщелинахъ стѣны. Грозныя башни по угламъ еще сохранились. И уцѣлѣла одна часть фасада.

Онъ смотритъ вверхъ, въ окно... Странно!.. Тамъ словно живетъ кто-то... Словно женское лицо мелькнуло передъ нимъ?

— Que désire monsieur?

Передъ нимъ какъ изъ земли выростаетъ сторожъ, сморщенный, сухой старичокъ въ шапочкѣ и вязаной курткѣ. Онъ куритъ трубку и щуритъ лѣвый глазъ. Лицо его красно и огрубѣло отъ вѣтра.

— Я хочу видѣть за̀мокъ,—говоритъ Нелидовъ и подаетъ сторожу пятифранковую монету...

— Oh, monsieur... Tout-à-l'heure...

Сгорбившись и стуча деревянными башмаками по узенькому мосту, онъ бѣжитъ, проворный, какъ мальчикъ, въ башню... Дверь съ визгомъ хлопаетъ за нимъ... Слышны голоса и ругательства. Наконецъ онъ выходитъ съ связкой ключей и любезно киваетъ Нелидову.—Par ici, monsieur... Par ici...

Но Нелидовъ медлитъ у порога. Онъ смотритъ съ страннымъ волненіемъ на эти сѣрые, угрюмые камни; на зубцы башенъ; на уцѣлѣвшіе гербы надъ воротами. *Чайка летитъ надъ моремъ*... La Mouette...

Дворъ обширенъ, и крѣпки были желѣзныя когда-то, теперь исчезнувшія ворота... Когда врагъ нападалъ, все населеніе деревни, прилѣпившейся тамъ, внизу, бросалось подъ защиту сюзерена. Подъемный мостъ снимали... Мужчины сражались. Женщины и дѣти плакали и молились на этомъ дворѣ...

— Par ici, monsieur, par ici...

Крутой, узкой, полуобвалившейся лѣстницей они идутъ наверхъ. Старикъ впереди. Такъ темно, что приходится зажигать спички. Но онѣ быстро гаснутъ. Сыро, какъ въ погребѣ. Сторожъ кашляетъ и кряхтитъ.

Вдругъ поворотъ. И свѣтъ такъ ярко, такъ внезапно ударяетъ въ лицо, что Нелидовъ останавливается, закрывъ глаза...

Они на каменной террасѣ, охватывающей фасадъ съ единственной стороны, доступной нападенію, гдѣ ворота, мостъ и дорога. Узкія бойницы прищурились, какъ мертвые глаза... Вѣтеръ воетъ, врываясь въ нихъ... Старикъ кашляетъ... Онъ хочетъ спуститься. Но Нелидовъ, шагая черезъ обломки, подходитъ къ зубчатому парапету башни и смотритъ внизъ.

Картина грандіозна!.. Отвѣсно падаютъ голыя скалы въ океанъ. Онъ яростно бушуетъ и пѣнится среди рифовъ и гигантскихъ обломковъ. Это естественная защита за̀мка. Ни одна лодка не отважится подплыть къ этой пучинѣ... Безкрайнія дали раскинулись вокругъ... Вотъ здѣсь, на башнѣ, день и ночь стояли часовые. Въ за̀мкѣ рождались, любили и умирали бароны, крестоносцы, потомки морскихъ волковъ, дикихъ норманновъ, грабившихъ ко-

рабли Венеціи. Жизнь была такъ проста тогда!.. Такъ примитивна была ихъ мораль!..

Легкій вздохъ подымаетъ грудь Нелидова.

Сторожъ предлагаетъ войти внутрь башни. Тамъ уцѣлѣли двѣ комнаты...

Гремитъ замокъ. Низкая, массивная дверь поддается неохотно, съ жалобнымъ скрипомъ.

— Наклоните голову! Здѣсь своды,—говоритъ старикъ.

Передъ ними зала. Огромная, свѣтлая комната. Окна уцѣлѣли. Чернѣетъ пасть камина, гдѣ можно изжарить на вертелѣ цѣлаго кабана. Посрединѣ дубовый столъ, за которымъ совершалась трапеза. Простыя дубовыя лавки кругомъ. На стѣнахъ висятъ доспѣхи...

Вотъ-вотъ сейчасъ затрубитъ рогъ... Вернется баронъ съ охотниками. Всѣ сядутъ за столъ. Начнется пиръ...

— Въ этой сторонѣ, monsieur, есть еще одна комната... Она самая интересная для туристовъ,—любезно говоритъ старикъ, ловя слѣды вниманія въ лицѣ посѣтителя.—Но туда не легко подняться... У меня старыя кости, ревматизмъ... Но если monsieur прибавитъ... Ah... merci...

Забывъ о ревматизмѣ, онъ проворно идетъ глухимъ корридоромъ съ низкими сводами, потомъ по узкой лѣстницѣ...

— Это спальня баронессы Tour de la Mouette, въ томъ видѣ, какъ она была въ XIII столѣтіи... За́мокъ построенъ въ XI вѣкѣ. А это уже позднѣйшая пристройка. Родъ La Mouette давно погасъ. Но нынѣшніе владѣльцы очень гордятся замкомъ и ничего здѣсь не измѣнили... Люди жили и умирали... Вещи остались...

Нелидовъ оглядывается съ порога, и сладкая грусть охватываетъ его душу.

Онъ видитъ комнату въ два окна. У одного изъ нихъ прялка. Огромное распятіе изъ слоновой кости виситъ на стѣнѣ. Подъ нимъ что-то въ родѣ налоя. Онъ покрытъ выцвѣтшимъ розовымъ атласомъ съ желтыми, драгоцѣнными теперь кружевами.

Рядомъ, посреди комнаты, кровать. Рѣзная, деревянная кровать, почернѣвшая и источенная червями. Кусокъ блеклой шелковой матеріи брошенъ на нее... Низенькій шкафчикъ для бѣлья въ сторонѣ и два-три деревянныхъ рѣзныхъ стула... Вотъ и все...

Нѣтъ... Не все... Сердце Нелидова тихонько стучитъ. Онъ видитъ рядомъ съ постелью дѣтскую кроватку...

— Здѣсь жило и смѣялось дитя,—говоритъ сторожъ.—А мать его сидѣла за пряжей въ зимніе вечера... Они длинные и холодные, эти вечера, monsieur... А когда буря воетъ, никто изъ насъ

не спитъ... Въ шумѣ бури слышны стоны и вопли всѣхъ, кто погибъ въ океанѣ. И мы молимся за ихъ души...

Онъ кашляетъ, сморкается... Потомъ продолжаетъ хриплымъ голосомъ, щуря лукавые глазки:

— Вотъ и баронесса также молилась тутъ и коротала вечера, разсказывая легенды Бретани маленькому сыну... У насъ много легендъ... А теперь ничего не осталось отъ этихъ людей... Баронъ выросъ, воевалъ и умеръ... Всѣ умерли... Tout passe, monsieur...

Нелидовъ слушаетъ не его, а то, что растетъ въ его душѣ. Такое странное волненіе... Онъ точно грезитъ наяву...

„Зачѣмъ я не жилъ въ то время, когда такъ ясны были цѣли, когда такъ просты были нравы?.. Во мнѣ просыпается что-то... Воспоминаніе? Забытый сонъ, что ли?.. Я чувствую въ себѣ душу этихъ дикихъ норманновъ... Не я ли выѣзжалъ съ соколомъ на рукѣ за желѣзныя ворота?..

... Да... это я—баронъ Tour de la Mouette ѣду внизъ, по этой дорогѣ. А сверху глядитъ на меня маленькое личико, съ большими темными глазами...

„Какъ у той?..

„Нѣтъ... Нѣтъ!.. Ту забыть надо... Забыть...

... Я вернулся... Рога трубятъ сигналы. Стучатъ по мосту копыта коней. Я вхожу въ залу... Каминъ пылаетъ и сверкаютъ на стѣнѣ доспѣхи. А съ лѣстницы спускается дама. Это жена моя... И я люблю ее... У нея глаза какъ звѣзды, а губы какъ цвѣтокъ...

„Какъ у той?.. Да... да... Но она другая... Она кротка и смиренна... Ей ничего не надо, кромѣ моей любви... Ахъ, проста какъ жизнь была тогда душа женщины!.. Непохожа на омутъ, въ который заглядываешь съ содроганіемъ... Душа моей милой—глубокое озеро... И въ немъ отражается только мой образъ... Слышишь ты?.. Только мой!..“

— Que désire monsieur?

Нелидовъ проводитъ рукой по лицу...

Онъ спалъ на яву... Кто вызвалъ передъ нимъ эту картину?.. Кто заразилъ его трезвую душу безуміемъ мечты?

— А вотъ этого вы не разглядѣли, monsieur?—спрашиваетъ сторожъ. И вынимаетъ изъ люльки какой-то странный предметъ...

Горло Нелидова сжимается... Игрушка... Простая дѣтская игрушка... Конекъ изъ дерева, грубый и потемнѣвшій, съ обломаннымъ хвостомъ и ушами... Гдѣ ручки, прижимавшія его къ груди?.. Этотъ будущій рыцарь клалъ подъ подушку, засыпая, своего коня. Своего вѣрнаго товарища въ грезахъ и жизни... Здѣсь звучалъ дѣтскій смѣхъ... Здѣсь росла душа ребенка...

Нелидовъ обнажаетъ голову.

О, вы, счастливцы, жившіе въ этихъ стѣнахъ! Вы съ ясной душой и съ суровыми лицами, съ грозными очами и дѣтской улыбкой... Вы, горячо вѣрившіе и твердо знавшіе, куда итти... Примите привѣтъ отъ жалкаго и раздавленнаго жизнью,—у кого нѣтъ силъ ненавидѣть!.. И нѣтъ таланта любить...

Вечеромъ, вернувшись изъ столовой въ свою комнату, Нелидовъ садится у огня. Онъ любитъ эти минуты, когда топится каминъ, когда вѣтеръ поетъ въ трубѣ, а въ домикѣ постепенно замираетъ жизнь... Онъ думаетъ о матери, вспоминаетъ Россію... И на душѣ становится такъ тихо...

Но въ этотъ вечеръ проснулась почему-то старая тоска... Опять подвялись сомнѣнія... О, эта двойственность! Этотъ мучительный разладъ, чуть не стоившій ему жизни!.. Неужели переживать опять все сызнова?.. Неужели его спокойствіе было самообманомъ?

Онъ встаетъ, подходитъ къ письменному столу. Вынимаетъ изъ портфеля письмо... Оно смято. Углы конверта стерлись. Видно, что его много читали.

Штемпель Москвы. Женскій твердый почеркъ. Какъ поблѣднѣлъ онъ тогда, получивъ это письмо въ деревнѣ!.. Чего онъ ждалъ?.. Чего боялся?

Онъ разглаживаетъ рукою истлѣвшія складки бумаги. И опять читаетъ... Можетъ-быть, онъ что-нибудь пропустилъ тогда?..

Декабрь. Москва.

„Вы можете не отвѣчать мнѣ, но я все-таки не могу молчать. „Я—самый близкій другъ Мани, единственный человѣкъ, который „знаетъ все ея прошлое между вами и другимъ... Не знаю, что „говорилъ вамъ дядюшка? Извѣстно ли вамъ, что доктора долго „боялись за ея разсудокъ? Что она была между жизнью и смертью?.. „Какъ поняли вы ея попытку къ самоубійству? Было ли это разо„чарованіе въ васъ? Или нежеланіе принять дальнѣйшую жизнь „безъ вашего чувства?.. Я не смѣла спросить. Она сама молчала... „И этой тайны я не коснусь.

„Но есть другая... Я долго надѣялась почему-то, что вы узнаете „о ней помимо меня. Но теперь я считаю своей обязанностью открыть „вамъ все. *Маня будетъ матерью. И этотъ ребенокъ вашъ...*

„Но почему же она молчала? О, Боже мой!.. Я сама помню „ваши слова о наслѣдственности и о дегенерантахъ въ тотъ ве„черъ у насъ, въ деревнѣ... Развѣ можно простить такую жесто„кость? Развѣ можно примириться съ такимъ приговоромъ? Она „чувствовала, что вы съ ужасомъ, какъ отъ выродка, отречетесь „отъ ея ребенка... Отъ *вашего* ребенка... Она предпочла умереть

„вмѣстѣ съ нимъ, отвергнутымъ и нежеланнымъ... Неужели вамъ „непонятны ея переживанія? Умирающія не лгутъ, г. Нелидовъ! „И если сомнѣнія встанутъ въ вашей душѣ, гоните ихъ. Будьте „честны! Развѣ не вамъ отдала она свое сердце?

„Но оставимъ это!.. Пишу вамъ не затѣмъ, чтобъ разжалобить „васъ или оправдать ее. Помните одно: я ни въ чемъ ее не виню! „Я просто отказываюсь понимать ее.

„Но и васъ я не осуждаю. Милліоны людей на вашемъ мѣстѣ „поступили бы такъ же. Вы одинъ изъ милліоновъ. И измѣнить „этого нельзя.

„Не думайте, что я такъ наивна, что жду отъ васъ раскаянія, „что считаю васъ способнымъ на взрывъ великодушія... Но вотъ „что мнѣ пишетъ фрау Кеслеръ... Я перевожу съ нѣмецкаго.

„Маня тоскуетъ, худѣетъ. Плачетъ цѣлыми днями. Не спитъ по ночамъ. „Ея нервы расшатаны. Откуда возьметъ она силы, которыя ей нужны?.. „Ты знаешь, она родитъ въ апрѣлѣ. Волненія убійственны и ей и ребенку. „Неужели это тоска по Нелидову? Съ какой горечью говоритъ она о любви „и разбитыхъ иллюзіяхъ!.. Она ни разу не назвала его имени. Но я чув- „ствую, что она не разлюбила его. Какое несчастіе!“

„Напишите ей два слова. Только два слова: что у васъ нѣтъ „къ ней ненависти, нѣтъ презрѣнія. Пусть ваши дороги разо- „шлись! Но пожелайте же ей безъ глумленія и горечи утѣшенія „въ материнствѣ... Вѣдь вы религіозный человѣкъ? И неужели вамъ „не кажется, что своими страданіями она уже искупила свои „ошибки? Маня можетъ умереть, не примирившись съ вами. Ка- „ково будетъ вамъ тогда?

„Прощайте. Спѣшу отослать письмо. Дорогъ каждый день.

„Софья Горленко“.

„Ея адресъ: Venezia. Palazzo Manzoni“.

Онъ долго смотритъ на подпись. Словно ждетъ чего-то... Какой-то разгадки... Послѣдняго слова...

Потомъ, криво улыбаясь блѣдными губами, онъ брезгливыми движеніями пальцевъ, какъ докторъ, касающійся подозрительной сыпи на тѣлѣ паціента, вкладываетъ письмо въ конвертъ и прячетъ его въ столъ... На этотъ разъ надолго...

Ключъ щелкнулъ и запѣлъ...

Довольно безумія!..

Облокотившись о колѣни и подперевъ руками голову, онъ смотритъ въ огонь...

Онъ помнитъ бурю, поднявшуюся въ его душѣ въ тотъ день, когда онъ прочелъ эти строки... Доводы разсудка, осторожность, ревность—все исчезло въ вихрѣ, поднявшемся внезапно...

Ѣхать за ней!.. Увидать ее!.. Сказать... Что сказать?.. Ахъ!.. Развѣ

онъ знаетъ?.. Что выйдетъ изъ этого?.. Не все ли равно?.. Но можно ли хоть одну ночь спать спокойно съ такимъ камнемъ на душѣ?.. Онъ душитъ... душитъ... Сбросить его!.. Вздохнуть свободно...

Взрывъ великодушія!.. Ха!.. Ха!.. Зачѣмъ лицемѣрить?.. Кого жалѣлъ онъ больше? Ее или себя? Свою собственную разбитую жизнь?..

Развѣ онъ жилъ эти два мѣсяца? Онъ метался, какъ звѣрь въ ловушкѣ, которую предательски разставила ему любовь... Онъ благословлялъ болѣзнь, приковавшую его къ постели; свою лихорадку, свою слабость... Если-бъ онъ былъ здоровъ тогда, онъ разбилъ бы себѣ черепъ... Потому что жить съ такимъ разладомъ въ душѣ нельзя!.. Онъ по ночамъ говорилъ съ нею, проклиналъ ее и оскорблялъ... И плакалъ... Да, плакалъ, какъ мальчишка, чтобъ днемъ имѣть силы дѣлать равнодушное лицо и улыбаться матери...

И если онъ немедленно кинулся на югъ, за границу,—онъ, не хотѣвшій раньше слушать Климова и другихъ докторовъ,—то не жалость къ Манѣ руководила имъ, а только страсть! Одна страсть...

Онъ встаетъ, ходитъ по комнатѣ, стиснувъ зубы, тихонько хрустя пальцами... Откидываетъ занавѣску окна... Далеко впереди бѣлѣетъ пляжъ бухты. Стемнѣло, но полоса воды рѣзко отдѣляется отъ земли. Бѣлые барашки на волнахъ видны даже отсюда... Опять будетъ буря... Надо пойти въ бухту... Вотъ только догоритъ огонь... Онъ садится и закрываетъ глаза.

...Засверкала вода лагунъ... Мракъ прорѣзали огни электричества... Наконецъ!..

...Не дожидаясь facchinó, онъ самъ беретъ свой портсакъ и соскакиваетъ со ступеньки вагона... Свѣтъ, шумъ, крики... Цѣлая толпа озабоченныхъ туристовъ... Онъ идетъ къ выходу... Онъ хочетъ спросить: Palazzo Manzoni?.. Гдѣ же это? Навѣрно отель?.. Онъ тамъ остановится... Видѣть ее!.. Видѣть сейчасъ... Сказать... Что сказать?..

...Вдругъ толчокъ въ сердце. И онъ останавливается...

...Въ десяти шагахъ отъ себя онъ видитъ высокую, черную фигуру въ плащѣ... Видитъ знакомый хищный профиль...

...Это... кошмаръ?..

...Нѣтъ... Блѣдное лицо оборачивается, и темные глаза глядятъ ему въ зрачки... Такъ остро, такъ глубоко глядятъ они!.. Столько холодной злобы въ этомъ лицѣ...

...О! Все понятно... Разъ онъ здѣсь...

...Его толкаютъ набѣжавшіе сзади люди... Сердятся... Что они говорятъ?.. Въ ушахъ тихій звонъ...

...— „Pardon“, машинально говоритъ онъ какому-то толстяку... И, не отдавая себѣ отчета, повинуясь инстинкту, онъ поворачи-

ваетъ... Идетъ обратно... Куда?.. Все равно!.. Въ одномъ городѣ имъ тѣсно...

...— „Partenza!“ раздается вдали крикъ кондуктора. И поѣздъ уходитъ... А онъ остается на пустѣющей платформѣ...

А потомъ?

Все—какъ во снѣ...

...Онъ помнитъ, какъ очутился у ступенекъ, залитыхъ водой Какъ черная вода плескалась и сверкала... Когда онъ садился въ гондолу, его спросили адресъ. Онъ махнулъ рукой...

...— „Palazzo Manzoni“, услыхалъ онъ въ эту минуту голосъ рядомъ. И высокая фигура въ черномъ шагнула въ другую гондолу.

...Онъ плылъ впереди... *Тотъ* за нимъ, какъ черная тѣнь. Спрятавшись подъ сукно кабинки, онъ глядѣлъ въ маленькое оконце. Ясно различалъ онъ зловѣщій силуэтъ, сгорбившіяся плечи, опущенную голову...

...Онъ ѣхалъ къ *ней*... Они вмѣстѣ...

...Какъ безконечно, какъ мучительно долго плыли они!.. Такъ бываетъ только въ кошмарѣ.

...Вѣтеръ пахнулъ въ лицо. Волны забились о ступени дворца... Электрическія солнца все залили своимъ безпощаднымъ свѣтомъ

...Куда бы спрятаться?.. Остаться одному...

...Хочется завыть, какъ звѣрю...

— ...Grand Hôtel, signore!—тономъ, не допускающимъ возраженія, говоритъ гондольеръ... Изъ вестибюля выскакиваютъ лакеи.

...Онъ оглядывается съ крыльца. И видитъ гондолу, пересѣкающую каналъ... Видитъ выпрямившуюся теперь черную фигуру... Блѣдное пятно лица... Видитъ темный силуэтъ палаццо напротивъ... И въ окнѣ наверху свѣтъ...

...Быть-можетъ, ея окно?..

...—„Monsieur, il nous reste une seule chambre... Belle chambre avec la vue du Canal Grande...“

...Что онъ говоритъ?.. Что надо отвѣчать?..

...Кто-то выхватываетъ у него дорожный мѣшокъ... Его ведутъ въ бельэтажъ...

...Навстрѣчу идетъ человѣкъ... Онъ такъ блѣденъ... Такъ страшно его зацѣпенѣвшее лицо...

„Этотъ человѣкъ сейчасъ совершилъ преступленіе...“

...Вдругъ онъ упирается въ зеркало...

...„Такъ это я?.. *Я!..*“

...—„A droite, monsieur...“

...Онъ поворачиваетъ, какъ автоматъ. И идетъ съ каменнымъ лицомъ, повторяя всѣ жесты метръ д'отеля . . . .

. . . .

IX.

Изъ письма М. Штейнбаха къ Сонѣ Горленко.

Январь. Венеція.

„... Итакъ вы увѣровали въ чувство Нелидова?.. Какъ васъ „легко подкупить, мой другъ!

„Я не сомнѣваюсь въ его болѣзни. Охотно вѣрю въ его стра„данія. Это страдаетъ гордость его.

„Но зналъ ли онъ когда-нибудь, что такое любовь?

„Я говорю вамъ, онъ ее не зналъ.

„Что любилъ онъ въ Манѣ? Ея губы, глаза, ея косы, ея тѣло. „Какъ дикарь любилъ онъ въ ней свои ласки и желанія.

„Но зналъ ли онъ ея душу?.. А когда ему пришлось открыть „въ ней эту мятежную душу, не отвергъ ли онъ ее враждебно?.. „Онъ съ наивностью дикаря безсознательно отрицалъ въ Манѣ „этотъ богатый, сложный и загадочный міръ ея души. Самое цѣн„ное, что есть въ ней; что выдѣляетъ ее изъ толпы.

„Дрожалъ ли онъ передъ ея задумчивымъ взглядомъ? Оста„новился ли онъ хотя бы разъ въ трепетѣ передъ вѣчно волную„щей загадкой женскаго желанія? Такого неуловимаго? Измѣн„чиваго?.. Плакалъ ли онъ отъ счастія, когда, отдавая ему свое „тѣло, она искала его души въ томъ экстазѣ, какого никогда не „дастъ голая чувственность и ея яркія радости?.. Которыя знаетъ „одна любовь. Скорбная, трагическая любовь.

„Принималъ ли онъ, какъ неизбѣжный законъ жизни, ея вне„запное отчужденіе? Холодъ ея взгляда? Равнодушное пожатіе „руки? *Ея стремленіе къ другому?*

„Выжидалъ ли онъ, покорный и незамѣченный, пока духъ „ея, свергнувъ иго страсти, изъ міра чувственнаго бреда поды„мался ввысь?.. Къ искусству? Къ творчеству?..

„Нѣтъ, говорю вамъ! Нѣтъ. Человѣкъ, не прощающій дѣвушкѣ „ея прошлаго; отрицающій право на ростъ ея души, при которомъ „увлеченія, ошибки и разочарованія такъ же неизбѣжны, какъ „времена года, —такой человѣкъ не уважаетъ ни женщины, ни „любви. Онъ ихъ не знаетъ“ . . . .

Опять задулъ холодный вѣтеръ. Идетъ дождь. Но Маня неизмѣнно съ утра садится въ гондолу и ѣдетъ съ Штейнбахомъ въ Королевскую Академію.

Передъ ними вереницей проходятъ корифеи венеціанской школы: Тиціанъ, Веронезъ, Порденоне, Беллини, Карпаччіо, Тинторетто, Пальма Веккіо... Но однообразіе библейскихъ темъ быстро утомляетъ Маню. Она отдыхаетъ на миѳахъ или жанрѣ нидерландцевъ.

Она долго стоитъ передъ портретами дожей Фоскари и Мочениго. Виды Венеціи XVII столѣтія у Каналетти восторгаютъ ее. И она ищетъ въ нихъ современную картину. Но идея развитія и преемственности школъ чужда ей.

— Такъ нельзя, Маня,—сухо замѣчаетъ Штейнбахъ.—Ты относишься къ искусству какъ туристка, какъ дикарка... И мнѣ это непріятно. Хочешь пройти со мной Исторію искусствъ? Объ этомъ я мечталъ, когда везъ тебя въ Италію...

— О, Маркъ... Не сердись!.. Конечно, ты правъ...

Вечеромъ она говоритъ ему:

— Я не хочу быть дилетанткой... Разскажи мнѣ, какъ зарождалось искусство!.. Говори мнѣ объ Египтѣ, о халдеяхъ, о Востокѣ... Давайте читать каждый вечеръ! Хочешь, Агата?.. Моя душа, Маркъ, горитъ отъ желанія все узнать, погрузиться въ эту древность... раствориться въ ней... Видишь-ли? У меня есть предчувствіе, что въ этомъ мірѣ я найду... себя...

И Штейнбахъ съ увлеченіемъ говоритъ о борьбѣ въ искусствѣ арійскаго духа съ семитическими элементами, проникшими съ Востока. На Туранскомъ плоскогорьѣ, въ этой колыбели всѣхъ народностей, среди персовъ и индусовъ проснулся впервые этотъ мятежный арійскій духъ, эта жадная, пытливая мысль, не соглашавшаяся смириться и закаменѣть въ архаическихъ формахъ, какъ закаменѣли наука и искусство въ Египтѣ и у финикіянъ, въ Китаѣ и у евреевъ, позднѣе у арабовъ.

— Арійское начало—это сомнѣніе, поиски мысли, зарожденіе философіи и науки... реализмъ въ искусствѣ, его расцвѣтъ... Это любовь къ жизни, борьба за личность, политическіе перевороты. Это активность. Это стремленіе. Это прогрессъ.

... Семитическое начало, — фанатизмъ, нетерпимость, окаменѣвшія догмы, страстная приверженность къ традиціямъ... Это страхъ передъ Божествомъ, недовѣріе къ природѣ, вызванное безплодіемъ и безпредѣльностью пустыни... Это страхъ передъ жизнью, мистицизмъ въ искусствѣ, отсутствіе философскаго размаха... И если бунты, то исключительно религіозные... Это порабощеніе личности, раствореніе своего *я* въ обществѣ... Это сознаніе своего ничтожества, вызванное созерцаніемъ звѣзднаго неба въ пустынѣ... Неба нѣмого и загадочнаго... Это аскетизмъ и застой всегда...

Штейнбахъ ходитъ по комнатѣ, вдумчиво глядя на мозаику пола. И говоритъ то быстро, разгораясь, когда общая идея выясняется передъ нимъ; то замедляя голосъ и движенія, когда эта идея ускользаетъ... Мечтательные и жадные, слѣдятъ за нимъ женскіе глаза. Ловятъ его жесты, звукъ голоса, выраженіе лица...

— Черезъ всю исторію человѣчества идетъ эта борьба двухъ

началъ. Въ религіи, въ политикѣ, въ искусствѣ и наукѣ рядомъ бѣгутъ эти двѣ струи, никогда не сливаясь... Тамъ, гдѣ торжествуетъ арійское начало, мы видимъ республику, народъ образованный, свободный, гордый... возникновеніе философскихъ школъ расцвѣтъ науки и искусства... Такъ было въ Элладѣ. Жизнерадостную, жизнеспособную греко-римскую культуру подарилъ человѣчеству арійскій духъ... Но наступилъ моментъ, когда восторжествовалъ мрачный Востокъ. Онъ похоронилъ красоту и радость подъ символами ужаса и возмездія... Семитическое начало дало деспота подавленнымъ народностямъ, теократическое господство жизневраждебное отрицаніе искусства, гоненіе на философію и науку... Въ средніе вѣка онѣ становятся достояніемъ избранныхъ. Онѣ скрываются въ монастыри. Совсѣмъ какъ на Востокѣ, гдѣ мудрецами и учеными были только жрецы... Народъ въ средніе вѣка нищаетъ духовно. У него отнято все...

Онъ садится въ кресло и кладетъ на столъ локти. Его блѣдныя щеки разгорѣлись.

— Замѣтьте, какъ сильно было семитическое начало въ католицизмѣ! Это вліяніе отодвинуло эволюцію искусства на цѣлые вѣка... Ты знаешь, Маня, что законъ Моисея запрещалъ евреямъ изображать людей и животныхъ... Это былъ протестъ противъ язычества, страхъ передъ халдеями, вавилонянами и особенно передъ египтянами... Магометъ, какъ семитъ, тѣ же преданія завѣщалъ арабамъ. Вся пламенная фантазія Востока уходила въ безконечные извивы линій, въ „арабески"... Зодчество на Востокѣ, какъ и въ Европѣ, развилось раньше и пышнѣе другихъ искусствъ. Но и здѣсь видно отсутствіе замысла, руководящей идеи. Бѣдность фасада изумительна... Зато орнаментъ роскошенъ и достигаетъ сказочнаго великолѣпія. Надо видѣть своими глазами всѣ эти мечети и минареты въ Севильѣ и Кордовѣ, гдѣ жили мавры. Или могилы калифовъ въ Сиріи и въ Константинополѣ... Это кружево изъ камня, эта тончайшая ажурная работа... эти стройныя, тонкія колонны, символъ шатра въ пустынѣ... греза потомка бедуиновъ... Все это шедевры въ смыслѣ орнамента... Вообрази, какъ глубоко должна была эта красота потрясти грубыя души крестоносцевъ!

Онъ беретъ папку на столѣ, открываетъ ее.

— А теперь прослѣди, какъ арійскій духъ переработалъ это наслѣдіе Востока. Вотъ дворцы Венеціи... Подковообразная арка, стрѣльчатыя и круглыя окна—все это взято изъ Сиріи...

— Ca d'Oro...—шепчетъ Маня.

— Но какая красота фасада! Посмотри сюда... Романскій стиль отличается отъ греческаго вотъ этими арками и сводами, которыхъ

нѣтъ у плоскихъ греческихъ храмовъ. Это переходъ къ готическому стилю. И Notre-Dame въ Парижѣ—это зарожденіе готики. Видишь? А вотъ ея послѣднее слово: кельнскій и миланскій соборы...

Маня смотритъ на треугольную крышу миланскаго собора, и ей кажется, что онъ похожъ на русскую избу. Но она боится это сказать.

— Если восточныя мечети и дворцы можно назвать сказками, то чѣмъ, какъ не молитвой, назовешь готическую колокольню?.. Вы видите, какъ широкій философскій духъ арійца пробивается чрезъ формы, завѣщанныя Востокомъ? Здѣсь цѣлое не подавляется частями. Роскошь орнамента не поглощаетъ величія фасада.. Выпукла и ярка руководящая идея зодчаго. Это синтезъ...

Они долго разсматриваютъ гравюры.

— Теперь вернемся назадъ... Византійская имперія, подъ давленіемъ Церкви, наводненной семитическими элементами, наложила свою руку и на художника... Мозаисты вдохновлялись исключительно религіозными темами. Но это была уже лебединая пѣснь греческаго искусства. Варваровъ обвиняютъ въ томъ, что они плавили и разбивали золотыя и мраморныя статуи Фидіаса и Праксителя. Но византійская имперія на этомъ пути пошла еще дальше... Въ VIII вѣкѣ она просто-на просто изгоняетъ монаховъ-художниковъ, и они бѣгутъ въ Италію. Это такъ называемое иконоборческое движеніе... Въ сущности, это—старый, принявшій другія формы страхъ передъ язычествомъ... Въ IX вѣкѣ венеціанцы приглашаютъ мозаистовъ украсить базилику Св. Марка. Греки навсегда остаются въ Италіи. Вотъ почему въ итальянской живописи такъ долго живетъ византійскій духъ съ его характерными традиціями...

Онъ нервно ищетъ въ картонахъ. Лицо его полно оживленія.

За окнами плачетъ вѣтеръ съ моря... Стучитъ въ окно и балконную дверь. Бросаетъ дождевыми брызгами. А здѣсь пылаетъ каминъ. Люстра ярко горитъ... Тепло, уютно... насколько это возможно въ Венеціи... И вдругъ у фрау Кеслеръ вырывается вздохъ. Она вспоминаетъ Россію, сестру, Соню... Боже! Какъ все это далеко!.. А Маня словно забыла прошлое... Вотъ она глядитъ на Штейнбаха, и вся душа ея въ этихъ глазахъ.

— Какъ это ни странно... но знаете ли вы, гдѣ художникъ-христіанинъ былъ свободенъ въ своемъ творчествѣ? Вы никогда не угадаете... Подъ землею...

— Гдѣ?? Ist es möglich?—восклицаетъ фрау Кеслеръ, словно просыпаясь. И роняетъ на колѣни свое вязанье.

— Когда мы будемъ въ Римѣ, я сведу васъ въ катакомбы. Тамъ, въ первые вѣка христіанства, еще гонимые и непризнан-

ные, и пламенно вѣрующіе, писали они фрески на стѣнахъ. Наивныя, близкія къ жизни, радостныя... Тамъ Христосъ съ свѣтлымъ лицомъ пасетъ ягнятъ на лугу, среди цвѣтовъ, подъ яснымъ небомъ... Мадонна, нѣжная, молодая женщина, бѣдно одѣтая, какъ простолюдинка Рима, играетъ съ прелестнымъ ребенкомъ. . Или Христосъ страдаетъ на крестѣ, и плачутъ вокругъ ученики. И бьются на землѣ въ отчаяніи женщины... Все это дѣти народа, непосредственныя и бѣдно одѣтыя... Легенда еще жива въ сердцахъ. И даетъ яркіе отзвуки въ искусствѣ. И вы увидите, какъ въ вѣкъ Ренессанса художники, пройдя мучительный, долгій путь, вернутся къ этой простотѣ и жизненности... Но семитическія начала нетерпимости и аскетизма торжествуютъ въ средніе вѣка. Гаснетъ арійскій духъ. Мракъ реакціи сгущается... Вотъ посмотрите на эту Мадонну XII вѣка. На этого Младенца съ старческимъ лицомъ...

— Какъ мало въ ней женственности!

— Совсѣмъ нѣтъ жизни,—съ огорченіемъ говоритъ Маня.

— Вотъ именно... И въ этомъ есть глубокій тайный смыслъ. Законъ Моисея унизилъ женщину, свелъ ее на степень самки, поддерживающей родъ. Безплодіе лишало ее послѣднихъ правъ даже въ семьѣ...

— Постой, Маркъ... Но вѣдь и у грековъ жена была домашнимъ животнымъ?

— Но они цѣнили гетеръ. Поклонялись Фринѣ и Аспазіи... Семиты же враждебно возстали противъ красоты и любви вообще... Они понимали ее только какъ чувственное наслажденіе. И первые втоптали ее въ грязь... Они были величайшими утилитаристами, лишенными иллюзій. Ни Амура, ни Психею фантазія семита создать не могла... И выше *Пѣсни Пѣсней*, этого яркаго гимна чувственности, не могъ подняться паѳосъ души, лишенной крыльевъ... Правда, у нихъ есть вдохновенные псалмы и молитвы. Но къ любви и къ женщинѣ отношенія это не имѣетъ. Взгляни на все, чего коснулось ихъ дыханіе! Это было дыханіе пустыни. Лики византійскихъ иконъ высохли и потемнѣли... Жесты утратили грацію жизненности. Руки застыли въ мертвенной инертности... Средневѣковое католичество ополчилось противъ самой природы. Оно прокляло цвѣты, солнце и радость... Оно признало плоть началомъ грѣха. Красоту—соблазномъ. Женщину—сообщницей діавола. На соборѣ въ серьезъ поднимаются дебаты: есть ли у нея душа?.. Развѣ ты не чувствуешь во всемъ этомъ давленія Востока, гдѣ женщина была безправна и презрѣнна?.. Гдѣ, послѣ родовъ, она надолго изгонялась изъ храма, какъ грязное животное?.. И гдѣ потомъ она стояла, отдѣленная отъ мужчинъ загородкой, недостойная быть съ ними рядомъ?..

— А почему всѣ Мадонны на золотомъ фонѣ?— спрашиваетъ Маня, разглядывая офорты.

— А! Ты замѣтила? Это тоже символъ. Тоже вѣяніе Востока... Богоматерь не можетъ быть обыкновенной *женщиной.* Не можетъ быть бѣдной простолюдинкой, какой рисовали ее первые христіане въ катакомбахъ... Она Царица. Золотой грунтъ отдѣлилъ ее отъ земли. Она сіяетъ, далекая отъ ея печалей, безстрастная, какъ восточное божество... И обрати вниманіе на ея типъ: лицо удлиненное, носъ тонкій, маленькій ротъ, правильныя дуги бровей... Длинные пальцы рукъ, не знающихъ труда... Лицо восточной женщины, лишенное индивидуальности... Головка на тонкой шеѣ склонилась на бокъ... Это шаблонъ, выработанный вѣками. Младенецъ, съ головой взрослаго на плечахъ, важенъ и строгъ. Онъ не дитя. Онъ Царь и Богъ. Онъ благословляетъ міръ. Вотъ Христосъ на крестѣ... Но развѣ онъ страдаетъ? Какъ можетъ Богъ страдать?.. Онъ безплотенъ и безжизненъ... Это одна идея...

Штейнбахъ беретъ со стола другую папку.

— Теперь взгляни на этого Христа... на эту Мадонну...

— Рафаэль!—шепчетъ фрау Кеслеръ.—Madonna della Sedia?

— А это *Снятіе съ креста* Рубенса... Если мы попадемъ въ Парижъ, я покажу вамъ эту картину. Ужасъ беретъ передъ его реализмомъ! Это еще Достоевскій отмѣтилъ. Вы увидите зеленоватый разлагающійся трупъ... Такъ освѣтить сюжетъ могъ только скептикъ, признающій одну земную жизнь. Это уже новое слово... Но чувствуешь ли ты, Маня, какой огромный путь прошло искусство, чтобъ дойти до этого реализма?.. Это освобожденіе далось не скоро и не даромъ... Знаешь, какое сравненіе пришло мнѣ на умъ, когда, передъ нашей поѣздкой, я собиралъ и выписывалъ эти гравюры?

— Маркъ... Ты думалъ объ этихъ вечерахъ? Еще въ Москвѣ?

— Да, Маня... Да...

Они молча смотрятъ другъ на друга. Фрау Кеслеръ перехватываетъ ихъ взглядъ... Быстро опускаетъ голову и считаетъ петли.

— Вотъ какъ я себѣ представляю эту борьбу идей... Ты знаешь, что въ Италіи и на югѣ Средиземнаго моря, вообще, дуютъ два вѣтра, одинаково сильныхъ? Первый это *сирокко*... Онъ прилетаетъ изъ Африки и губительно дѣйствуетъ на психику людей... Онъ возбуждаетъ нервы и убиваетъ волю. Въ немъ тайный, обезсиливающій ядъ... Другой *tramontane*, вѣтеръ съ горъ. Холодный и жестокій, онъ несетъ бури и снѣгъ. Но онъ гонитъ міазмы, будитъ бодрость... Эти два вѣтра какъ бы олицетворяютъ тѣ два начала въ искусствѣ, о которыхъ я говорилъ... И тамъ арійскій духъ, просыпаясь внезапно, несетъ броженіе, политическія бури, рас-

цвѣтъ философской мысли, ростъ индивидуальности... Такъ было уже въ концѣ XIII вѣка. Эллинская культура была уже позабыта тогда. Артистъ былъ подавленъ въ своемъ творчествѣ... Процвѣтала лишь школа миніатюристовъ, все съ тѣми же мотивами Востока. Она представляетъ какъ бы мостикъ, по которому старое искусство перешло на новыя тропы... И вотъ въ городѣ Ареццо родится художникъ Симоне Маргаритоне. Въ своемъ творчествѣ онъ еще слѣпо подчиняется византійскимъ шаблонамъ. Но въ техникѣ онъ—новаторъ... До него писали сухими красками по дереву... Онъ первый натягиваетъ полотно, чтобы трещины не искажали рисунка... Но вѣтеръ дуетъ уже съ горъ, предвѣщая зарю Ренессанса... Флоренція становится колыбелью новаго искусства. Арійскій духъ воскресаетъ въ лицѣ Чимабуэ и Дуччіо... Они первые въ Италіи почувствовали на своихъ рукахъ мертвящія оковы аскетизма. Они попробовали ихъ стряхнуть... Чимабуэ создалъ свою Мадонну... Въ Сіеннѣ талантливый Дуччіо, еще вѣрный византійскимъ традиціямъ, создалъ свою. Вы не можете себѣ представить, какъ откликнулся народъ!.. И не только онъ, но и духовенство... Вѣтеръ съ горъ дулъ и для нихъ и гналъ кошмары средневѣковья изъ душъ, уставшихъ проклинать и ненавидѣть... Когда этихъ Мадоннъ изъ мастерскихъ художника переносили въ церковь, колокола звонили, а народъ кидалъ на землю цвѣты... Это было національнымъ событіемъ во Флоренціи и въ Сіеннѣ... А въ это время маленькій пастушокъ, съ задумчивымъ взглядомъ, пасъ овецъ на поляхъ Тосканы... Онъ рисовалъ этихъ овецъ и все, что видѣлъ кругомъ, на придорожныхъ камняхъ. Это былъ геніальный Джіотто, родоначальникъ натурализма, предтеча Ренессанса... Случай столкнулъ его съ Чимабуэ и привелъ его въ мастерскую художника. И ученикъ далеко превзошелъ учителя. Джіотто тоже создалъ шедевръ: Мадонну, какъ понимаетъ ее философъ-аріецъ...

— Покажи мнѣ! У тебя есть гравюры?

— Конечно... Но мы скоро будемъ во Флоренціи... Онѣ обѣ тамъ. Обѣ еще на золотомъ грунтѣ. У Чимабуэ Мадонна все-таки царица. У Джіотто она мать... Но и у перваго сквозь царственное величіе въ лицѣ Мадонны уже просвѣчиваетъ грусть... Спаситель, прелестное дитя, показываетъ ей птичку... Надо знать, какую силу имѣли надъ художникомъ традиціи, чтобы понять все дерзновеніе Чимабуэ!.. Джіотто былъ еще болѣе смѣлымъ новаторомъ... У него лица красивы, фигуры граціозны, и жесты полны жизни. Въ его творчествѣ ясно чувствуется философская мысль, незнакомая искусству среднихъ вѣковъ. Въ нихъ впервые встрѣчаются земные элементы, психологическій анализъ, драматизмъ... Но и онъ замѣть, еще не можетъ отрѣшиться вполнѣ отъ навязчивой идеи

средневѣковья и беретъ исключительно религіозные сюжеты... Однако онъ ихъ освѣщаетъ по-своему, какъ философъ... Онъ отвергаетъ золотой византійскій фонъ. У него намеки на пейзажъ. Зданія Флоренціи видны на его картинахъ... Но лучше всего его фрески, иллюстрирующія легенду о Франциске Ассизскомъ...

— Ахъ, Маркъ, какъ я люблю его!

— О, да!.. Именно ты... И вы, фрау Кеслеръ, тоже... вы, женщины этого типа, должны любить его... Онъ былъ лучшимъ выразителемъ арійскаго духа въ католицизмѣ, съ его любовью къ людямъ, къ жизни, къ животнымъ...

— И цвѣтамъ, Маркъ...

— Да, и цвѣтамъ... Онъ жилъ въ XIII вѣкѣ, въ самый разгаръ реакціи, когда возникъ страшный доминиканскій орденъ „Собаки Бога"... Domini Cani... Вотъ значеніе этого слова! Они носили одежду двухъ цвѣтовъ: снизу бѣлую, сверху черную. Во Флоренціи есть картина, изображающая св. Доминика, окруженнаго собаками... Онѣ бѣлыя съ черными пятнами. Онѣ свирѣпо преслѣдуютъ и рвутъ волковъ... Ты понимаешь, конечно, смыслъ аллегоріи? Доминиканскій орденъ стоялъ во главѣ инквизиціи и боролся съ еретиками... Семитическіе элементы католичества ярче всего вылились въ могуществѣ инквизиціи... Но живъ арійскій духъ, Маня... И его не угасить!.. Въ Умбріи въ XIII вѣкѣ, въ городѣ Ассизи, родится Францискъ Бернардоне, геніальная личность, не имѣющая себѣ подобныхъ въ среднихъ вѣкахъ... Юный, красивый, богатый и знатный, онъ отказывается отъ всѣхъ земныхъ благъ и отдается служенію Богу...

— Какъ Будда, Маркъ?.. Какъ Будда...

— Да, да... Сходство поразительное!.. И тотъ же складъ души... Онъ протестуетъ противъ изувѣрства церкви. Онъ несетъ міру свѣтлую, радостную, вдохновенную вѣру первыхъ христіанъ. Онъ поэтъ... Онъ любитъ природу и земную жизнь. Онъ благословляетъ любовь... Не для себя... Онъ самъ аскетъ. Но только потому, что такова его собственная натура... Мудрено ли, что на эту проповѣдь любви и милосердія восторженно откликнулся весь итальянскій народъ, угнетенный инквизиціей?.. И Джіотто, какъ художникъ, вдохновился обаятельнымъ образомъ Франциска Ассизскаго... Есть легенда, что Дантъ далъ Джіотто идею его фрески: *Вѣнчаніе Франциска съ Бѣдностью*...

Штейнбахъ садится въ кресло и закуриваетъ папиросу. Фрау Кеслеръ опять берется за вязанье.

— Конецъ XIII и начало XIV вѣка были свѣтлой эпохой въ жизни европейскихъ народовъ,—задумчиво говоритъ онъ.—Арійскій духъ просыпается во всѣхъ отрасляхъ искусства, даже въ

мозаикѣ... Никколо Пизано на знаменитомъ кладбищѣ Пизы долго изучаетъ античные саркофаги, прежде чѣмъ выступить со своими статуями. Онъ смѣло отбрасываетъ всѣ условности и выходитъ на новый путь... Еще индивидуальнѣе были Джіованни и Андреа Пизано. Въ скульптурѣ они сыграли ту же роль, какую Джіотто сыгралъ въ живописи. Послѣ нихъ возврата къ прошлому быть не могло... Андреа первый отлилъ статую изъ бронзы... Онъ создаетъ цѣлую школу: Гиберти, Донателло, Орканья — всѣ идутъ по его стопамъ... Проснувшійся интересъ къ забытой эллинской культурѣ будитъ любовь къ природѣ; приковываетъ къ землѣ взоры художниковъ, видѣвшихъ одно небо... Наконецъ, во мракѣ яркой звѣздой загорается ученіе гуманистовъ... Наука и философія расцвѣтаютъ внезапно. Возникаютъ университеты, въ Болоньѣ первый, еще въ XII вѣкѣ. Затѣмъ въ Пизѣ, Павіи, въ Неаполѣ, Римѣ... И даже женщины допускаются на каѳедру...

— Даже?—смѣется Маня.

— Италія стряхиваетъ съ себя ковы религіознаго и политическаго рабства... Въ Тосканѣ опять-таки началось все движеніе... Она живетъ, дышитъ полной грудью, читаетъ *Декамерона* Боккаччіо... И смѣется, смѣется отъ души... Острой струей пробивается въ умахъ холодъ перваго скептицизма. Война Гвельфовъ съ Гибелинами раздираетъ въ это время всю сѣверную Италію и особенно Флоренцію... Народъ стонетъ отъ податей, страдаетъ отъ безправія. Но что до того знатнымъ флорентинцамъ и богатымъ купцамъ? Ко всему привыкаютъ люди. И гражданская война входитъ въ нравы... Дома у знатныхъ какъ за́мки, съ массивными дверями, съ наглухо запертыми высоко вверху окнами... Чтобъ войти въ домъ, надо пройти дворъ, потомъ другой, отомкнуть ворота... Все предусмотрѣно... Ходятъ по улицамъ вооруженные, всегда готовые къ смерти. И въ душѣ широко распахиваются какія-то таинственныя, запретныя двери... Оттуда звучатъ голоса, зовущіе къ наслажденію... Вѣдь жизнь такъ коротка!.. Полна такихъ случайностей... Кто знаетъ, что ждетъ насъ завтра? Возьмемъ хоть этотъ мигъ!

— Интересная эпоха, Маркъ!.. Если-бъ жить тогда...

— И вдругъ надъ Италіей разражается черная смерть... Занесенная съ востока чума идетъ изъ города въ городъ и коситъ, какъ траву, людей. Гдѣ она прошла, тамъ пустыня... Это было въ 1348 году... Ужасъ объялъ Италію... Католичество использовало этотъ моментъ, чтобы вернуть свою власть. Религіозное чувство ярко вспыхиваетъ... А рядомъ бѣжитъ другая струя, струя философскаго взгляда на жизнь, скептицизма, презрѣнія къ смерти... „Пиръ во время чумы"... Кто не вдохновлялся этимъ сюжетомъ?.. Такъ свойственно человѣку, котораго подстерегаетъ смерть, отчаянно

кидаться головою внизъ, въ омутъ чувственныхъ радостей... Вотъ это общественное настроеніе отразилось въ дивныхъ фрескахъ на кладбищѣ Пизы. Онѣ называются *Trionfo della Morte*... *Торжество Смерти*... Глядите...

— Какъ талантливо!.. Сколько драматизма!

— Я зналъ, что тебя это взволнуетъ... Это лучшее, что было создано въ этотъ богатый шедеврами XIV вѣкъ...

— А имя художника?

— Оно неизвѣстно... Упорно называли Андреа Орканья... Но это невѣрно... Онъ никогда не былъ въ Пизѣ... это во-первыхъ... А во-вторыхъ, онъ былъ аріецъ, а не семитъ... Но это я объясню потомъ... Теперь братьевъ Лоренцетти называютъ творцами этихъ удивительныхъ фресокъ. Однако и младшій изъ нихъ уже умеръ въ 1345 г. Эта картина аллегорически изображаетъ настроеніе той эпохи. Кавалькада знатныхъ и богатыхъ ѣдетъ безпечно на охоту. И вдругъ кони ихъ храпятъ и подымаются на дыбы... Передъ ними три раскрытыхъ гроба, въ которыхъ разлагаются мертвецы. На нихъ богатая одежда. Корона на головѣ одного изъ нихъ. Ни богатство ни тронъ не спасаютъ отъ смерти... Всѣ остановились, объятые ужасомъ... А вдали скитъ, группа отшельниковъ... Они читаютъ, молятся, съ удивленіемъ глядятъ на шумную кавалькаду... Они готовы къ смерти... Ждутъ ее радостно, какъ избавленія... Что имъ эти отзвуки далекой и ненужной жизни?..

— А эта фреска еще трогательнѣе,—говоритъ фрау Кеслеръ.— Смотри, Маня... Влюбленные...

— А смерть замахнулась на нихъ косой...

— Какая страшная старуха!.. У нея крылья летучей мыши...

— И черная рубашка... Это чума... Видишь, сколько злобы въ лицѣ?.. Сколько алчности!.. А вотъ здѣсь собралось знатное общество... Поютъ, играютъ на лютняхъ, говорятъ слова любви... Ты замѣтила ихъ лица? Кругомъ роща, цвѣтущій лугъ... А надъ головой ихъ уже витаютъ геніи смерти...

— Вотъ эти амуры?

— Да... Видишь? Они опрокинули факелы ихъ жизни... И ихъ минуты сочтены...

— Маркъ... Я должна видѣть все это!.. Я должна... Поѣдемъ въ Пизу!.. Поѣдемъ скорѣй!..

Фрау Кеслеръ хохочетъ.

— А вотъ еще аллегорія Чумы... Народъ, объятый ужасомъ, падаетъ ницъ передъ Смертью, простираетъ къ ней руки, моля о состраданіи... Передъ нею груда тѣлъ: короли, епископы, монахи, рыцари, нищіе, калѣки, дѣти... Здѣсь въ фигурахъ демоновъ воскресаетъ вѣяніе Востока. А вотъ эта фреска *Страшнаго суда* вся

напоена семитическимъ духомъ... Замѣть, Богородица скорбитъ о грѣшникахъ и проситъ за нихъ. Но Христосъ—судья, грозный и безпощадный, какъ еврейскій Іегова... Діаволы здѣсь ужасны. И даже у архангеловъ нѣтъ состраданія... Одинъ страхъ...

Онъ ищетъ въ другомъ картонѣ, вынимаетъ гравюру.

— Вотъ, смотрите... Ту же тему беретъ знаменитый Андреа Орканья. Онъ первый освобождается отъ вліянія Джіотто и идетъ своимъ путемъ... И какъ далекъ его Христосъ отъ мщенія, отъ восточной идеи божества! Онъ полонъ благости и скорби къ грѣшникамъ... Вотъ почему Андреа не могъ быть творцомъ пизанскихъ фресокъ. Легкій налетъ мистицизма есть и въ его творчествѣ... Видно, что онъ еще не ушелъ отъ вліянія византійцевъ, какъ геніальный Мазаччіо сто лѣтъ спустя. Но мятежный арійскій духъ пробивался сквозь толщу традицій и велъ художника къ реализму. Вотъ его *Рожденіе Богоматери*...

— Странно!.. Совсѣмъ простая обстановка!

— Да, это домъ небогатаго итальянскаго гражданина. И всѣ типы итальянскіе... Вы видите, какъ много здѣсь предметовъ изъ обыденной жизни?.. Люлька, тарелка съ ѣдой, бутылка... Какъ далеко это все отъ золотого фона византійцевъ, отъ пейзажа Джіотто!.. Подражая скульпторамъ Гиберти и Донателло, онъ учится на античныхъ образцахъ. Онъ преклоняется передъ статуями Андреа Пизано... Это рѣшительный переломъ въ искусствѣ.

Онъ бросаетъ потухшую папиросу.

— Но мы увлеклись, mesdames... Вернемтесь назадъ, къ самому интересному моменту этой эпохи... На рубежѣ двухъ міровъ подымается колоссальная фигура Данта... Онъ стоитъ у порога новой жизни. Но лицо его обращено назадъ... Глаза его глядятъ въ мракъ прошлаго, съ его кошмарами, съ апокалиптическими видѣніями... Въ эпоху свѣтлаго Ренессанса онъ говоритъ людямъ о мукахъ ада, о возмездіи... Въ лицѣ его опять торжествуетъ семитическій духъ... Онъ былъ схоластикъ, а не свободный мыслитель. Націоналистъ, а не республиканецъ... Онъ жилъ въ разгаръ борьбы Гвельфовъ съ Гиббеллинами, и эта междоусобица утомила его. Онъ жаждалъ видѣть народъ объединеннымъ, хотя-бъ подъ властью монарха... Онъ увлекался личностью Генриха VII... Но это и не удивительно!..Германскіе императоры были интересными людьми. Вспомни хотя бы такого гиганта, какъ Фридрихъ Барбаросса!.. А борьба Генриха IV съ папой Григоріемъ VII полна трагизма...

Глаза Мани становятся мечтательными... Она видитъ себя ребенкомъ. Звучитъ въ душѣ таинственная легенда. Барбаросса исчезъ... Онъ скрылся, побѣжденный коварными сарацинами. Гдѣ-то въ далекомъ, невѣдомомъ міру подземельѣ, спитъ онъ теперь,

положивъ голову на каменный столъ. Его рыжая борода стала сѣдой. Выросла и обвилась вокругъ ножекъ стола. Подъ ногой мохъ, на стѣнахъ плѣсень. Запахъ тлѣнія. Ненарушимая тишина... Онъ крѣпко спитъ. Не слышитъ надъ собой бѣга жизни, медленныхъ шаговъ проходящихъ столѣтій... Онъ ждетъ... Наступитъ часъ, и онъ проснется. Онъ выйдетъ изъ подземелья, объединитъ распавшуюся имперію. И завоюетъ міръ и Гробъ Господень...

Гдѣ этотъ склепъ?.. Гдѣ ея вѣра?.. Ея дѣтство?..

— Дантъ былъ Гомеромъ Италіи. Онъ писалъ для народа, потому что любилъ его и страдалъ за его безправіе. Онъ первый заговорилъ съ нимъ на его языкѣ съ захватывающею искренностью, съ великой простотой... И въ его устахъ этотъ языкъ сталъ божественно-прекраснымъ. Онъ отразилъ въ своихъ стихахъ всѣ муки и надежды современниковъ. И въ этомъ прежде всего тайна его популярности... Ученые отвергли поэму, написанную не по-латыни. Но простой народъ распѣвалъ на рынкахъ и площадяхъ строфы *Божественной комедіи*... Въ тѣ дни на улицахъ Флоренціи шли кровавые бои между *черными* и *бѣлыми*. Аристократы побѣдили на время, разграбили дома *бѣлыхъ*... домъ Данта въ томъ числѣ... И изгнали всѣхъ, кто былъ на сторонѣ народа... Дантъ остался навсегда изгнанникомъ. Въ родной городъ онъ не согласился вернуться даже передъ смертью, когда партія плебеевъ восторжествовала надъ врагами и придала Флоренціи духъ демократической республики, отличающей ее такъ выгодно отъ другихъ городовъ Италіи... Ты понимаешь, конечно, что искусство, наука и гражданская жизнь могли развиваться только тамъ, гдѣ ослабѣла власть папы и инквизиціи, гдѣ народъ гордо поднялъ голову... Но до чего мрачна была душа Данта!.. Чтобъ написать такую поэму, какъ *Адъ*, надо было чувствовать себя подавленнымъ идеей о возмездіи, всѣми этими символами ужаса, которыми католичество держало въ плѣну души современниковъ... Кто водитъ Данта въ подземномъ мірѣ?

— Виргилій,—шепчетъ Маня.

— А! Ты это знаешь?.. Видишь ты, какъ преклонялся поэтъ передъ античной литературой?.. Но свѣтлая радость язычниковъ была чужда его душѣ... Не даромъ лицо его было темно и страшно...

„Безбородое, съ рѣзкими чертами римлянина“, думаетъ Маня. Опять передъ нею картина... Высокій и суровый, въ своей длинной черной одеждѣ и головномъ уборѣ, похожемъ на ночной чепецъ, идетъ онъ по улицамъ Флоренціи. Городъ живетъ... Шумный, крикливый, полный смѣха и брани... Но вотъ его увидали издали.. Смѣхъ смолкаетъ. Стихаетъ шумъ. Толпа распалась и таетъ, прячась по домамъ. Женщины дрожатъ, а дѣти плачутъ... „Тише!..

Тише... Глядите!.. Вотъ идетъ *онъ*... тотъ, кто спускался въ Адъ... кто знаетъ подземный міръ... для кого нѣтъ тайны...“

— Данте—поэтъ ужаса и мести. Онъ стоитъ на рубежѣ двухъ эръ въ искусствѣ, въ тотъ часъ, когда на небѣ уже разгорается заря Возрожденія. А рядомъ съ нимъ живетъ и смѣется Боккаччіо, который ни во что не вѣритъ и ничего не боится. Замѣчаешь ты, какъ бѣгутъ рядомъ двѣ струи?.. Но истиннымъ поэтомъ Ренессанса былъ не Дантъ, а Петрарка, — скептикъ, республиканецъ, образованный, влюбленный въ античную культуру, эпикуреецъ, „любящій любовь“... Дантъ — однолюбъ, какъ натура семитическая, — покаралъ грѣшную любовь Франчески изъ Римини къ Паоло ди Малатеста... А Петрарка воспѣвалъ свою Лауру и прославилъ ее на весь міръ. Дантъ въ своемъ *Аду* помѣстилъ фигуры невѣрующихъ современниковъ... Петрарка былъ свободный мыслитель... Но фигура Данта такъ громадна, что тѣнь отъ нея падаетъ даже въ послѣдующія поколѣнія, омрачая души людей Возрожденія. Не ушелъ отъ этого вліянія и современникъ поэта, великій Джіотто, самъ аріецъ по духу... Говорятъ, что поэтъ посѣтилъ его въ Падуѣ, гдѣ художникъ писалъ фрески для капеллы Скровеньи. Они много часовъ провели вмѣстѣ... И подъ вліяніемъ Данта Джіотто изобразилъ потрясающія картины Страшнаго суда. Предполагаютъ, что неизвѣстный творецъ фресокъ въ Camposanto, въ Пизѣ, также увлекался Дантомъ... Его *Страшный Судъ*, какъ я уже говорилъ тебѣ,—это преданіе византійскихъ мозаикъ, какимъ приняло его католичество среднихъ вѣковъ. То же вѣяніе мы чувствуемъ въ міросозерцаніи Данта. И отзвуки *Божественной комедіи* дрожатъ еще вѣка спустя, не только въ творчествѣ Спинелли, Синьорелли, но даже и въ *Страшномъ Судѣ* Микель-Анджело. Когда глядишь на эти фрески, то словно слышишь раскаты грома на горѣ Синаѣ. Ты это увидишь въ Римѣ...

— Римъ!—мечтательно шепчетъ Маня.

— Въ концѣ XIV столѣтія джіоттистъ Спинелли Аретано подъ вліяніемъ дантовскаго *Ада* написалъ борьбу демоновъ съ ангелами. Его Люциферъ внушаетъ ужасъ... Есть легенда, что оскорбленный демонъ сошелъ со стѣнъ, гдѣ были фрески Спинелли, и явился художнику во снѣ. И, потрясенный своимъ собственнымъ созданіемъ, Спинелли умеръ отъ разрыва сердца...

— Какъ страшно!—говоритъ фрау Кеслеръ, бросая вязанье.

— Во Флоренціи, послѣ долгаго перерыва и какъ бы паузы въ развитіи живописи, появляется еще геніальный новаторъ—Мазаччіо. Его творчество—это настоящее Возрожденіе. Онъ пишетъ фигуры, какъ скульпторъ, зданія, какъ архитекторъ... Перспектива, пластика, анатомія—все ему знакомо... У Джіотто фигуры попа-

даются плоскія... Мало рельефа, мало воздуха... У Мазаччіо почти нѣтъ недостатковъ... Но самое главное: онъ аріецъ въ своемъ творчествѣ! Онъ мыслитель и философъ. Это предтеча Рафаэля... Онъ создаетъ свой стиль. Христосъ, какимъ онъ написалъ его впервые, мудрый и кроткій,—вдохновляетъ во всѣхъ вѣкахъ позднѣйшихъ художниковъ...

— Ты мнѣ покажешь его картины во Флоренціи?

— Да. Онѣ въ церкви del Carmine. Послѣ Мазаччіо не только свѣтскіе, но даже монахи-художники не изображали Мадонну царицей... У Чимабуэ она еще скорбитъ о грѣхахъ міра. Она восточная женщина... У Мазаччіо—она мать... Она итальянка... И удивительная фигура этого художника! Я какъ будто вижу его передъ собой... Мазаччіо—это пренебрежительная кличка, вродѣ Ѳомки.

Фрау Кеслеръ смѣется.

— Серьезно! Это былъ величайшій идеалистъ своего времени... Сынъ нотаріуса, онъ могъ жить безъ нужды. Но, какъ истинный поэтъ, онъ пренебрегалъ благами земными. Онъ ходилъ въ бѣдной одеждѣ, жилъ почти въ нищетѣ, терпѣлъ лишенія въ юности... И богатые флорентійскіе купцы презирали его до тѣхъ поръ, пока его не увѣнчала слава... Смѣло можно сказать, что не будь Мазаччіо, міръ не имѣлъ бы Микель-Анджело, Рафаэля и Леонардо да Винчи! Всѣ они учились по фрескамъ Мазаччіо. Всѣ вдохновлялись имъ. Онъ жилъ мало, но сдѣлалъ много... Есть легенда, что его отравили художники, завидовавшіе его славѣ... А теперь взгляни на эту Мадонну, работы фра Филиппо...

— Какая красавица! Смотри, Агата!..

— Не правда ли? Настоящая флорентинка... Хотя личико ея еще холодно, не видно любви къ ребенку, какъ потомъ у Рафаэля... Она по шаблону еще не смотритъ на младенца... Но реализмъ уже торжествуетъ надъ мистическимъ началомъ! Это все-таки женщина, а не царица... И миловидная, смиренная, граціозная женщина... Жизнерадостность художника окрашиваетъ все его творчество теплыми тонами... И я склоненъ думать, что какъ Рафаэлю для его Мадонны и *Часовъ Ночи и Дня* моделью служила его возлюбленная Форнарина, также и этого монаха вдохновляла его любовница, Лукреція Бути...

— У монаха любовница?—спрашиваетъ Маня. И лѣвая бровь ея удивленно поднимается. Фрау Кеслеръ весело смѣется. Она рада скандалу. Смѣется и Штейнбахъ.

— И, замѣть, она сама была послушницей въ женскомъ монастырѣ...

— О la!.. la!..—хохочетъ фрау Кеслеръ и машетъ рукой.

— Отецъ отдалъ ее и сестру противъ ихъ воли въ монастырь... Фра Филиппо писалъ тамъ фрески и похитилъ Лукрецію... Она родила ему сына, впослѣдствіи художника Филиппино Липпи. Это былъ большой скандалъ въ Италіи... Но и вся жизнь этого монаха— настоящій романъ...

— Ахъ, Маркъ! Говори скорѣй!.. Какъ интересно!..

— Мазаччіо былъ приглашенъ писать фрески въ капеллѣ Бранкаччи. Рядомъ съ церковью былъ кармелитскій мужской монастырь... И вотъ мальчикъ, лѣнивый и шаловливый, каждый день потихоньку прибѣгалъ въ церковь и часами въ блаженномъ созерцаніи стоялъ близъ великаго художника... Мазаччіо угадалъ въ ребенкѣ призваніе и сталъ его учить... Фра Филиппо не было еще восемнадцати лѣтъ, когда ему поручили писать иконы въ алтарѣ его монастыря. Но вотъ ему минуло двадцать лѣтъ... И вдругъ онъ исчезаетъ...

— Куда, Маркъ?.. Куда?

— Онъ бѣжитъ изъ монастыря и странствуетъ по Италіи... Цѣлыхъ два года онъ скрывается... Въ Анконѣ, какъ-то разъ, катаясь на лодкѣ, онъ увлекается, далеко выѣзжаетъ въ море. Тутъ на него нападаютъ пираты и берутъ его въ плѣнъ...

— Бѣдняжка!—шепчетъ фрау Кеслеръ.

— Но и оттуда, очевидно, онъ бѣжитъ Потому что появляется въ Падуѣ, работаетъ тамъ и прославляется... Наконецъ, семья Медичи приглашаетъ его ко двору... Въ Берлинскомъ музеѣ есть его шедевръ. Вотъ гравюра...

Среди лѣса, на лужайкѣ, покрытой цвѣтами, лежитъ прекрасный улыбающійся младенецъ съ золотыми кудрями. Мадонна опустилась на колѣни, сложила молитвенно руки и нѣжно и грустно глядитъ - не наглядится на свое дитя... А рядомъ стоитъ красивый мальчикъ съ крестомъ изъ тростника. Это Іоаннъ... Тѣнь деревьевъ падаетъ на всѣ фигуры. Но изъ тѣла Спасителя струится таинственный свѣтъ...

— Здѣсь этого не видно,—говоритъ Штейнбахъ.—Но какая это поэзія въ оригиналѣ! Сколько мистицизма!.. Здѣсь чувствуется еще юноша и монахъ. Въ дальнѣйшемъ творчествѣ у него больше реализма... Его *Коронованіе Богоматери* совершается на землѣ, замѣть!.. А не въ небѣ, какъ до него... Мадонна окружена современниками... Все это дерзновенія, достойныя ученика Мазаччіо... Но во всемъ его творчествѣ бьютъ двѣ струи: философская и мистическая... Послѣдняя усилилась передъ его смертью. Отпечатокъ двойственности его собственной души замѣтенъ во всѣхъ его произведеніяхъ... Онъ стяжалъ себѣ такую славу, что когда онъ умеръ въ другомъ городѣ, гдѣ работалъ надъ украшеніемъ храма, флорентинцы

требовали его тѣло для похоронъ. Но этой чести не уступили сполетанцы и погребли его въ своемъ соборѣ... Лоренцо Медичи впослѣдствіи поставилъ памятникъ надъ его могилой, а работу поручилъ сыну художника—Филиппино Липпи. Лучшимъ ученикомъ фра Филиппо считается Сандро Боттичелли... Онъ несравненно изображалъ Мадоннъ... Онѣ почти не смотрятъ на зрителя. Онѣ всѣ смотрятъ на дитя... Это полный разрывъ съ традиціями Византіи. Онѣ трогательны, онѣ нѣжны. Онѣ глубоко чувствуютъ.. Много философіи вноситъ онъ въ пониманіе сложнаго догмата искупленія. Въ его лицѣ арійскій духъ торжествуетъ великую побѣду... Вотъ его лучшая картина!

— Юноши держатъ лиліи... Какіе они нѣжные!

— Это ангелы. Но безъ крыльевъ... Ты замѣчаешь, какой шагъ впередъ? И всюду деревья и цвѣты.. Пейзажъ полонъ какой-то задумчивой прелести. Это виды Тосканы.. Вдали бѣжитъ Арно.. Я люблю Боттичелли. Еще больше люблю фра Анджелико... Потомъ ты поймешь—почему... Вотъ въ этой картинѣ Мадонна, держа на рукахъ младенца, пишетъ пророчество о судьбѣ Христа. Предчувствіе впервые пробуждается въ ея душѣ. Ты видишь эту мысль въ лицѣ ея?

— Какъ трогательно, Маркъ!

— Поразительно!.. Нельзя смотрѣть на нее безъ волненія... Но еще удивительнѣе младенецъ... Онъ игралъ на колѣняхъ матери съ гранатовымъ яблокомъ. Но въ эту минуту видишь,—онъ беретъ за руку Мадонну и нѣжно старается обратить на себя ея вниманіе... „Не пиши дальше!“ говоритъ его жестъ. „Не тоскуй... Вѣдь я еще съ тобою...“

— Я увижу эту картину?

— Да, во Флоренціи, въ галлереѣ Уффици... Изъ всего, что онъ создалъ, это высшая цѣнность... Но Боттичелли писалъ уже и на миѳологическіе сюжеты. Вотъ его *Рожденіе Венеры*...

— А!.. Наконецъ-то!—смѣется фрау Кеслеръ.

— Подождите торжествовать!—серьезно говоритъ Штейнбахъ.— Другая струя въ искусствѣ и въ жизни общества, подавленная на время, не изсякала никогда... Въ Фіезоле, въ доминиканскомъ монастырѣ св. Марка, живетъ монахъ фра Джіованни, цѣломудренный и кроткій, какъ ангелъ. Кто училъ его живописи, и учился ли онъ вообще,—неизвѣстно... Онъ удивительно оригиналенъ въ своемъ творчествѣ! Слава его гремитъ по всей странѣ. Но онъ не ищетъ почестей и отказывается отъ богатства... Искусство свое онъ посвятилъ Богу. И даже не беретъ кисти въ руки, не помолившись... Это мистикъ по природѣ, съ нѣжной и свѣтлой душой. Онъ прожилъ почти до 70-ти лѣтъ. Былъ современникомъ

Мазаччіо и фра Филиппо, слѣдовательно жилъ въ самый разгаръ Возрожденія. Но онъ былъ доминиканцемъ. И остался имъ въ своемъ творчествѣ.. Въ монастыряхъ этого именно ордена родилось то броженіе, которое создало впослѣдствіи Савонароллу... Тамъ въ ученіи гуманистовъ видѣли соблазнъ бѣсовскій. Въ пробужденіи философскихъ идей—преступленіе противъ вѣры. Любовь къ античному искусству и литературѣ считалась тяжкимъ грѣхомъ. И фра Анджелико не могъ бороться съ этимъ вліяніемъ. Семитическій духъ воскресаетъ въ его творчествѣ... Все оно проникнуто мистицизмомъ, и этимъ онъ рѣзко отличается отъ современниковъ, художниковъ Возрожденія... У него даже сохранился золотой грунтъ. Его Христосъ не страдаетъ на крестѣ. Это Богъ... Его ангелы—это дѣйствительно безтѣлесные духи... Его Богоматерь—прелестная дѣвушка съ золотистыми волосами, смиренно внимающая архангелу; или нѣжная женщина въ царскихъ одеждахъ... Но она такъ чиста, такъ безплотна, что кажется видѣніемъ. И вотъ-вотъ растаетъ и исчезнетъ съ полотна!.. Художникъ сохранилъ всѣ средневѣковыя аскетическія воззрѣнія на жизнь и искусство... Но онъ самъ былъ слишкомъ мягокъ и свѣтелъ, чтобы хорошо изображать Страшный судъ, напримѣръ. Духъ времени коснулся, конечно, и его... Но только слегка задѣлъ его крыломъ... Въ его фрескахъ о св. Лаврентіи есть жизнь и правдивые жесты, полные реализма у второстепенныхъ лицъ... Есть голубое небо, пейзажъ, башни Флоренціи... Онъ отличается отъ всѣхъ нѣжностью и какой-то задумчивой грустью... Мистической тайной вѣетъ отъ его творчества. Какъ будто ему дано было заглянуть въ потусторонній міръ... Если попадемъ когда-нибудь въ Лувръ, я покажу вамъ его шедевръ... Другой вы увидите въ Уффици... Это *Коронованіе Богородицы*... Вотъ эта гравюра ничего не передаетъ. Какое-то сіяніе исходитъ отъ этихъ лицъ... Столько блаженства въ ихъ глазахъ и улыбкѣ!.. Не даромъ его прозвали *Beato* и *Fra Angelico*... Такихъ дивныхъ ангеловъ ни до него, ни послѣ не писалъ уже никто!.. Какъ будто они дѣйствительно являлись ему въ его кельѣ... Онъ зналъ минуты величайшаго религіознаго экстаза и отразилъ ихъ въ своемъ творчествѣ. Выше подняться не могъ человѣческій духъ!..

Онъ закуриваетъ папиросу и съ наслажденіемъ затягивается.

X.

— Можетъ-быть, ты устала, Маня?

— Нѣтъ, нѣтъ... Говори! Это такъ захватываетъ...

— Филиппино Липпи остался одиннадцати лѣтъ послѣ смерти отца. И, какъ дитя любви, былъ необычайно даровитъ. Учился онъ

у Сандро Боттичелли. Онъ очень оригиналенъ... У него богатая фантазія... Какъ и у отца, у него теплый и нѣжный колоритъ, много поэзіи... Жизнью вѣетъ отъ всѣхъ его картинъ. Онъ такъ быстро выдвинулся, что ему—еще молодому—было поручено закончить фрески Мазаччіо въ церкви del Carmine. И онъ съ честью вышелъ изъ этого испытанія... У него есть удивительная, волнующая картина. Маленькій Іоаннъ подаетъ младенцу Спасителю крестъ... Беззаботно хватаетъ его Христосъ крошечными ручонками... Для него этотъ символъ его будущихъ мукъ—только игрушка...

— О, Маркъ... Какъ трогательно!

— Впечатлѣніе незабываемое, Маня!..Здѣсь виденъ первоклассный художникъ Возрожденія, аріецъ-мыслитель... Къ сожалѣнію, онъ злоупотреблялъ украшеніями, орнаментами, декоративностью,—всѣмъ, чего нѣтъ въ строго величавой манерѣ флорентійской школы... и что характеризуетъ, главнымъ образомъ, сіэнскую, долго находившуюся подъ вѣяніемъ Византіи...

Онъ встаетъ и ходитъ опять по комнатѣ. Онъ сосредоточенно обдумываетъ свою рѣчь. Поднявъ голову, фрау Кеслеръ глядитъ въ окно, на желтыя штофныя занавѣси. Онѣ слегка колеблются, когда вѣтеръ съ воемъ ударяетъ въ стекло. „Буря на морѣ“, думаетъ она. „У насъ, въ Москвѣ, оттепель...“

— Теперь я подхожу къ самому интересному, самому трагическому моменту этой борьбы...Какъ въ древней Греціи и Римѣ, расцвѣтъ искусства и здѣсь совпалъ съ политическимъ освобожденіемъ. Мы видимъ во Флоренціи демократическую республику... И художникъ все время чувствуетъ свою связь съ народомъ... Для него онъ строитъ храмы. Для него пишетъ фрески. Искусство, дѣйствительно, является общедоступнымъ національнымъ богатствомъ... Вѣтеръ tramontane, дувшій съ сѣвера, гналъ тучи суевѣрія и освобождалъ мысль... Насколько измѣнился христіанскій идеалъ въ искусствѣ за какія-нибудь сто лѣтъ, ты увидишь сама, если сравнишь творчество Чимабуэ съ Сандро Боттичелли... и особенно съ Андреа Орканья... Даже духовенство шло по теченію и увлекалось философскими идеями въ живописи... На папскомъ престолѣ мы видимъ Льва X изъ семьи Медичи, которая потомъ постепенно отняла у гражданъ Флоренціи ихъ свободу... Папа—меценатъ, какъ всѣ Медичи. И подъ его вліяніемъ религіозное чувство въ живописи слабѣетъ и уступаетъ мѣсто языческому культу красоты... Казалось бы, нѣтъ назадъ дороги!.. Но вдругъ задулъ сирокко, жгучій, убійственный вѣтеръ пустыни... Въ самомъ центрѣ кипучей умственной жизни, среди торжествующаго расцвѣта гуманизма, во Флоренціи внезапно возникаетъ реакціонное движеніе... Оно родится въ томъ же монастырѣ, гдѣ жилъ и писалъ Беато

Анджелико. Во главѣ движенія стоитъ монахъ доминиканскаго ордена, еще молодой и талантливый, съ пламенной душой трибуна... Непримиримый, жизневраждебный фанатикъ...

— Савонаролла?—вскрикиваетъ Маня.

— Да... Индивидуальность его такъ ярка и могуча, что все, достигнутое культурой за три вѣка, гибнетъ въ огнѣ его проповѣди... Онъ требуетъ покаянія и аскетизма, возстаетъ противъ науки, проклинаетъ скульптуру, литературу, живопись... И вотъ тутъ-то начинается грандіознѣйшая, потрясающая борьба арійскаго духа съ семитическимъ... Подъ гипнозомъ этой поразительной личности, народъ, жизнерадостный и культурный, вдругъ впадаетъ въ психозъ... Церкви полны молящимися. Женщины рыдаютъ и бьютъ себя въ грудь... На городской площади Савонаролла устраиваетъ величественное ауто-да-фе... И сжигаетъ собственноручно дивныя статуи, картины, сочиненія Петрарки, маскарадные костюмы, музыкальные инструменты, предметы роскоши...

— Боже мой!—срывается у Мани.

— Арійскій духъ какъ бы угасаетъ во Флоренціи. Савонаролла грозитъ Лаврентію Медичи, укоряетъ его за то, что онъ посягнулъ на свободу республики... Іисусъ Христосъ — вотъ единственный Царь!.. Онъ не хочетъ признавать иныхъ... Онъ грозитъ папѣ и укоряетъ духовенство въ роскоши и развратѣ... Наконецъ онъ становится слишкомъ опаснымъ для церкви. Его сжигаютъ на кострѣ.

— Gott sei dank! (Слава Богу...)—срывается у фрау Кеслеръ. Маня смѣется.

— Но онъ похожъ на ураганъ, который превращаетъ въ пустыню мѣста, гдѣ онъ пронесся! Посмотрите, какъ повліялъ на людей Возрожденія этотъ мрачный взрывъ семитизма!.. Посмотрите, какъ онъ отразился на судьбѣ хотя бы того же Сандро Боттичелли... Потрясенный ученіемъ Савонароллы, онъ, съ его нѣжной душой, съ его свѣтлымъ умомъ—отрекается отъ всего, чему служилъ... Знаменитый художникъ отказывается отъ творчества, съ восторгомъ принимаетъ бѣдность. И умираетъ нищимъ.

— Возможно ли?.. Вотъ этотъ самый?—горестно спрашиваетъ Маня. Обѣ женщины съ волненіемъ смотрятъ на гравюры...

— Да и не онъ одинъ. Два брата Делла-Роббіа, талантливые художники, становятся монахами, и самъ Савонаролла постригаетъ ихъ... Прославленный Баччіо Делла-Порта,—другъ Савонароллы, потрясенный его казнью, отказывается навсегда отъ живописи, и тоже идетъ въ монахи... Онъ принимаетъ имя фра Бартоломео въ томъ же монастырѣ св. Марка, гдѣ жилъ его другъ... СандроБотичелли уже не былъ молодъ, когда отрекся отъ творчества... Но фра Бартоломео было только 29 лѣтъ... Для искусства его спасаетъ

Рафаэль... Онъ является во Флоренцію, четыре года спустя, и становится другомъ монаха... Его свѣтлый духъ отгоняетъ кошмары, борется съ гипнозомъ великаго аскета... И великій фра Бартоломео опять берется за кисть. Но съ единственной цѣлью, руководившей византійскими художниками,—прославлять Бога... Въ свою очередь, онъ много даетъ самому Рафаэлю... Долго еще тѣнь Савонароллы витаетъ надъ Флоренціей. И религіозное теченіе въ искусствѣ воскресаетъ вновь... Отъ этого вѣянія не ушелъ даже Перуджино. Много славныхъ именъ дало оно: Гирландайо, учитель Микель-Анджело... Лоренцо ди Креди и Альбертинелли...

— Но, вѣдь, въ это же время, Маркъ, жилъ и Рафаэль?

— Да... XV и XVI вѣка—это эпоха гигантовъ... И можно смѣло сказать, что это была борьба гигантовъ... Послѣдній взрывъ ея...

— Еще!—вскрикиваетъ фрау Кеслеръ.

— Да... Съ одной стороны арійцы, Рафаэль и Леонардо да Винчи, съ другой—Микель-Анджело... Религіозное чувство въ творчествѣ Рафаэля дивно сочеталось съ любовью къ жизни, съ свѣтлой радостью... Онъ начинаетъ эру въ искусствѣ своей Сикстинской Мадонной. Это не только мать, но и непосредственная, простая женщина, съ очаровательнымъ невиннымъ личикомъ... Видишь ты, Маня, на его примѣрѣ, какъ искусство первыхъ христіанъ въ катакомбахъ брело ощупью, черезъ мракъ и дремучій лѣсъ средневѣковья, чтобъ только въ XVI вѣкѣ выйти на просторъ и увидать надъ собою, наконецъ, голубое небо?

Онъ кладетъ на столъ копію Леонардо да Винчи *Cena*.

— *Тайная вечеря*?—спрашиваетъ Маня.

— Не знаю, право, вѣрилъ-ли во что-нибудь и молился ли чему-нибудь этотъ великій художникъ? Улыбка его Іоанна Крестителя (какъ объ этомъ писалъ уже талантливый Волынскій), Анна съ Маріей на колѣняхъ, выраженіе лица этой Анны—все это загадочно и... непріятно... Какіе-то намеки... Болѣзненные, кошмарные... Вся темная душа художника отразилась въ этихъ образахъ. Но въ *Cena* онъ далъ несравненный шедевръ... До него никто не дерзалъ такъ освѣщать этотъ сложный сюжетъ... Здѣсь такъ много движенія, психологіи, драматизма, что можно говорить о немъ всю ночь! И всего все-таки не исчерпаешь... Леонардо да Винчи геніальнѣйшій художникъ, дерзновенный философъ, на цѣлую голову поднявшійся надъ своимъ вѣкомъ...

Онъ открываетъ послѣднюю папку съ гравюрами.

— И вотъ въ лицѣ Микель-Анджело въ послѣдній разъ съ потрясающей мощью воскресаетъ семитическій духъ... Онъ вдохновляется Дантомъ. Въ его колоссальномъ Давидѣ, въ его грандіозныхъ образахъ чувствуется далекое вѣяніе Востока... Рафаэль и

Буонаротти—это два полюса въ искусствѣ, два непримиримыхъ начала... Но... на сѣверѣ уже идетъ броженіе. Является Лютеръ Реформація освобождаетъ умы. Послѣдніе кошмары исчезаютъ.. Художникъ дышитъ свободно... Отнынѣ искусство перестаетъ быть акаѳистомъ, богослуженіемъ... Оно есть средство проявлять свою индивидуальность... Оно не долгъ, а радость... Въ XV вѣкѣ ярко распускается искусство въ Феррарѣ, Пармѣ, Падуѣ, Болоньѣ, Римѣ, Умбріи, Венеціи... И тамъ колоссы: Беллини, Тиціанъ, Джіорджоне... Мантенья въ Падуѣ; Франчіа въ Болоньѣ; Перуджинъ учитель Рафаэля и основатель Умбрійской школы... Лоренцо Коста въ Феррарѣ... Какія имена!.. Какой блескъ!.. Но послѣ Микель-Анджело и Андреа дель Сарто начинается паденіе итальянскаго искусства, вырожденіе его... Сѣверныя народности побѣждаютъ югъ широтой философскаго взгляда, свободой своего творчества... Фламандцы и голландцы первые повертываются лицомъ къ жизни... У нихъ появляется пейзажъ, портретъ, жанръ... Мирная нива, луга, стада, кусочки несложной сельской жизни... Ихъ картины дышатъ правдой и юморомъ...

— Милые фламандцы!—шепчетъ Маня.

— Нидерландцы же дѣлаютъ эру въ техникѣ. Они пишутъ масляными красками. Альбрехтъ Дюреръ имѣлъ огромное вліяніе на итальянскую живопись. Антонелло изъ Мессины первый вводитъ употребленіе масляныхъ красокъ въ Венеціи, въ концѣ XV столѣтія... А полтораста лѣтъ спустя всходитъ яркая звѣзда Рембрандта и Рубенса... Голландія и Фландрія стоятъ теперь во главѣ движенія. Это конечная побѣда арійскаго духа. У Рубенса послѣдній налетъ мистицизма тонетъ въ чувственности и натурализмѣ... Въ Луврѣ есть его картины: *Семья Силеновъ* и *Праздникъ*. Ты, Маня, покраснѣешь, если увидишь ихъ...

Фрау Кеслеръ смѣется.

— Религія исчезаетъ изъ искусства, побѣжденная жизнью. Заря индивидуализма разгорается все ярче... На просторъ выходитъ освобожденный художникъ. И назадъ дороги ему уже нѣтъ!.. Все, что я говорилъ тебѣ, Маня, въ общихъ чертахъ, ты будешь узнавать въ деталяхъ вотъ изъ этой книги... Это очень серьезный и цѣнный трудъ...

Каждый день они въ музеѣ, а вечеромъ читаютъ *Исторію Искусствъ* фонъ Фрикена. Маня безумно увлечена...

— Подожди, я справлюсь въ своей библіотекѣ, — отвѣчаетъ Штейнбахъ, врасплохъ застигнутый ея жадными разспросами.

— А развѣ у тебя есть библіотека?

— Въ первомъ этажѣ, внизу... за картинной галлереей.

— И старыя книги?

— Конечно! Хотя бывшій владѣлецъ этого дворца распродалъ самое цѣнное.

— Мы пойдемъ туда вечеромъ!—радостно говоритъ она. — О, какой ты счастливый, что у тебя есть такія сокровища!

Онъ блѣдно улыбается. Этого счастія онъ не чувствуетъ.

— Маркъ, подожди!.. Я хочу разсмотрѣть всѣ портреты,—говоритъ она вечеромъ, по дорогѣ въ библіотеку. — Какъ это ни смѣшно, но мнѣ было ужасно жутко войти сюда одной и посмотрѣть въ ихъ глаза...

Длинная комната въ пять оконъ, съ фресками на плафонѣ, вся увѣшана портретами. Здѣсь кардиналы, воины, женщины, старики, дѣвушки, дѣти. Здѣсь костюмы Ренессанса, средневѣковые странные головные уборы женщинъ... А въ углу рыцарь въ полномъ вооруженіи.

— Почему вы все это оставили?—спрашиваетъ фрау Кеслеръ.— Какъ странно!.. Чужіе люди на стѣнахъ...

— Они здѣсь хозяева, а я только пришелецъ...

Маня быстро оборачивается... Онъ понялъ ее?.. Даже въ этомъ.

„Агата меня никогда не пойметъ...“

— Постой, Маркъ!.. Кто это?

— Sehr schön!—прочувствованно говоритъ фрау Кеслеръ.

Горделиво глядятъ на нихъ изъ рамы холодные, сѣрые глаза. Свѣтло-каштановые волосы, слегка завитые на концахъ, падаютъ на высокій воротникъ и бѣлый атласъ кафтана, какіе носили при Францискѣ I Валуа... Короткій плащъ изъ краснаго бархата ложится мягкими складками. Нѣжная рука опирается на шпагу. Лицо породистое, тонкое. Чувственныя губы чуть замѣтно улыбаются.

У Мани глаза большіе. Брови поднялись и замерли, удивленныя.

— Онъ тоже жилъ здѣсь?—не оборачиваясь, шопотомъ спрашиваетъ она.

— Да, конечно... Это Андреа-Марія-Лоренцо, графъ Манцони. Онъ умеръ молодымъ... Убитъ въ битвѣ съ турками подъ Лепантомъ... Картина этого боя есть въ Академіи. Работа Веронеза. Этотъ Манцони любилъ жену своего брата. И отравилъ его.

„Ты умеръ молодымъ“, думаетъ Маня. „Умеръ далеко, въ чужомъ краю. Но здѣсь ты жилъ, любилъ, страдалъ... Частица души твоей осталась въ этомъ домѣ...“

Когда они уходятъ изъ картинной галлереи, она все еще оглядывается. И медлитъ на порогѣ.

И вдругъ въ глазахъ ея удивленный Штейнбахъ видитъ безуміе Мечты...

На другой день она уже съ утра всѣхъ торопитъ въ музей. Ея нервность и блескъ глазъ замѣтили всѣ.

— Гдѣ картина Веронеза „Битва подъ Лепантомъ"?—спрашиваетъ она у входа. И шопотъ у нея прежній... страстный...

Ахъ, съ какой алчностью разглядываетъ она картину!.. Точно ищетъ кого-то... Кого?..

— Ничего не понимаю!—съ отчаяніемъ говоритъ она.—Какая гадость эта батальная живопись!

И вдругъ углы рта ея опускаются. И, глубоко уставшая, разомъ уставшая, она садится на скамью.

— Поѣдемъ домой, Маркъ! Нынче у меня нѣтъ настроенія...

Всю дорогу обратно она молчитъ въ глубокой задумчивости.

Изъ дневника Мани.

8-е января.

„Я крадусь къ нему каждую ночь... Какъ страшно замирать въ корридорѣ, передъ дверью Марка!.. Спускаться по лѣстницѣ въ этотъ сырой мракъ... Пламя свѣчи мечется, какъ въ смертельномъ страхѣ. Оно пригибается и точно прячетъ лицо...

„Но я говорю: „Не бойся!.. Нѣтъ ужасовъ тамъ, гдѣ все мертво и безмолвно... Бойся людей. Бойся живыхъ... Тѣхъ, кто обманываетъ; тѣхъ, кто мѣняется. Мы идемъ съ тобою къ друзьямъ. Вѣрнымъ и вѣчнымъ... Къ тому, кто уже сомкнулъ уста и никогда не произнесетъ лживыхъ клятвъ..."

„Я внизу... Мнѣ холодно... Пустяки! Я закутаюсь теплѣе въ мой платокъ... Или это лихорадка ожиданія, отъ которой дрожитъ все мое тѣло?

„Дверь не заперта. Слава Богу!.. Я медлю передъ тяжелой штофной занавѣсью. Я боюсь оглянуться. Кардиналъ въ красной мантіи, тамъ, надъ лѣстницей, усмѣхается своей чувственной улыбкой, щуря темные глаза... Ахъ, ты тоже ничему не вѣрилъ, кромѣ смерти, которая молчитъ!

„Пламя свѣчи озаряетъ лицо епископа... Суровое, желчное лицо. Онъ хмурится и съ презрѣніемъ глядитъ на язычницу, которая не въ молитвѣ ищетъ забвенія отъ горя...

„Занавѣсъ у двери ласково касается моего лба... Холодитъ щеки мои поблекшимъ золотомъ вышивки...

„Сейчасъ, сейчасъ!.. Иду...

„Вотъ онъ... И все исчезло кругомъ. Высоко несу я свѣчу. И изъ мрака мнѣ сіяетъ навстрѣчу блѣдное пятно его лица... Его улыбка...

„Я опускаюсь на табуретъ и смотрю...

„И тонетъ моя печаль. И гаснетъ мое горе...

„Люблю тебя, Лоренцо... Всей силой моего отчаянія, всей неутолимой жаждой души, несогласной смириться,—люблю тебя, моя Мечта! . . . .

12-е января.

„Съ тѣхъ поръ, какъ я тебя увидала, мнѣ стало легче жить... Мои ночи опять спокойны, и вернулись красивые сны... Знаешь ли объ этомъ ты,—для кого уже нѣтъ тайнъ?

„Въ бѣломъ кафтанѣ, съ красной мантіей на плечахъ, ты спокойно глядишь изъ золоченой рамы на насъ, жалкихъ и страдающихъ... Загадочно улыбаются твои губы съ чуть приподнятыми уголками... Быть-можетъ, въ этой самой комнатѣ, гдѣ я пишу сейчасъ, ты жилъ? На этой кровати ты спалъ?.. О, приснись мнѣ!.. Обними меня и положи мою голову къ себѣ на грудь... Дай почувствовать на лицѣ моемъ прикосновеніе твоихъ рукъ!.. Если-бъ ты зналъ, какъ одинока я! Какъ томительно я жажду ласки...

„Но къ кому пойду теперь?.. Въ кого вѣрить? Если даже такая любовь, какъ у Марка, безсильна передъ жизнью! . . . .

18-е января.

„О, какъ хорошо мнѣ теперь!.. Никто не видѣлъ насъ, Лорен-
„цо... Эта тайна останется между нами. Но я приду опять, когда
„всѣ уснутъ. Я уже не буду плакать предъ тобою, мой далекій,
„молчаливый другъ... Камень спалъ съ души моей. Я опять по-
„цѣлую твои глаза, твою нѣжную руку, твои уста... Онѣ мои. Онѣ
„никогда уже не солгутъ... Онѣ уже никого не поцѣлуютъ... Мерт-
„вые вѣрны... А мы, ничтожные?.. Развѣ мы не игрушки случай-
„ностей?.. Развѣ счастіе наше не карточный домикъ?.. Пройдетъ
„мимо чужая женщина съ золотыми волосами. Шутя выдернетъ
„нижнюю карту. И рухнетъ все... и . . . .
. . . .

XI.

Опи стоятъ въ величественной залѣ Большого Совѣта, во Дворцѣ Дожей. Властители Венеціи глядятъ на нихъ изъ золоченыхъ рамъ. Но передъ ними черная доска и надпись:

Hic est locus Marini Falethri decapitati pro criminibus.

— Почему ты...

— Тише, Маркъ!.. Говори шопотомъ... Здѣсь слишкомъ громкое эхо. Мнѣ стыдно за людей...

— Она стала невозможна... Вы замѣчаете.

— Почему ты думаешь такъ много объ этомъ дожѣ?

— Онъ былъ *личностью.*

— Судьба Фоскари, воспѣтаго Байрономъ, не менѣе трагична.

— Но Марино Фальери заплатилъ жизнью за свою дерзость... Не знаю, въ чемъ для меня обаяніе этого имени... Я плакала о немъ, когда была ребенкомъ... Вотъ эта черная доска... Она преслѣдовала меня, какъ кошмаръ... И я гляжу на нее сейчасъ, Маркъ... Возможно ли это? О, пойдемъ скорѣе!.. Вотъ я иду по тѣмъ самымъ комнатамъ, гдѣ онъ жилъ и бродилъ ночью, обдумывая свои дерзкіе планы... А его молодая жена спала... По этимъ самымъ лѣстницамъ иду я сейчасъ... Я берусь за эти ручки... Маркъ... Ну, что мнѣ сдѣлать съ моимъ сердцемъ? Какъ оно стучитъ!..

Они выходятъ на балконъ. Дожъ отсюда показывался народу.

— Какой видъ!—восторженно вскрикиваетъ фрау Кеслеръ.

— Тише! Ради Бога, тише!.. Неужели нельзя безъ возгласовъ?

— Молчу... Молчу...

У Мани большіе глаза и блѣдное лицо. Она ходитъ на цыпочкахъ. Не смѣетъ облокотиться на перила. Словно тѣнь дожа Фоскари стоитъ рядомъ съ нею.

Онъ былъ грозенъ и властолюбивъ, этотъ Король Лиръ Венеціи. Тридцать-пять лѣтъ онъ царилъ надъ нею, возвеличилъ ее и украсилъ. Отъ Альпъ до Каспійскаго моря и до самой Сиріи имя ея было символомъ могущества и богатства. Но неблагодарная толпа свергла Фоскари. И его единственный сынъ, замученный инквизиціей, безумный отъ пытки, умеръ въ изгнаніи. Легенда говоритъ, что Фоскари скончался подъ звонъ колоколовъ, возвѣщавшихъ объ избраніи новаго дожа... Сколько трагедій и страданій!.. И все это здѣсь, въ этихъ стѣнахъ...

Вдругъ стонетъ эхо. Звучатъ шаги. Смѣхъ. Голоса. Цѣлая толпа вваливается въ залу. Гиды впереди.

Англичанки бѣгутъ на балконъ, перегибаются черезъ перила. Вотъ увидали кого-то внизу. Замахали руками. Зовутъ...

— Уйдемте! — говоритъ Маня.—Я ничего больше не хочу видѣть!.. Уйдемте скорѣе, а то я ихъ побью!.. О, проклятыя!.. Онѣ разбили мое настроеніе...

— Полно, Маня!.. Охота изъ-за пустяковъ...

Маня вдругъ оборачивается съ пылающимъ лицомъ:

— „Пустяки"?.. *Это* ты называешь пустяками, Агата?.. А что же важно? Скажи... Что есть болѣе цѣннаго въ жизни?!..

„Это хорошо... хорошо", думаетъ Штейнбахъ. „Это ничего, что мнѣ больно... Я самъ открылъ ей дверь въ жизнь. И она уходитъ отъ меня..."

Они возвращаются въ четвертомъ часу, когда дворецъ запираютъ. Но въ Италіи золото открываетъ всѣ двери.

Теперь они одни. Мимо гигантскихъ статуй Сансовино, мимо лѣстницы, на которой обезглавили Марино Фальери, они идутъ вверхъ, въ галлерею. Всюду запертыя двери, ревниво хранящія богатства и тайны дворца. Они минуютъ бывшія комнаты дожа, залы бюстовъ и бронзъ. Они наверху. Гидъ вводитъ ихъ въ квадратную комнату. Фрески Веронеза на плафонѣ и надъ каминомъ. На стѣнахъ картины Вечелли.

— Глядите, какая дыра въ стѣнѣ!—говоритъ фрау Кеслеръ.

— Мы стоимъ въ передней. Рядомъ зала *Совѣта Десяти.*

— Тамъ?..—И огромные глаза Мани смотрятъ на массивную дверь. Краски быстро сбѣгаютъ съ ея щекъ.

— Здѣсь была пасть мраморнаго льва, и сюда тайно бросали доносы. Во время революціи возмущенный народъ разрушилъ эту предательскую ловушку. Въ этой комнатѣ всѣ заподозрѣнные инквизиціей дожидались слѣдствія и суда. Назадъ—въ міръ—они уже не возвращались... Смерть или пожизненное заключеніе въ подземельяхъ дворца,—другого выхода не было.

— Подземелья?—быстро спрашиваетъ Маня.

— Они подъ нами и сейчасъ.

— О!.. Надѣюсь, туда-то мы не пойдемъ...

— Маркъ,—вдругъ перебиваетъ Маня,—скажи гиду: я хочу пройти весь путь обвиненнаго. Изъ залы суда въ тюрьму. Объясни ему!

— Зала *Совѣта Трехъ,*—говоритъ гидъ, отворяя дверь.

Маня медлитъ на порогѣ, какъ бы не рѣшаясь войти.

Комната небольшая, суровая, въ сравненіи съ роскошью другихъ залъ. Казалось, все хотѣли упростить въ этой ловушкѣ, гдѣ съ обвиненнаго снимали послѣдній допросъ. Вотъ и потайная дверь... Темная, узкая лѣстница ведетъ наверхъ, въ знаменитыя свинцовыя тюрьмы.

— Ничего тамъ не осталось,—говоритъ Штейнбахъ.—Революція уничтожила и этотъ адъ... Вернемтесь!..

Въ залѣ *Совѣта Трехъ* Штейнбахъ говоритъ, понижая голосъ:

— Есть преданіе, что однажды двое изъ этихъ *трехъ* инквизиторовъ были удавлены наемными убійцами. Ихъ подкупилъ третій! Онъ слишкомъ боялся своихъ товарищей. Se non e vero, e ben trovato! Какъ это восточное коварство характерно для венетовъ!

— Почему „восточное"?—спрашиваетъ фрау Кеслеръ.

— Венеты—выходцы изъ Азіи. Ихъ происхожденіе загадочно. Но жестокость и лицемѣріе Востока ярко отразились во всей венеціанской политикѣ. Она не разбирала средствъ. Въ этомъ была тайна ея успѣха...

Маня озирается съ тоской. Когда гидъ берется за ручку двери, въ лицѣ ея не остается ни кровинки.

Зала *Совѣта Десяти*...

Неужели та самая?.. Маня смотритъ съ порога... Роскошныя фрески на стѣнахъ. Но она ихъ не замѣчаетъ. На возвышеніи столъ... Они засѣдали здѣсь...

Глаза Мани расширены и неподвижны. Штейнбахъ думаетъ: „Если-бъ сейчасъ за этимъ столомъ мы увидали фигуры въ красныхъ мантіяхъ и маскахъ, она удивилась бы меньше, чѣмъ тогда, при видѣ желтой собачки на площади Св. Марка".

Да. Это такъ. Въ ея разлившихся зрачкахъ какъ бы отразилась душа венеціанца. Вся—трепетъ передъ инквизиціей, неумолимой, какъ Судьба.

Эти—въ красныхъ маскахъ... Кто зналъ ихъ имена? Они держали въ своихъ рукахъ счастіе и жизнь каждаго. Загадочные и безпощадные, они грозили, какъ кошмаръ... Кто въ Венеціи спалъ спокойно въ собственномъ домѣ, не боясь доноса?.. Въ каждой семьѣ былъ тайный агентъ. И отецъ, говоря съ сыномъ, блѣднѣлъ, опасаясь, что передъ нимъ шпіонъ. Даже санъ дожа не спасалъ отъ пытокъ и казней. Люди, отмѣченные рукой инквизиціи, исчезали безшумно и безъ слѣда.

— Идеальное государство, — говоритъ Штейнбахъ. — Личность была задавлена въ корнѣ.

— Посмотрите... Она дрожитъ...

— Маня, взгляни, какія фрески! Это лучшій плафонъ во всей Италіи. Фризъ рисовалъ Зелотти.

Напрасно... Настроеніе ея такъ ярко, волненіе ея такъ глубоко, что оно заражаетъ даже усталую душу Штейнбаха.

За этой комнатой корридоръ. Дверь, таинственная и угрюмая, преграждаетъ выходъ.

— Маркъ... Что тамъ?

— Знаменитые *Pozzi*, проклятые міромъ.

— Неужели мы пойдемъ и туда?

— Да... да... Я хочу видѣть темницу Марино Фальери...

— И Карманьолы, Маня... Онъ спасъ Венецію отъ миланцевъ. А республика предала его пыткѣ и казнила...

— Тамъ?—шопотомъ спрашиваетъ Маня.

— Нѣтъ. Онъ былъ казненъ на Піаццеттѣ. Другихъ душили въ тюрьмѣ...

— Фу!.. Охота итти туда! Прямо жутко...

Но тяжелый замокъ гремитъ. Съ визгомъ медленно отворяется дверь. Въ лицо пахнуло холодомъ.

— Маркъ Александровичъ! Вѣдь мы простудимся...

— Останься, Агата! Я пойду одна...

— Да развѣ я о себѣ забочусь! Ахъ, я никогда не думала, Маркъ Александровичъ, что у васъ такъ мало характера!

Они идутъ. Шагъ за шагомъ. Галлерея узка... Маня вглядывается въ фантастическій узоръ плѣсени на стѣнахъ, въ шероховатыя старыя плиты корридора. Какъ будто ей самой суждено видѣть все это въ послѣдній разъ... Вдругъ у крайняго окна она останавливается въ изнеможеніи и проводитъ рукой по глазамъ.

— Тебѣ дурно? Не вернуться ли назадъ?

— Маркъ... Это былъ послѣдній отблескъ дневного свѣта для *нихъ*?

— Взгляните на ея лицо! Ей вредны такія волненія...

Но удержать Маню невозможно... Она уже вошла въ психологію осужденнаго. Она не можетъ остановиться.

И вотъ они начинаютъ спускаться. О, какой длинный, какой жуткій путь!

Свѣтъ исчезаетъ постепенно. Еще поворотъ. И онъ гаснетъ.

Полумракъ. Застоявшійся воздухъ... Запахъ плѣсени. Тишина. Только шаги ихъ гулко звучатъ по каменнымъ плитамъ. И будятъ эхо вѣковъ.

Сырость начинаетъ пронизывать ихъ.

Вотъ еще провалъ. Лѣстница. Снизу глядитъ на нихъ мракъ.

Маня остановилась. Въ ея глазахъ Штейнбахъ видитъ вопросъ, полный ужаса: „Неужели еще ниже?"

Да. Сторожъ зажигаетъ фонарь. Пламя пляшетъ. Безформенныя тѣни налетаютъ на нихъ и кидаются въ стороны, маша безшумными крыльями. Словно гигантскіе нетопыри. На стѣнахъ сверкаетъ вода. Сердце бьется замедленно. Снизу холодомъ и тлѣніемъ вѣетъ въ ихъ лица.

— Маня! Пойдемъ назадъ!—молитъ фрау Кеслеръ.

— Нѣтъ!.. Нѣтъ!.. Я должна видѣть все!

Еще два поворота. Ступени ускользаютъ изъ-подъ ногъ.

Они въ тюрьмахъ Венеціи.

Глубокій мракъ обступаетъ ихъ со всѣхъ сторонъ. И тонетъ въ немъ жалкое пятно фонаря. О, какъ страшно, когда онъ погаснетъ!.. Это могилы.

— Какъ душно!—шепчетъ фрау Кеслеръ.

Вотъ клѣтки съ желѣзными прутьями, съ крохотными форточками вверху. Черезъ нихъ подавали пищу. А передъ казнью священникъ подходилъ къ клѣткѣ. Онъ показывалъ преступнику чашу съ причастіемъ и черезъ прутья давалъ ему цѣловать крестъ. Для примиренія съ небомъ... Трудно повѣрить, что люди здѣсь

жили годами. Нельзя лежа вытянуть ногъ. Нельзя подняться во весь ростъ.

— И все это дѣлалось во имя Бога и государства,—говоритъ Штейнбахъ.—Подозрѣнія въ измѣнѣ было достаточно, чтобъ похоронить человѣка заживо.

Они медленно идутъ другъ за другомъ, въ тѣсномъ корридорѣ. Клѣтки съ обѣихъ сторонъ. Изъ мрака выглядываетъ то уголъ свода, то желѣзный прутъ... Ихъ пятеро здѣсь, считая гида и сторожа. Но Манѣ чудятся шаги и вздохи, тамъ, за поворотомъ... Это тѣни удавленныхъ во мракѣ: Франциска Каррары и его дѣтей, невиннаго Антоніо Фоскарини, всѣхъ, о комъ вчера говорилъ ей Маркъ... Дрожь бѣжитъ по спинѣ ея.

— Темница Марино Фальери...

Это уже клѣтка для патриція. Встать во весь ростъ нельзя. Своды давятъ. Но можно лежать и ползать. Шаговъ пять въ длину, три въ ширину... Въ углу мраморная плита.

— Онъ здѣсь спалъ, на связкѣ соломы,—говоритъ гидъ.

— Отворите! Я хочу войти...

Она уже тамъ. Ударяется головой о своды и тихонько вскрикиваетъ отъ боли. Фрау Кеслеръ самоотверженно слѣдуетъ за нею. Но застреваетъ въ дверяхъ.

Штейнбахъ черезъ рѣшетку съ трудомъ различаетъ жесты Мани. Она ощупываетъ стѣны, своды. Съ дрожью отдергиваетъ руку. Потомъ опускается на колѣни и ложится на плиту.

— Какъ коротко это ложе! Какъ жестко!.. Холодъ проникаетъ въ меня до мозга костей... А *онъ* спалъ здѣсь!

— Встань сейчасъ! Какое безуміе, Маня!

Они выходятъ изъ клѣтки, сгибаясь всѣмъ станомъ. И темница тонетъ во мракѣ. Беззвучно глотаетъ бархатная мгла свѣтъ фонаря. И такъ трудно дышать, какъ будто кто-то Безликій сжалъ рукою сердце.

Комната пытокъ.

Призрачный свѣтъ скользитъ по ржавымъ кольцамъ въ стѣнѣ. Глухія стѣны. Глухія двери... Крюки повисли съ потолка, и тѣнь отъ нихъ падаетъ на лица вошедшихъ.

„Здѣсь лилась кровь дерзкихъ и гордыхъ, которые безумно любили на землѣ свою грезу и не соглашались мириться съ жизнью...“ думаетъ Маня.

Все прошло. Но ужасъ остался. И еще чудится запахъ крови. Какъ будто стоны притаились тамъ, въ темныхъ углахъ... Уйдутъ живые. И кровь погибшихъ выступитъ на камняхъ. И отъ стоновъ дрогнетъ мракъ.

— Довольно!—говоритъ фрау Кеслеръ.—Я задыхаюсь!

Молча идутъ они по корридору. Штейнбахъ беретъ руку Мани. Какіе холодные пальчики! Онъ подноситъ ихъ къ губамъ въ приливѣ глубокой нѣжности. Но она даже не замѣчаетъ его ласки.

— Отсюда былъ одинъ выходъ — смерть... Гдѣ же они ее встрѣчали?

— Венеціанская республика боялась гласности. Она предпочитала убивать въ тюрьмахъ. Пойдемте за мною! Вы увидите...

Десять шаговъ по корридору направо...

— Здѣсь,—говоритъ сторожъ и останавливается.

У ногъ ихъ ступени. Слѣва, въ стѣнѣ, низкая черная дверь выходитъ на каналъ. Ясно слышится шорохъ воды. Глухо въ этомъ узкомъ пространствѣ звучитъ голосъ гида.

— Глядите подъ ноги! Вотъ пятна крови...

О, какъ много было ея! Ни сырость, ни время не могли смыть этихъ пятенъ.

— На этомъ мѣстѣ,—говоритъ онъ,—заключенному отрубали голову. Трупъ его клали въ мѣшокъ. Вы видите дверь? Ночью подплывала гондола. Въ нее бросали трупъ. И лодочникъ хоронилъ его въ каналѣ Орфано. Тамъ... за лагунами...

Лица ихъ блѣдны, когда они выходятъ на свѣтъ. Въ глазахъ отразился мракъ Безнадежности. До этой минуты они ее не постигали.

— Маня! Ты вся въ пыли... Какая паутина!

— Это пыль исторіи,—блѣдно улыбается Штейнбахъ.

Медленно поднимаются они въ верхнюю галлерею. Колоннада бѣлая, воздушная, вся пронизана свѣтомъ заката...

— Вотъ двѣ колонны краснаго мрамора. Цвѣтъ крови... У насъ черный цвѣтъ—символъ тоски и смерти. Въ Венеціи же онъ былъ моднымъ цвѣтомъ знати... Только палачи и инквизиторы носили красное... символъ ужаса... Когда *Совѣтъ Десяти* выносилъ смертный приговоръ, его читали здѣсь, между этими колоннами. А толпа стояла внизу, на піаццеттѣ...

Фрау Кеслеръ отворачивается съ содроганіемъ.

Рядами стоятъ статуи и бюсты. Великіе люди Италіи, увѣковѣченные въ мраморѣ, слѣдятъ за Маней каменными очами въ гордомъ молчаніи безсмертныхъ.

Она подходитъ къ одному бюсту, пораженная необыкновеннымъ выраженіемъ мрачнаго лица. Крупныя черты, квадратный подбородокъ, линія рта—все дышитъ горделивымъ презрѣніемъ.

„Вотъ сверхъ-человѣкъ, созданный фантазіей Ницше!..“

— Чье это лицо?.. Глаза такіе вдохновенные...

— Это Дантъ,—говоритъ Штейнбахъ.

— Да, это нашъ великій Дантъ... Счастлива страна, имѣющая такихъ поэтовъ!

Кто это сказалъ?.. Маня оглядывается, изумленная... Гидъ благоговѣйно смотритъ въ мраморныя очи и улыбается.

У него расплывшаяся фигура, сизый носъ пьяницы. Грязный фуляръ на шеѣ, засаленный пиджакъ... Но глаза сверкаютъ, и голосъ дрожитъ неподдѣльными нотками восторга, котораго все золото міра не воскреситъ въ опустошенной душѣ.

Фрау Кеслеръ умиленно качаетъ головой и крѣпко жметъ руку итальянца.

— Да... Другая культура,—задумчиво говоритъ Штейнбахъ.

Лицо у Мани странное. Чуждая ея натурѣ печаль какъ бы окутала ея черты, углубила глаза.

Гондола плыветъ домой. И угасаетъ въ небѣ огнистый закатъ.

— О чемъ ты думала сейчасъ, Маня?—спрашиваетъ онъ.

— Когда я состарюсь, Маркъ...—говоритъ она тихо.

— Ты думаешь о старости?—горестно перебиваетъ онъ.

— Да... Вѣдь теперь я не смѣю умереть. Моя жизнь принадлежитъ не мнѣ...

— Ты раньше такъ не говорила...

— Я измѣнилась, Маркъ... И вотъ я думаю. Наступитъ минута, когда у меня будутъ сѣдые волосы, и вся жизнь останется позади. Я буду сидѣть зимой у огня, одинокая... Вѣдь всѣ старики одиноки... И какъ богачъ перебираетъ свое золото, я буду перебирать мои воспоминанія... Они всѣ будутъ храниться въ душѣ, въ такихъ ящичкахъ... одни на донышкѣ... другія сверху... Какъ старыя письма... Я открою одинъ... И опять увижу вотъ этотъ закатъ, фасадъ дворца, воду канала... Мои молодыя грезы... Агату... Твое лицо, Маркъ... Все, что было однажды... и никогда не повторится вновь...

Ея голосъ чуть-чуть дрожитъ.

Штейнбахъ молчитъ, опустивъ голову. И лицо его блѣдно.

XII.

Вечеромъ музыка играетъ на площади Св. Марка.

— Пойдемъ,—говоритъ фрау Кеслеръ Манѣ.—Я стосковалась по людямъ, по шуму. Мы давно не гуляли...

Маня, крѣпко стиснувъ губы, прищуривъ вѣки, обдумываетъ что-то. „Они опять могутъ встрѣтиться... Ну, что-жъ?.. Я не хочу больше лжи! Не хочу удерживать его хитростью. Въ его жалости не нуждаюсь... Пусть!.. Я презирать себя буду, если опять почувствую страданія... Я умру, если онъ ихъ угадаетъ...“

— Милая Агата, я сейчасъ одѣнусь. Взгляни, идетъ ко мнѣ

эта прическа? Моя шляпа?.. Не узка ли моя тальма? Смотри... Я не хочу, чтобъ моя фигура была смѣшной...

— Не бойся... Надо знать, чтобы замѣтить твою полноту...

— Но потомъ, Агата?.. Потомъ?.. Я буду безформенна... Я буду ужасна... Нѣтъ! Я скоро никуда не буду показываться...И Маркъ меня не увидитъ... Мы уѣдемъ съ тобою вдвоемъ, Агата, въ какое-нибудь глухое мѣстечко... Да?

Фрау Кеслеръ ласково цѣлуетъ ея голову.

У кафе Флоріана, на площади, они занимаютъ столикъ. Фрау Кеслеръ сіяетъ. Опять толпа, гулъ, смѣхъ, молодыя лица, музыка, почти весенній воздухъ... Маня какъ-то бурно, неестественно весела. Она все время оглядывается, смотритъ по сторонамъ. Глаза ея пытливо ищутъ въ толпѣ... Она украдкой слѣдитъ за лицомъ Штейнбаха, перехватываетъ его взгляды.

Вдругъ ложка ея звенитъ, ударившись о чашку. Потомъ падаетъ на мостовую. Штейнбахъ нагибается, чтобъ поднять ее.

Она приближается. Высокая, стройная, съ пышными рыжими волосами. Бѣлая, какъ только рыжія могутъ быть бѣлы.

„У нея чудное тѣло! И онъ любитъ его...“ Маня это не думаетъ. Она это какъ-то чувствуетъ всѣми фибрами своего *я*... Сердце ея вдругъ перестаетъ биться на мгновеніе. И въ глазахъ темнѣетъ.

Она не одна. Рядомъ двѣ работницы, черныя и вульгарныя. И двое мужчинъ. Одинъ пожилой, другой моложе. У нихъ разбойничьи лица, съ хищными профилями, худыя, безбородыя; бронзовыя щеки, горячіе глаза. Они всѣ четверо что-то громко, быстро говорятъ и весело смѣются. Но *она* молчитъ. И даже не улыбается. Она смотритъ прямо на Штейнбаха... Съ ожиданіемъ. Съ тайнымъ вопросомъ, полуоткрывъ розовыя губы.

„Онъ ихъ цѣловалъ...“

Они уже рядомъ. Штейнбахъ поднимаетъ голову и видитъ ее.

А!.. Дрогнуло его лицо. На одинъ мигъ, правда. Но оно дрогнуло... Рѣсницы опустились, и головой онъ сдѣлалъ чуть замѣтный знакъ, какъ это дѣлаютъ люди, связанные тайной.

— Ваша знакомая!—наивно говоритъ фрау Кеслеръ.—Почему это она отвернулась?.. Смотрите, какъ она покраснѣла!

Онъ отвѣчаетъ сквозь зубы, не поднимая вѣкъ, глядя на дно чашки, изъ которой онъ пьетъ медленными глотками:

— Не обращайте на насъ ихъ вниманія, фрау Кеслеръ! Она мнѣ жаловалась, что у нея ревнивый мужъ.

Отошли и стали въ сторонѣ. Но близко. Теперь Штейнбахъ къ *ней* спиною. Манѣ видны всѣ *ея* жесты и выраженіе лица. *Она* смѣется... Какъ звонко!.. Но это дѣланный смѣхъ... Она имъ зоветъ его... Оглянется ли онъ?. Что онъ чувствуетъ?

Нѣтъ. Онъ сидитъ спокойно, слегка сгорбившись. Въ его бровяхъ и взглядѣ что-то насторожилось. Но жесты усталые, какъ всегда...

И Маня тоже начинаетъ смѣяться. Истерическими нотками, злыми и отчаянными искрится ея голосъ. Щеки ея вдругъ загораются. Она что-то начинаетъ разсказывать Штейнбаху. Глаза ея засверкали. Надменные, угрожающіе, умоляющіе глаза... Кокетливо, шутливо касается она рукой плеча Штейнбаха. Показываетъ ему кого-то въ толпѣ... Нетерпѣливо бьетъ его по рукѣ перчаткой. Она нарочно подчеркиваетъ свою къ нему близость. „Совсѣмъ прежняя Маня", съ удивленіемъ думаетъ фрау Кеслеръ. „И какая хорошенькая!"

Штейнбахъ внимательно приглядывается, вкрадчиво подаетъ реплики.

Рыжая женщина перестала смѣяться. Она какъ будто только сейчасъ замѣтила Маню, ея близость къ Штейнбаху, ея юность. Растерянно поднялись ея брови... Она что-то разсѣянно отвѣчаетъ подругѣ. Та переспрашиваетъ... Нѣтъ, какъ досадливо она двинула плечомъ!..

Вотъ *она* опять идетъ мимо...

Маня вдругъ перестаетъ смѣяться. Даже не окончила фразы.

Штейнбахъ, не оглядываясь, чувствуетъ близость *той*, другой, за своей спиною. Нервы его напряглись. Онъ глядитъ въ лицо Мани, самъ неподвиженъ, какъ изваяніе. И ясно видитъ ея яркій рѣжущій взглядъ. Ея ротъ, надменно сомкнувшійся...

Такъ вотъ что!.. Онъ опускаетъ голову. Спокойно съ виду покусываетъ ручку трости. Но сердце его стучитъ.

— Хотите еще чего-нибудь?—спрашиваетъ онъ, встрепенувшись. И даже голосъ его измѣнился.

— Нѣтъ! Надоѣло сидѣть,—говоритъ фрау Кеслеръ.

— Prego, pagare!—бросаетъ онъ проходящему гарсону.

Эта минута, пока гарсонъ пишетъ счетъ, и Штейнбахъ расплачивается, кажется безконечной и ему и ей.

Она перешла на другую сторону. И опять стоитъ въ десяти шагахъ. Голоса ея спутниковъ заглушаютъ музыку... Навѣрно глядитъ на него... Опять смѣется? Манѣ нельзя повернуться лицомъ къ ней. Это значитъ выдать себя... Съ головой выдать...

Она встаетъ внезапно и беретъ его подъ руку.

— Пойдемъ скорѣй!—говоритъ она, задыхаясь.

Онъ хочетъ повернуть назадъ. Но она съ необычайной силой тянетъ его навстрѣчу *той*. Какъ тѣсно прильнула она къ нему!..

„Дрожитъ вся?.. Бѣдненькая... Такъ неужели..."

Вотъ онѣ рядомъ, другъ противъ друга. Ихъ платья касаются,

такъ близко проходитъ Маня... Она глядитъ въ это бѣлое, нѣжное лицо, которое доставило ей столько страданій, столько безсонныхъ ночей! Хочется запомнить всѣ его линіи, разрѣзъ сѣро-голубыхъ глазъ, выгибъ устъ ея... все очарованіе этого лица, которое его плѣнило, которое заставило его обмануть, измѣнить любви... втоптать въ грязь ея душу, разбить ея иллюзіи... Навсегда запомнить... Зачѣмъ?.. Ахъ, чтобъ ужъ никогда-никогда не вѣрить!.. Никогда не отдавать души... Не знать униженія... Не плакать... Чтобъ искать свое счастіе и свою силу въ другомъ!..

Штейнбахъ идетъ мимо своей медленной, вкрадчивой походкой. Лицо его безстрастно. Глаза холодно глядятъ поверхъ головы съ рыжими пышными кудрями на колонны Прокураціи.

— О, wie schön, wie stolz! (Какъ хороша, какъ горда!)—говоритъ фрау Кеслеръ, улыбаясь рыжей женщинѣ.

Маня хотѣла бы сдѣлать торжествующее лицо. Хотѣла бы бросить звонкую фразу и безпечно засмѣяться. Но глаза ея полны страха передъ красотой этой простолюдинки. И губы ея, вмѣсто улыбки, застываютъ въ страдальческой гримасѣ...

— Мы можемъ выѣхать завтра, Маркъ?—спрашиваетъ Маня. Она лежитъ одѣтая на софѣ, съ пледомъ на ногахъ. Ее знобитъ, хотя каминъ топятъ съ утра, а на небѣ весеннее солнце. Глаза ея ввалились. Губы высохли.

— Но какъ же мы уѣдемъ, когда ты больна?

— Я здѣсь никогда не поправлюсь...

Фрау Кеслеръ говоритъ ему тихонько въ корридорѣ...

— Она опять не спала всю ночь... Прислушивалась къ чему-то... Бродила... Плакала... И... писала... кажется...

— Что такое?

— Она писала... Я слышала шелестъ бумаги, скрипъ пера...

— Письмо?!

— Н-не знаю... Должно-быть...

Они молча глядятъ другъ на друга.

Послѣ завтрака Штейнбахъ съ напряженной улыбкой говоритъ:

— Одѣвайтесь! Прокатимся въ городъ! Погода чудная... Я уже взялъ билеты, и завтра мы выѣзжаемъ во Флоренцію... Купимъ себѣ на память о Венеціи бездѣлушекъ...

— Вотъ и прекрасно!.. Ну, улыбнись же, дитя мое!..

На Мерчеріа, среди шумной толпы жителей и туристовъ, они стоятъ передъ витринами.

— Маня, что тебѣ хотѣлось бы на память?.. Выбирай,—гово-

ритъ онъ. Въ его жестахъ и лицѣ, сквозь привычную выдержку, проскальзываетъ какая-то тревога, нервность...

Маня видитъ за стекломъ картину: синяя ночь и черный силуэтъ Дворца Дожей... Вотъ она самая, что плѣняла ее въ дѣтствѣ... И въ такую ночь, у этого Дворца, она вдругъ упала съ неба, и душа ея разбилась...

— Агата, купи мнѣ эту картину,—говоритъ она сухо и твердо.— Я повѣшу ее надъ своей головой, какъ другіе вѣшаютъ икону...

— Ты такъ любишь Венецію? Зачѣмъ же мы уѣзжаемъ отсюда?

Не отвѣчая ей, Маня входитъ въ магазинъ. Она спрашиваетъ cartes postales. Передъ нею раскрываютъ картоны... И она все забываетъ... Воспоминанія обступили ее...

— А гдѣ Маркъ?—черезъ полчаса вспоминаетъ она.

— Кажется рядомъ, въ магазинѣ мозаикъ. Онъ ищетъ цѣпочку для Сони...

А Штейнбахъ въ эту минуту читаетъ послѣднюю страницу ея дневника.

Онъ нашелъ его между бѣльемъ, въ старомъ ларцѣ. Нашелъ безъ труда. Маня ничего не подозрѣваетъ, да и ключа нѣтъ въ старой мебели... О, съ какимъ трепетомъ взбѣгалъ онъ по этой лѣстницѣ! Входилъ въ эту комнату, гдѣ она опять плачетъ каждую ночь... Какъ воръ выдвигалъ онъ ящики, раскрывалъ картоны и чемоданы, ища письмо... письмо... Къ кому?.. Конечно, къ Нелидову...

И вотъ... Теперь онъ знаетъ все... Послѣдняя страница дочитана... Тайна Мани раскрыта...

„Пройдетъ мимо чужая женщина съ золотыми волосами... Шутя выдернетъ нижнюю карту... И рухнетъ все.. и...“

Дальше пятна слезъ...

Сердце стучитъ бурно и больно, пока онъ осторожно и ловко, стараясь припомнить, какъ и гдѣ что лежало, прячетъ тетрадку и закрываетъ ее скромными батистовыми рубашками и подштопанными заботливой Агатой черными чулками.

Теперь скорѣй, скорѣй туда!.. Успѣть забѣжать въ магазинъ, купить что-нибудь, усыпить ея подозрѣнія, ея ревность...

— Скорѣй, Томазо!.. Скорѣй!..—говоритъ онъ гондольеру.

Радоваться или нѣтъ этому взрыву ревности?.. Побѣда это или пораженіе?.. Въ его душѣ такой хаосъ!.. Вспоминаются мелочи: ея недомолвки, загадочное отчужденіе, страданія ея... Опять встаетъ въ памяти вчерашняя встрѣча... И этотъ шопотъ ея... И эти полные отчаянія глаза... На мгновеніе бурная радость перехватываетъ дыханіе... Радость дикая, стихійная, въ которой тонутъ раскаяніе и страхъ... Такъ вотъ какъ поняла она его исчезновеніе въ ту ночь, послѣ телеграммы! Совпаденіе странное... О, какъ далекъ

былъ онъ именно тогда отъ чувственнаго бреда, отъ обаянія женщины съ золотыми волосами!.. Но развѣ она повѣритъ?.. Пусть!.. О Нелидовѣ ни намека! Это главное... Вѣдь этого она не проститъ...

На площади, подъ часами, онъ сталкивается съ ними лицомъ къ лицу.

— Откуда вы, Маркъ Александровичъ?

— Я забылъ деньги... Такая глупость!..

— Какъ вы блѣдны!.. Вы больны?

Маня пронзительно глядитъ на него.

— Пойдемте скорѣй!.. Я здѣсь видѣлъ старинныя цѣпочки...

XIII.

Дневникъ Мани.

25-е января. Венеція.

„Завтра мы уѣзжаемъ, и я никогда больше не увижу тебя, Лоренцо... Но я унесу съ собой на всю жизнь память о нашей встрѣчѣ... Ты далъ мнѣ такъ много!.. Знаешь ли объ этомъ ты, недоступный печали и слезамъ?..

„Я была мертвая, когда входила въ твой домъ. У меня была маленькая душа. Меньше кольца на твоей чудной рукѣ, которую я поцѣлую сейчасъ... Поцѣлую въ послѣдній разъ... И здѣсь я проснулась... Жалкая нищая на большой дорогѣ жизни...

„Я плакала передъ тобой, молчаливый другъ. И эти слезы смывали грязь и пыль съ моей растоптанной души... Въ твое лицо глядѣла я часами. Въ твои глаза погружалась я взглядомъ, ища разгадку твоей улыбки, твоего презрѣнія къ людямъ, твоей гордости... Ты зналъ, чего хотѣлъ... Ты зналъ, куда итти... Ты зналъ себѣ цѣну... И въ твоемъ лицѣ я не нашла смиренія. Ты не училъ меня покоряться, мириться на маломъ... Съ благодарностью принять отъ жизни объѣдки, которые она намъ швыряетъ... Ты самъ боролся съ нею за свои желанія. И вырывалъ у нея силой призъ, который слабымъ не достанется никогда... Дитя далекой, безвозвратной эпохи — ты близокъ моей мятежной душѣ!.. Ты любилъ радость, я это вижу по твоимъ губамъ... Но въ чемъ черпалъ ты силы и гордость? Почему не боялся смерти?.. У тебя не было вѣры... Я это знаю... Но что же тогда сдѣлало тебя такимъ неуязвимымъ? О, если бы ты могъ заговорить...

„Сейчасъ приду къ тебѣ... Мнѣ грустно покидать домъ и эти вещи, среди которыхъ ты жилъ... Какъ часто ночью я просыпалась отъ какого-то дыханія на лицѣ моемъ... Сердце билось, и тихо такъ на вискахъ моихъ шевелились волосы... И я знала, что это ты...

„Но я должна уѣхать!.. Я слаба еще и ничтожна... Растоптанной душѣ такъ больно... Не презирай меня! Это послѣдняя слабость...

„Я часто думала: что если бы свершилось чудо, и ты изъ золоченой рамы вышелъ бы въ жизнь? И, смѣясь, вошелъ бы въ эту комнату? И, смѣясь, обнялъ бы меня... Опять живой, жестокій и непостоянный, какъ все, что живетъ... Была бы я счастлива?

„Нѣтъ!.. Что-то враждебное и темное поднимается и сейчасъ въ моемъ сердцѣ при одной этой мысли... Предчувствіе обиды?.. Предчувствіе разочарованія?.. Нѣтъ!.. Я никогда не сказала бы тебѣ про мою любовь!.. Никогда не поцѣловала бы твои прекрасныя уста... Онѣ лгали бы, какъ лгутъ другія... Какъ лгала и я другимъ... Ты не понялъ бы моей высокой любви... Ты втопталъ бы мою душу въ придорожную пыль. Такъ дѣлаютъ живые... Такъ дѣлала я...

„И въ эту ночь, Лоренцо, я даю тебѣ великую клятву:

„Молчаливо замкнувшись въ себѣ, закрывъ глаза на жизнь, буду прислушиваться къ тайному росту моей новой души. Буду ждать терпѣливо, когда выростутъ у нея крылья. Буду съ благоговѣніемъ ждать ихъ перваго божественнаго трепета... О, я вѣрю, что этотъ день недалекъ!.. И эту обновленную, чистую, прекрасную душу я не отдамъ любви!

„Сейчасъ приду къ тебѣ проститься... Сейчасъ повторю тебѣ мою клятву...

Твоя безумная Маня.

Въ послѣднюю ночь въ Венеціи, гдѣ я хороню мое прошлое. И начинаю новую жизнь!.. . . . .

Штейнбахъ не спитъ... Онъ читаетъ въ креслѣ и ждетъ... Онъ гаситъ свѣчу.

Вдругъ гдѣ-то отворяется дверь... Чуть слышно...

Онъ ждетъ, напряженно вслушиваясь. Затѣмъ выходитъ въ корридоръ.

На поворотѣ уже мелькаетъ слабый свѣтъ... Бѣлый фланелевый капотикъ, волна распущенныхъ волосъ... Она его не видитъ...

Онъ крадется за нею. Прячется въ тѣни, сгибаясь за уступами лѣстницы, гдѣ сгустился мракъ. Выжидаетъ за угломъ и быстро скользитъ подъ защиту тяжелыхъ портьеръ...

Маня идетъ твердо, легко, какъ человѣкъ, знающій, что̀ ему нужно...

Вотъ и картинная галлерея. Штейнбахъ притаился въ складкахъ портьеры. Сердце стукнуло... Онъ понялъ.

Маня идетъ все тише... Подходитъ къ портрету. И поднимаетъ свѣчу.

Штейнбахъ не видитъ ея лица, только одну ускользающую линію профиля. Но все краснорѣчиво въ этой позѣ: подавшееся впередъ тѣло, высоко поднятая рука, эта линія сжатыхъ плечъ, эта

запрокинутая головка... Застывшій порывъ... И навѣрно-навѣрно— полуоткрытыя губы. И жадный, знакомый, зовущій взглядъ...

Вдругъ она ставитъ свѣчу на полъ. Вдоль стѣны безмолвно дремлютъ тяжелые табуреты, обитые блеклымъ шелкомъ. Маня придвигаетъ одинъ изъ нихъ... Взявшись руками за тускло поблескивающую раму, она долго-долго глядитъ въ надменные глаза.

— Милый Лоренцо!..—шепчетъ она.

Странно гаснетъ звукъ ея голоса въ пустотѣ зала... Она оглядывается съ испугомъ, всматривается въ лица портретовъ. За нею слѣдятъ насмѣшливые или сердитые глаза.

Все равно!.. Она должна проститься. Должна сказать все...

— Я открою тебѣ мою тайну,—говоритъ она чуть слышно. И сама прислушивается невольно къ дрогнувшей тишинѣ.

— Я любила только разъ... Да, только разъ въ жизни,—повторяетъ она горячимъ звукомъ. И подъ высокими темными сводами голосъ ея дрожитъ, какъ натянутая струна. — Это была картина, какъ и ты. Далекая и прекрасная мечта... Все остальное было ошибкой... Ангелъ и ты!.. И больше никого!..—говоритъ она страстно.

— Кого?—спрашиваетъ проснувшееся эхо.

— Никого!!! — повторяетъ она торжественно и съ страннымъ выраженіемъ угрозы.

Она молчитъ, закинувъ назадъ голову. Гордыя губы улыбаются съ презрѣніемъ изъ золоченой рамы.

— Прощай,— говоритъ она мягко и грустно,—прощай!.. Я никогда не увижу тебя... Ты моя послѣдняя греза... Но сказка кончилась, Лоренцо... Я должна жить...

Голосъ ея жалобно срывается, точно лопнула струна. Она прижалась лицомъ къ полотну. И Штейнбахъ чувствуетъ, что она плачетъ... О чемъ?..

Если-бъ имѣть мужество кинуться къ ней!.. Прижать ее къ груди... Сказать правду... Нѣтъ! Онъ не смѣетъ подойти... Теперь не смѣетъ... Что скажетъ онъ ей въ свое оправданіе?.. А если онъ и найдетъ сейчасъ эти сильныя слова, эти великія мысли, что брошены Яномъ въ его книгѣ, и что съ тѣхъ поръ зрѣютъ въ его собственной душѣ, неоформленныя пока,—пойметъ ли она ихъ теперь?.. Не покажется ли ей въ эти минуты кощунствомъ *то*, что потомъ должно лечь краеугольнымъ камнемъ въ новомъ ея міропониманіи?

„Стихійная сила страданія!.. Ты—вихрь, разбивающій оковы души. Ты—освобожденіе, о которомъ грезилъ Янъ... Вотъ онъ, первый шагъ на высокую башню!.. И не мнѣ удержать тебя на дрожащихъ ступеняхъ...

Она устала плакать. Она озябла. Ея плечи трепещутъ. Порывъ упалъ. Экстазъ исчезъ.

Съ глубокимъ вздохомъ поднимаетъ она голову. Ея руки крѣпко обхватили раму. Долгимъ поцѣлуемъ она приникаетъ къ устамъ мертваго.

„Кто въ его лицѣ?.. Кто?.. Я? Или Нелидовъ?..“

Она идетъ назадъ разбитая, безсильная, еле держась на ногахъ... Свѣча колеблется въ ея рукѣ...

Но это ничего... Пусть!.. Пусть!.. Развѣ не идетъ она на высокую башню, гдѣ каждый шагъ залитъ слезами?.. Но зато каждый шагъ ведетъ къ свободѣ.

Проходя мимо портьеры, она почти касается Штейнбаха. Но сознаніе ея далеко.

На порогѣ она оглядывается. Ищетъ глаза портрета...

Напрасно... Все утонуло во мракѣ.

Штейнбахъ выходитъ изъ своей засады только, когда наверху съ тихимъ пѣніемъ замыкается дверь.

Онъ идетъ къ портрету. Невольно озирается... Потомъ рѣшительнымъ прыжкомъ становится на табуретъ.

Спичка вспыхиваетъ. Блѣдное лицо изъ золоченой рамы улыбается съ презрѣніемъ.

Они глядятъ другъ другу въ глаза...

Онъ жадно ищетъ сходства... Не это ли неумирающее прошлое цѣловала она сейчасъ въ его лицѣ? Не эти ли воспоминанія любитъ она и сейчасъ? Не свою ли жгучую женскую обиду оплакивала она здѣсь такими жаркими слезами?

Спичка гаснетъ.

Онъ медленно крадется назадъ... Онъ не нашелъ сходства съ Нелидовымъ. У него нѣтъ ключа къ загадкѣ.

Сонъ бѣжитъ... Въ окно глядитъ заря. Въ ушахъ звучатъ жестокія слова: „Ангелъ и ты... Все остальное было ошибкой...“

И онъ думаетъ, закрывая усталыя вѣки:

„Она идетъ на башню, и труденъ ея путь... На каждой ступени вверхъ она будетъ терять тѣ цѣнности, съ которыми другія умираютъ, ревниво храня ихъ и завѣщая дочерямъ. Какъ вериги будутъ тянуть ее внизъ эти цѣнности. И она будетъ ихъ кидать, одну за другой... чтобъ было легче итти. Такъ тонущій корабль бросаетъ въ пучину дорогой грузъ.

„Прощай, моя маленькая, моя безумная Маня!.. Еще немного, и ты уйдешь отъ меня совсѣмъ. Впереди ждетъ тебя цѣлая жизнь. Жизнь съ другими... Ждетъ любовь... Любовь другихъ... И ты возьмешь ее, шутя и смѣясь, съ легкимъ сердцемъ... Забудешь,

что плакала когда-то... Бредомъ покажется тебѣ тоска по мнѣ, тоска по другомъ... Всѣ эти страданія любви...

„Иди выше!.. Къ новымъ цѣнностямъ, къ новымъ радостямъ.. Развѣ я не долженъ благословлять эту минуту? Развѣ я не долженъ усыпать цвѣтами дорогу, по которой ты пойдешь навстрѣчу другому?

„Развѣ я не люблю тебя?..“

Маня просыпается внезапно.

...Звучатъ знакомые шаги... Она ихъ слышала не разъ... Но почему теперь они звучатъ такъ громко?..

...О, тише, тише! Домъ проснется. И тайна ея откроется всѣмъ.

...Сердце стукнуло и остановилось...

...„Ты?..“ хочетъ она крикнуть. Но голоса нѣтъ...

...Жуткое оцѣпенѣніе... Она хочетъ встать... Нельзя... Кто-то сковалъ ея руки и ноги невидимой цѣпью...

„Дверь?.. Дверь... Я вѣдь заперла ее!..“

...Но *онъ* уже здѣсь... Она это знаетъ... Опять вѣяніе надъ лицомъ... Сладкій ужасъ блаженства, отъ котораго захватило духъ...

„Развѣ для него есть преграды?“

...Мракъ недвиженъ. Но *онъ* тутъ... Она знаетъ это по трепету своего сердца... Онъ тутъ опять, за пологомъ кровати... Если-бъ повернуться, взглянуть..

„Ты, Лоренцо!“

...Крикнула она?.. Или только хотѣла?

...Она ясно чувствуетъ его рядомъ...

...Онъ склонился надъ нею и положилъ руку ей на грудь...

...И трепещущее сердце замерло. И стынетъ кровь въ цѣпенѣющемъ тѣлѣ...

‚Я умираю...“

...Страхъ ожиданія ледяной волной докатился до мозга.

„Лоренцо... Пощади!..“ хочетъ она крикнуть... Но голосъ исчезъ.

„Это сонъ“... говоритъ кто-то...

...Нѣтъ... Какъ смерть нерасторжимо его объятіе...

...Вдругъ ужасъ радости—огромной, непохожей на земную, вонзается ей въ грудь, какъ мечъ... И разрываетъ ее.

...И сердце ея остановилось...

. . . .

Она кричитъ такъ громко, что всѣ просыпаются.

Широко раскрытыми неподвижными очами глядя въ тьму, она сидитъ, вся дрожа, на постели. И руки ея прижались къ сердцу, которое рвется изъ груди... Сейчасъ разорвется... Не переживетъ блаженства...

...Шаги звучатъ въ корридорѣ...
...Отзвучали за поворотомъ...
...Ушелъ...
Или это стучитъ ея сердце?

. . . .

— Маня... Маня... Отопри... Что съ тобою?—кричитъ кто-то, дергая ручку замка. Полоска свѣта изъ-подъ двери тянется по паркету.

„Это Агата...“

Маня отдергиваетъ занавѣсъ окна. И, шатаясь, идетъ къ другой двери въ корридоръ...

Заперта...

Въ изнеможеніи она прислонилась къ стѣнѣ.

— Что случилось?—слышитъ она голосъ Штейнбаха.

...Чужой, ненужный голосъ... Неужели это тотъ, кто владѣлъ ея думами? Ласки котораго она ждала, какъ нищій подаянія?.. Вотъ *этотъ* за стѣной... Далекій и слабый, измѣнчивый и смертный!

— Маня... Ты испугалась?.. Ты здорова?—доносится чрезъ двери.

Вся пронизанная своимъ огромнымъ счастіемъ, она молчитъ. На рукахъ и ногахъ, еще оцѣпенѣлыхъ и скованныхъ, чувствуетъ она прикосновеніе Того, кто ушелъ...Но душа, освободившаяся отъ блѣдныхъ радостей и мелкихъ печалей земли, трепещетъ и рвется ввысь, въ потусторонній міръ. Лишь Сонъ и Смерть открываютъ намъ его двери... Теперь она это знаетъ.

Какъ разбитая идетъ она къ постели. Падаетъ на колѣни и прячетъ лицо въ подушки.

Она это предчувствовала... Она этого ждала давно... Кто отниметъ у нея эту ночь?..

За грани земного заглянула ея душа. За грани возможнаго ступила она руку объ руку съ Тѣмъ, для кого нѣтъ преградъ... Пусть назовутъ ее безумной!.. Но теперь она знаетъ, какъ вѣщи сны безумцевъ. Она знаетъ, какъ близка любовь отъ смерти... Она знаетъ, что вся дальнѣйшая жизнь не подаритъ ей такого мига...

. . . .

ЧАСТЬ II.

La voix.

. . . .
„...Viens! Oh, viens voyager dans les rêves,
Au-delà du possible, au-delà du connu!"
Je te répondis: „Oui, douce voix!" C'est d'alors
. . . .
...Que je prends très souvent les faits pour des mensonges,
Et que les yeux au ciel, je tombe dans les trous.
Mais la Voix me console et dit: „Garde tes songes!
„Les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous".

Ch. Baudelaire.

I.

— Маркъ... Да это кремлевская башня!—восклицаетъ Маня, останавливаясь на площади Сеньоріи, передъ *Pallazzo Vecchio.*

— Ахъ!.. Ты замѣтила?.. Видишь, какая неприступная крѣпость!.. Нигдѣ въ Европѣ ты не встрѣтишь такихъ зданій. Сейчасъ замѣтно, что здѣсь на улицахъ шелъ бой...

— Послѣ Венеціи какая массивная архитектура! — говоритъ фрау Кеслеръ съ гримасой.

— Да, конечно, но и здѣсь своеобразная красота... Надо только присмотрѣться... А я люблю этотъ мрачный сѣрый цвѣтъ, эту суровость линій... Вся душа мятежныхъ тосканцевъ отразилась въ ихъ зодчествѣ... Маня, гляди наверхъ!.. Ты видишь въ башнѣ, надъ часами, окошечко?.. Говорятъ, что это тюрьма, и что тамъ былъ заключенъ Савонаролла передъ казнью... И на этой же площади его сожгли... А вотъ это камень, на которомъ, по преданію, отдыхалъ Дантъ...

Маня оглядывается съ легкимъ трепетомъ губъ. Въ петлицѣ пальто и въ рукахъ у нея букеты желтой ромашки. Первые цвѣты...

Съ того момента, когда они сѣли въ вагонъ, и поѣздъ помчалъ черезъ перевалъ, черезъ Апеннины во Флоренцію, она почувствовала, что ей легче дышать. Они оставляли за собою холодъ, вѣ-

теръ, сырость. Навстрѣчу имъ несся югъ, весенній воздухъ, солнце.. О, городъ цвѣтовъ и радости! Недаромъ въ твоемъ гербѣ лилія. У кого болитъ душа, кто ищетъ забвенія, бѣгите сюда!

Они остановились во дворцѣ, въ узкой улицѣ, гдѣ даже днемъ въ стычкахъ звенѣли шпаги, гдѣ *бѣлые* сражались съ *черными*, а гибеллины съ гвельфами.

— Я не хочу шума отелей,— пояснилъ Штейнбахъ дамамъ.— Это домъ моихъ друзей. Они сами живутъ въ Парижѣ... Они давно разорились и постоянно сдаютъ въ наемъ этотъ дворецъ... Я снесся съ ними по телеграфу мѣсяцъ назадъ... Не опоздалъ, къ счастію ... За пятьсотъ лѣтъ въ немъ мало что измѣнилось.

Домъ массивный и угрюмый какъ будто дремлетъ и съ суровымъ презрѣніемъ глядитъ на суетность жалкой муравьиной жизни. Развѣ онъ не помнитъ другую? Развѣ не слышитъ онъ ночью крика агоніи, который внезапно прорѣзаетъ тишину? Не видитъ онъ развѣ тѣни убѣгающихъ убійцъ?

Окна здѣсь только наверху, многія въ желѣзныхъ рѣшеткахъ. И тутъ, какъ въ Венеціи, недовѣріемъ и враждебностью вѣетъ отъ стѣнъ. Подъѣзда на улицу нѣтъ, а есть глубокая арка воротъ съ тяжелыми дверями. Черезъ нее днемъ виденъ внутренній дворъ, озаренный висячимъ фонаремъ. Все здѣсь громадно: сѣни, широкая лѣстница, дубовыя, массивныя двери...

— Обрати вниманіе на ручки дверей... Кажется мелочь?.. Или вотъ этотъ канделябръ на стѣнѣ... А вѣдь это художественныя произведенія, работа нѣсколькихъ лѣтъ... Здѣсь жизнь шла широкая, роскошная, но и красивая... Недаромъ они потомки этрусковъ...

— Тебѣ нравится эта статуя?—спрашиваетъ Штейнбахъ Маню, останавливаясь на площади Сеньоріи, передъ лоджіей degli Lanzi.— Римлянинъ похищаетъ сабинянку. Вглядись въ его губы, въ его профиль...

Брови Мани дрогнули. Зрачки разлились.

— Какое жестокое выраженіе!—говоритъ фрау Кеслеръ.

— Еще бы! Вѣдь это *Желаніе*... Сила, созидающая міръ... Сила, не знающая состраданія... Видите, какъ онъ топчетъ ногой убитаго имъ и умирающаго соперника? А она кричитъ и плачетъ о погибшемъ... Но это вздоръ! Она его забудетъ... Она будетъ цѣловать руки убійцы...

— Конечно,—смѣется фрау Кеслеръ.—Онъ такъ красивъ! Но на кого это онъ похожъ? Удивительно похожъ!

— Красивый и жестокій... Развѣ это не все, что нужно для женскаго счастія? Только такихъ и любятъ...

И Штейнбахъ тихо смѣется.

Маня молча переводитъ свой взглядъ со статуи на лицо Марка. Она знаетъ, на кого похожъ этотъ прекрасный римлянинъ... Но напрасно ищетъ Маркъ слѣдовъ волненія въ ея душѣ. Умерло прошлое. Отзвучало... Цѣпи любви сорваны.

Вотъ и старый мостъ, *Ponte Vecchio*... Дома на томъ берегу спускаются прямо въ волны Арно.

— Уголокъ Венеціи,—съ нѣжностью шепчетъ Маня.

Какъ пятьсотъ лѣтъ назадъ, здѣсь стоятъ лавки. И движется веселая, шумная, южная толпа. Они останавливаются въ пролетѣ одной арки.

— Охъ, какой сквознякъ!—говоритъ фрау Кеслеръ.—Пойдемте дальше!

— Одну минуту!.. Оглянись, Маня, внимательнѣе... Когда-то здѣсь въ такое же сверкающее утро Дантъ встрѣтилъ Беатриче.

— Здѣсь, Маркъ?.. Вотъ на этомъ мосту?

— Есть талантливая картина, изображающая этотъ моментъ. Беатриче шла съ подругой. Высокая, блѣдная, съ большими и печальными глазами обреченной... чуждая этому шумному городу, этой крикливой толпѣ... У нея было такое выраженіе, какъ будто черезъ головы этихъ людей она глядѣла въ свой міръ. Сказочный. Недоступный толпѣ...

Ихъ толкаютъ, смотрятъ на нихъ... Почему они замерли здѣсь, на самомъ проходѣ, эти чудаки-русскіе?.. Экспансивные итальянцы смѣются.

— Дантъ увидѣлъ эти глаза и остановился... Подруга Беатриче замѣтила его пламенный взглядъ. Она вызывающе улыбнулась поэту... И дѣвушки прошли дальше. И скрылись...

— И это все, Маркъ?.. Это все?

— Да... Я не знаю, оглянулась ли Беатриче? Видѣла ли она вдохновенное лицо Данта? Поняла ли она все значеніе для него этого мига?.. Легенда намъ этого не говоритъ. Беатриче вышла замужъ. И скоро умерла...

— И это все, Маркъ?—уже шопотомъ повторяетъ Маня.

— И это все,—какъ фактъ и возможность... Но дальше-то и начинается самое важное... Это мгновеніе взяло всю жизнь Данта. Мимолетной встрѣчи было довольно, чтобъ костеръ великой любви запылалъ въ великой душѣ... Дюжинная, быть-можетъ, дѣвушка, съ глазами чахоточной; быть-можетъ, совсѣмъ не стоившая такого чувства, осталась безсмертной въ вѣкахъ... И мы сейчасъ не можемъ говорить о ней безъ волненія... Свою Мечту любилъ въ ней Дантъ. И ей остался вѣренъ...

— О, пойдемте дальше!.. Мы навѣрно простудились..

Медленно идетъ Маня и все оглядывается. Потомъ беретъ руку Штейнбаха. И прижимаетъ ее къ своему сердцу.

Вдругъ фрау Кеслеръ спрашиваетъ съ огонькомъ въ глазахъ:

— И вы думаете, Маркъ Александровичъ, что онъ жилъ аскетомъ и никого никогда не цѣловалъ?

— Я хочу такъ думать, фрау Кеслеръ! Съ этой вѣрой мнѣ легче жить...

Онъ чувствуетъ, съ какимъ трепетомъ, съ какой нервной силой сжимаютъ его руку маленькіе пальчики.

— Но вѣдь это же бредъ, Маркъ Александровичъ! Проглядѣть жизнь, прекрасную жизнь изъ-за видѣнія? Потерять счастіе...

— Кто знаетъ, въ чемъ оно?

— А вы способны на это?—лукаво допрашиваетъ она.

— Я?.. Нѣтъ... Таковъ, какъ я сейчасъ, конечно нѣтъ... Но если бы я жилъ тогда... Мы не герои, фрау Кеслеръ. Мы не люди XIV столѣтія... У насъ другое міросозерцаніе... И мое говоритъ мнѣ ясно: любовь—одно, желаніе—другое... И они могутъ жить одновременно въ душѣ, волнуемой двумя различными образами, двумя чуждыми настроеніями... Иногда, очень рѣдко, эти два чувства сливаются. Но... и тогда вы ясно видите, какъ текутъ рядомъ эти двѣ чуждыя струи... темная и свѣтлая вода нашей любви и нашей чувственности... И мое міросозерцаніе опять-таки говоритъ мнѣ ясно и непоколебимо: нѣтъ низкихъ чувствъ. Нѣтъ грязныхъ желаній. Всѣ одинаково цѣнны. Всѣ прекрасны и полны значенія. Всѣ они голоса природы, которая не лжетъ и требуетъ своего права...

Маленькая ручка замерла недвижно у его руки. Широко раскрывъ глаза, она слушаетъ звукъ его голоса, его слова. И ищетъ въ этихъ словахъ темныя тропинки, по которымъ она брела въ прошломъ, повинуясь голосамъ своей загадочной души...

Куда выведутъ ее теперь эти таинственныя тропы?

Каждый день Маня бѣжитъ поклониться этому мѣсту. Съ этого начинается ея день. Но къ loggia degli Lanzi она не подошла ни разу...

„Въ рукахъ Нелидова и я была бы, какъ эта сабинянка. Душа ея истекаетъ кровью. Но развѣ онъ видитъ эту душу? Онъ цѣлуетъ ея губы, обнимаетъ ея тѣло. Развѣ это не все, что нужно для любви?.. И какъ она, униженная и покорная, отвѣчаетъ на его ласки, такъ и я любила бы свои униженія. Нѣтъ!.. Съ этимъ покончено... Навсегда!“

Послѣ завтрака они спѣшатъ въ музеи и въ церкви. Надо видѣть все, о чемъ они читали въ Венеціи!.. Они часами сидятъ въ капеллѣ Бранкаччи, изучая фрески Мазаччіо и Филиппино Липпи... Какъ хорошъ этотъ Липпи!.. Они въ Баптистеріи стоятъ передъ дверями

работы Гиберти, которыя, по словамъ его современниковъ, достойны быть дверями рая. Загадочное, ни на что не похожее зданіе когда-то языческаго храма навѣваетъ такое странное настроеніе!.. Здѣсь были этрусскія могилы. Здѣсь вѣетъ безмолвіемъ кладбища... А рядомъ воздушная campanile работы Джіотто. Съ восторгомъ когда-то смотрѣли на нее глаза, давно превратившіеся въ прахъ; глаза величайшаго властителя міра послѣ Александра Македонскаго и Юлія Цезаря. Богатство, власть, почетъ онъ промѣнялъ на тишину монастыря. Роскошное ложе на гробъ схимника... Онъ ушелъ отъ людей и жизни разочарованный, усталый, одинокій и загадочный, какъ его безумная мать... Въ глубокой тоскѣ о томъ, чего нѣтъ, что безсильна дать жизнь... Великая, могучая жизнь... Въ потусторонній міръ глядѣли ихъ жадныя очи,—куда не дано заглянуть толпѣ...

Они ѣдутъ въ загородный садъ, на берегу Арно. Маня идетъ къ бассейну съ золотыми рыбками. Стаями подплываютъ онѣ, заслышавъ скрипъ шаговъ по гравію. Онѣ ждутъ хлѣба... О, милыя, таинственныя созданьица!

Платаны еще не распустились. Но лавровыя аллеи такъ зелены и пышны! Тишина и безлюдіе царятъ въ паркѣ. Изрѣдка только встрѣтишь торопливую парочку влюбленныхъ. Или нянька провезетъ въ колясочкѣ младенца. Либо мелькнетъ вдали, на широкомъ просѣкѣ, фигура амазонки... Публика придетъ сюда смотрѣть закатъ солнца. Наполнитъ всѣ аллеи стрекотаньемъ и смѣхомъ. Спугнетъ тишину и дрему...

Но они уйдутъ тогда, чтобъ ни съ кѣмъ не встрѣчаться.

Въ лодкѣ они переплываютъ на другой берегъ. Потомъ ѣдутъ вверхъ по аллеямъ, выходятъ на площадкѣ Микель-Анджело... И вся Флоренція смѣется имъ навстрѣчу... Вонъ изъ золотистой пыли поднимаются зубцы Стараго Дворца, и сверкаютъ часы на башнѣ... Вонъ грандіозный куполъ надъ соборомъ и ажурная колокольня...

Они садятся. Подходитъ знакомая цвѣточница. Штейнбахъ покупаетъ у нея всю корзину. Маня ликуетъ, хохочетъ. Всѣ букеты онъ кладетъ у ея ногъ, на колѣни ея, рядомъ, на скамью... Она рветъ завязки... Это цѣлый дождь цвѣтовъ. Каждый день несетъ ей новые. Какъ опьяненная глядитъ она на нихъ, любуется сочетаніемъ красокъ, вбираетъ въ себя смѣшанный ароматъ, съ закрытыми глазами угадывая индивидуальность каждаго, даже тѣхъ, которые пахнутъ одной свѣжестью... Она страстно цѣлуетъ цвѣты, говоритъ съ ними, какъ съ живыми существами. И голосъ ея нѣженъ и глубокъ... Потомъ, вскрикнувъ, она хватаетъ ихъ пригоршнями и погружаетъ въ нихъ лицо.

— Это даже не культъ... Это какая-то оргія,—замѣтно блѣднѣя, сквозь зубы говоритъ Штейнбахъ. И лицо у него злое

— Сумасшедшая!—смѣется фрау Кеслеръ.

— Читай, Маркъ! Здѣсь можно только слушать стихи или... признанія...

И Штейнбахъ читаетъ ей стихи Данта и Петрарки. Она учится по-итальянски. Она не все понимаетъ, но наслаждается музыкой словъ.

Царя надъ всѣмъ городомъ на своемъ мощномъ пьедесталѣ, чернѣетъ предъ ними гигантская фигура Давида.

Маня долго смотритъ на него.

— Онъ тебѣ нравится?—съ усмѣшкой спрашиваетъ Штейнбахъ.

— Н-нѣтъ...

— Почему?.. Ты, кажется, любишь такихъ?.

— Что это значитъ „такихъ"?

— Ты разглядѣла его лицо? Въ немъ нѣтъ жалости...

Лѣвая бровь Мани лукаво подымается.

— А вѣдь ты меня преслѣдуешь, Маркъ... Ха!.. Ха!.. Ты замѣчаешь, Агата? Онъ что-то затаилъ...

Всѣ смѣются съ облегченіемъ. Вдругъ Маня серьезно говоритъ:

— Нѣтъ, онъ мраченъ и жестокъ... Я Давида понимаю иначе... Хочешь, объясню?—робко спрашиваетъ она.

— Конечно... — Онъ встрепенулся, такъ задѣлъ его звукъ ея голоса. Она бросаетъ цвѣты, обнимаетъ свои колѣни и, глядя въ небо, говоритъ:

— „Вотъ я — маленькій, невѣдомый міру пастухъ — иду навстрѣчу Голіаѳу... Навстрѣчу жизни, жестокой и всесильной. Во всеоружіи стоитъ она передо мною. Глаза ея таинственны, полны возможностей... На губахъ играетъ усмѣшка. Но я уже не вѣрю ни обѣщаніямъ ни улыбкамъ! Я бросаю ей вызовъ.. У меня нѣтъ ничего, кромѣ вѣры въ себя и мечты... Но эту Мечту я поднимаю, какъ талисманъ, надъ жизнью. Какъ панцыремъ одѣваюсь моей гордостью я,—маленькій невѣдомый пастухъ... Но я иду съ вѣрой въ побѣду. И пасть не могу..."

Штейнбахъ внимательно смотритъ на нее. Экстазъ въ ея голосѣ и лицѣ онъ уловилъ. Онъ пораженъ.

— Ты... этого вдохновенія въ его лицѣ не видишь?

— Нѣтъ..

II.

Они живутъ уже двѣ недѣли во Флоренціи. Осмотрѣли въ церкви Санта-Аннунціата фрески Андреа дель Сарто. Въ академіи видѣли картины фра Анджелико, Боттичелли и всѣ сокровища флорентинской школы. Маню поразило лицо Савонароллы, котораго его другъ фра Бартоломео вдохновенно изобразилъ въ апостолѣ

Петрѣ, въ моментъ его казни. Въ этихъ глазахъ она увидала отблескъ иного солнца, которое свѣтитъ безумцамъ и поэтамъ... Объ этихъ видѣніяхъ они говорятъ толпѣ. А толпа смѣется...

Еще сильное впечатлѣніе въ капеллѣ Медичи, передъ статуями Микель-Анджело. Маня съ волненіемъ прослушала исторію его жизни, его роль въ борьбѣ республики за свободу, его горечь и разочарованія, когда Медичи отняли у Флоренціи послѣдніе остатки независимости... И какъ ясно стало ей тогда значеніе его отвѣта, выгравированное имъ на мраморѣ, у подножія *Ночи:*

Grato m'é 'l sonno e più l'esser di sasso,
Mentre che l'danno e la vergogna dura.
Non veder, non sentir m'é gran ventura.
Prego non mi destar! Deh... parla basso!

(Мнѣ сладки сонъ и безмолвіе камня. Какое благо не видѣть, не чувствовать въ эти суровые дни! О, не буди меня... Молю, говори тише!)

А рядомъ, въ круглой залѣ усыпальницы, смѣялась и галдѣла толпа туристовъ.

— Довольно!—говоритъ Штейнбахъ за обѣдомъ.—Надо цѣлую жизнь, чтобы все это осмотрѣть и изучить. А я боюсь за тебя, Маня... Завтра мы уѣдемъ въ Римъ...

Она глядитъ вдаль, и взоръ ея туманенъ.

— Ты любишь Юлія Цезаря, Агата?

— Что такое?—Фрау Кеслеръ роняетъ вилку.

— У Тургенева есть повѣсть *Призраки*... Когда мнѣ было семь лѣтъ, я рыдала... Зачѣмъ у меня нѣтъ крыльевъ, чтобъ полетѣть въ Римъ?.. И теперь я ѣду туда... Но меня манитъ не столько городъ, какъ равнина... Вотъ эти болота, надъ которыми поднялась сѣдая голова... Помнишь въ *Призракахъ*, Маркъ? Я слышала... клянусь тебѣ, я слышала, когда читала ночью, этотъ топотъ легіонеровъ, этотъ лязгъ оружія... Маркъ, неужели я увижу Аппіеву дорогу? Волчицу... чудную волчицу?

— Маня,—говоритъ Штейнбахъ,—я хочу, чтобы ты унесла послѣднее воспоминаніе о Флоренціи... непохожее ни на что, видѣнное до сихъ поръ...

— Что такое? У меня сердце забилось...

Они ѣдутъ въ коляскѣ, по берегу Арно. Пустынно и тихо кругомъ. Вдали деревья какого-то сада. Солнце только что сѣло. И фонари не зажигались. На востокѣ уже погасли рдяныя облака, а западъ сталъ блѣдно-зеленымъ. Черезъ рѣку, на другомъ берегу, огромнымъ грибомъ мелькнулъ безвкусный памятникъ Демидова.

— Здѣсь,—говоритъ Штейнбахъ и дѣлаетъ знакъ кучеру.

Они подходятъ къ группѣ изъ бѣлаго мрамора.

На баррикадѣ съ знаменемъ въ рукахъ сражается юноша. Вдохновенно и прекрасно его лицо, его взглядъ, поднятый къ небу... Онъ бросаетъ вызовъ судьбѣ... Но смерть настигла его... Товарищи подхватили знамя, падающее изъ рукъ. Другіе поддерживаютъ тѣло. Всѣ они юные. Но они тоже смѣло глядятъ въ лицо смерти, въ лицо неизбѣжному. Несогласные смириться. Несогласные уступить натиску жизни и реальной силѣ свою хрупкую, неосуществимую Мечту.

Штейнбахъ говоритъ, невольно понижая голосъ:

— Ты взволнована, я это чувствую... Ты не забудешь эти лица... Не думаешь ли ты, что только венеціанскіе патриціи XV вѣка умѣли ярко жить? Что только люди Ренессанса умѣли умирать красиво и гордо? Вотъ передъ тобою гарибальдійцы... Простыя дѣти народа... Но какъ львы дерутся они съ тиранами и радостно гибнутъ за свободу.

Полоска на небѣ темнѣетъ. И пепельнымъ налетомъ, какъ смертной тѣнью, перекрываются мраморныя черты. Какъ будто жизнь дѣйствительно уходитъ изъ этихъ лицъ... Жутко...

„Ангелъ и ты... И больше никого!..." звучитъ въ душѣ Штейнбаха... Онъ видитъ передъ собой лицо графа Манцони, которое такъ страстно цѣловала Маня. Это надменное, жестокое лицо... Въ его глазахъ, въ его улыбкѣ она искала разгадку, какъ принять жизнь, какъ одолѣть ее? Съ этимъ помириться онъ не можетъ.

— О, Маркъ!.. Благодарю тебя, что ты мнѣ показалъ ихъ...

— А ихъ силу и цѣльность ты чувствуешь, Маня?

— Да... да... У меня горло сжимается... отъ слезъ... О, умереть такъ... Съ такой вѣрой и... радостью...

Ея губы дрожатъ. Голосъ срывается.

„Она скоро забудетъ тебя, Лоренцо. Объ этомъ постараюсь я..."

Когда они садятся въ коляску, и Маня оглядывается въ послѣдній разъ на памятникъ, она видитъ надъ нимъ высоко въ небѣ первую зеленую звѣзду.

III.

Они ѣдутъ въ Римъ.

Въ одномъ вагонѣ съ ними сидитъ молодой итальянецъ, провинціалъ. Это его первый выѣздъ въ столицу; быть-можетъ, первое путешествіе въ жизни. И онъ замѣтно волнуется. Фрау Кеслеръ старается опредѣлить его соціальное положеніе.

— Помѣщикъ,—говоритъ она.

— Чиновникъ,—споритъ Штейнбахъ.

— Нѣтъ, приказчикъ изъ книжнаго магазина,—спокойно воз-

ражаетъ Маня. И всѣ смѣются. Дѣйствительно... Какъ они не угадали сразу, что это приказчикъ?

Онъ весь обложился гидами, картинами, картами. Онъ жадно читаетъ близорукими глазами, смотритъ въ бинокль на мелькающі вдали города и соборы. И когда книга объясняетъ ему торгово или историческое значеніе какого-нибудь мѣстечка, на лицѣ ег мелькаетъ блаженная улыбка.

— Онъ навѣрно пишетъ стихи,—говоритъ Маня.—Стихи плохіе но онъ надъ ними плачетъ.—И опять всѣ смѣются.

У него сосѣдка, рыжекудрая, долгоносая итальянка съ вес нушчатымъ блѣднымъ лицомъ. Она изящно одѣта, вся въ чер номъ. У нея безпомощные жесты и умоляющіе глаза. На рукахъ у нея младенецъ. Толстый, капризный, невыносимый. Она то кор митъ его, прикрывъ обнаженную грудь кружевнымъ шарфомъ; т обертываетъ его въ сухія пеленки; то звенитъ надъ его носикомъ погремушкой. И молящими глазами все глядитъ на сосѣдей, осс бенно на молодого человѣка. Она какъ бы проситъ прощенія з то, что она мать...

— Прелестное личико!—говоритъ фрау Кеслеръ.—Когда он кормитъ, она похожа на Мадонну. Взгляни: у нея такая тонка кожа, что она краснѣетъ отъ всякаго движенія... Но почему он такъ боится своего мужа? Неужели онъ—тиранъ?

— Какой мужъ?—спрашиваетъ Маня. И лѣвая бровь у не подымается.

— Ну, вотъ этотъ... поэтъ...

— Онъ ей совсѣмъ чужой. Для мужа онъ слишкомъ вѣжливъ

Въ вагонѣ становится душно. Всѣхъ жарче молодому человѣку Солнце съ его стороны. Онъ красенъ, обмахивается платкомъ.. Вскакиваетъ, выходитъ, возвращается... съ лицомъ мученика. Италь янка глядитъ на него виноватыми глазами Розовый младенецъ н ея колѣняхъ растянулся и крѣпко спитъ, весь въ испаринѣ... Маня внимательно смотритъ на него.

Вдругъ она чувствуетъ на себѣ взглядъ Штейнбаха. Она крас нѣетъ и отворачивается, стараясь сдѣлать равнодушное лицо.

— Отворить окно?—спрашиваетъ Штейнбахъ итальянца. Но онъ дѣлаетъ жестъ, полный мрачной покорности судьбѣ, и бросаетъ одно только слово:—Bambino! (Младенецъ!)—И взглядъ...

Маня смѣется.

— Вотъ видишь!—торжествуетъ фрау Кеслеръ.—Неужели онъ сталъ бы жалѣть чужого ребенка?

— Ты забываешь, что онъ поэтъ? И что у него нѣжная душа...

Черезъ два часа итальянка надѣваетъ широкополую кружевную шляпу. Одной рукой она поддерживаетъ мальчика, другой

беретъ корзину. Она тяжела. И поэтъ моментально вырываетъ ее изъ рукъ итальянки. Она краснѣетъ, лепечетъ:—Grazie, signore!

Поэтъ бѣжитъ за нею, ставитъ корзину на платформу маленькой станціи. И на прощаніе вѣжливо приподнимаетъ шляпу. А въ это мгновеніе подбѣгаетъ сильная лошадка, и всѣ видятъ, какъ смуглый толстякъ въ соломенной шляпѣ бросаетъ вожжи кучеру и вылѣзаетъ изъ экипажа.

— Вотъ и мужъ!—говоритъ Маня.—И, какъ всегда, опоздалъ...

Уфъ!.. Какое блаженство! Всѣ окна открыты настежь, и сквознякъ гуляетъ по вагону.

Поѣздъ останавливается опять у маленькой станціи, полной народа. Какое странное волненіе! Газетчика рвутъ на части.

— *Fanfulla... Corriere della Sera...*—охрипшимъ голосомъ выкрикиваетъ онъ и звенитъ мѣдяшками.

— Terramoto!—въ ужасѣ кричитъ кто-то въ пространство.

— Que?—Нѣсколько головъ высовываются изъ окна вагона. Всѣ вскакиваютъ на ноги.

— Terramoto in Catagna!—отвѣчаютъ съ платформы.

Лица блѣднѣютъ...

— Что такое?—встрепенувшись, спрашиваетъ фрау Кеслеръ.

— Землетрясеніе въ Катаньѣ,—отвѣчаетъ на ходу Штейнбахъ. Онъ тоже идетъ за газетой.

Въ одинъ мигъ сумка газетчика опустошена. Главный кондукторъ, забывъ о поѣздѣ, пробѣгаетъ телеграммы. Жестикулируя и волнуясь, онъ страстно лопочетъ что-то подбѣжавшему машинисту. Трескучій, сухой, быстрый говоръ... Точно сыплютъ горохъ изъ мѣшка. „Только въ пѣніи и декламаціи красивъ этотъ языкъ“, думаетъ Маня. „А въ скороговоркѣ онъ невозможенъ“.

— Partenza!—вдругъ вспомнивъ о поѣздѣ, оретъ главный кондукторъ... Но машинистъ еще не дочиталъ телеграммы и не доспорилъ о чемъ-то съ начальникомъ станціи. Поѣздъ ждетъ. Однако никто не претендуетъ на это. Въ вагонѣ и на платформѣ гулъ, какъ въ ульѣ.

— Благословенная патріархальность нравовъ!—говоритъ Штейнбахъ.—Это одно уже иллюстрируетъ передъ вами бѣдность и отсталость народа. Попробуйте-ка это сдѣлать въ Америкѣ, гдѣ отъ замедленія поѣзда или телеграммы можно нажить и потерять милліоны!

Двинулись наконецъ.

— Возможно, что въ Римѣ не найдемъ свободныхъ комнатъ,—вскользь бросаетъ Штейнбахъ.

Фрау Кеслеръ машетъ рукой и смѣется.

— Вы не вѣрите?.. Вы не хотите считаться съ паническимъ ужасомъ толпы? Вчера ночью уже было два толчка.

Солнце зашло. И южныя сумерки быстро спускаются и кутаютъ горизонтъ темнымъ вуалемъ. Тяжелый бѣлый туманъ ползетъ надъ землею. Поѣздъ ѣдетъ среди безконечной, унылой равнины.

— Кампанья,—говоритъ Штейнбахъ.—Царство маляріи.

Сердце Мани глухо бьется. Она смотритъ въ это волнующееся море молочнаго тумана, который курится надъ лугами. Здѣсь когда-то, въ камышахъ, бродилъ и прятался великій, несчастный Марій, спасаясь отъ Суллы. Здѣсь бились и гибли варвары. Здѣсь родилась имперія. Выросъ и расцвѣлъ кровожадный, хищный народъ-властелинъ. И даже двадцать вѣковъ спустя, человѣчество не можетъ стряхнуть съ себя этотъ кошмаръ. Въ нашихъ законахъ, нашихъ нравахъ и мысляхъ еще чувствуется холодъ желѣзной эпохи, суровое презрѣніе Цезаря къ страдающей и мыслящей личности.

Маня глядитъ, прильнувъ къ окну. Ей чудится полетъ загадочной Эллисъ надъ сѣдой равниной. Блескъ копій римскихъ легіоновъ. Голова Цезаря въ лавровомъ вѣнкѣ... Все это было здѣсь...

Ночь падаетъ. Приказчикъ высунулся изъ окна, навстрѣчу рѣзкому вѣтру, и нетерпѣливо глядитъ впередъ. Вдругъ онъ оборачивается и взволнованно кидаетъ въ пространство, не въ силахъ, очевидно, сдержать напора чувствъ, одно только слово:

— Aqueducque...

— Гдѣ? Гдѣ?—по-русски кричитъ Маня, подбѣгая.

Онъ смотритъ на нее потемнѣвшими глазами, безъ удивленія, сочувственно, какъ глядятъ на единомышленниковъ. И повторяетъ по-итальянски:—Развалины акведука... Тамъ...

Онъ показываетъ рукою налѣво, вдаль. Затѣмъ, снова стиснувъ виски ладонями, онъ вглядывается въ сумракъ. Маня стоитъ рядомъ.

Вотъ... Внезапно, совсѣмъ близко отъ рельсовъ, на ровной глади пустыни, изъ сѣраго полумрака встаетъ онъ,—грандіозный, величавый, безсмертный свидѣтель минувшаго.

Рухнула имперія. Исчезла раса. Двѣ тысячи лѣтъ пронеслись надъ пустыней и смели все, что жило... всѣхъ, кто повелѣвалъ, боролся, страдалъ и мыслилъ... Камни остались. Камни какъ бы дремлютъ. И говорятъ удивленному путнику: „Мы ничего не забыли. Мы знаемъ все...“

Изъ полумрака уже явственно выступаютъ громадные силуэты руинъ. Стройныя арки, чудовищные пролеты, полуобвалившіяся колонны...

Видѣніе мелькнуло. Скрылось...

Но вонъ вдали опять тянется стѣна. Остатки другого акведука.

Сикстъ V работалъ надъ его реставраціей. Время разрушило и его труды...

Въ падающей ночи исчезаетъ послѣдній призракъ.

Съ глубокимъ вздохомъ поэтъ отрывается отъ окна. Теперь онъ довѣрчиво смотритъ на Маню. У обоихъ блуждающая улыбка. Въ эту минуту они такъ близки...

Огни Рима сіяютъ имъ навстрѣчу.

IV.

Предчувствія Штейнбаха сбылись. Вѣсть о землетрясеніи задержала въ Римѣ тысячи туристовъ, спѣшившихъ на югъ. А южные поѣзда изъ всѣхъ городовъ несли цѣлыя волны вспугнутыхъ пассажировъ. Путешественники какъ лава наводнили столицу. И когда ихъ поѣздъ прибылъ ночью, всѣ отели Рима были заняты.

— Это невѣроятно!—говоритъ фрау Кеслеръ, разводя руками.— Нѣтъ, туда мы не поѣдемъ... Мы не можемъ платить по 25-ти рублей за ночь... У насъ нѣтъ средствъ...

— Я не вижу другого выхода. Не предполагаете же вы спать на бульварахъ... Cocchiere, везите насъ, куда хотите... Въ какое-нибудь albergo... Быть-можетъ, за городъ...

Добродушный итальянецъ соображаетъ минуту. Потомъ съ лукавой усмѣшкой подымаетъ два толстыхъ грязныхъ пальца.

— Due lire, signore!..

И, получивъ согласіе, онъ удовлетворенно щелкаетъ бичомъ. Они мчатся обратно, къ центру города.

Вотъ площадь Пантеона. Монументальная, мрачная громада съ круглой крышей, какъ символъ слѣпой, безликой и давящей силы, встаетъ передъ ними внезапно, на поворотѣ изъ узкаго переулка. Это „Бани Агриппы"... „Римъ... Римъ..." стучитъ сердце Мани.

Ландо останавливается на маленькой квадратной площади съ обелискомъ посрединѣ. За рѣшеткой бьетъ фонтанъ. Кругомъ Пантеона дома. Все постройки XVI столѣтія. На стѣнахъ сохранились блѣдныя фрески Ренессанса. Словно сны былого

У скромной гостинницы *Cinque-Cente* кучеръ соскакиваетъ съ козелъ. Онъ кричитъ и звонитъ. Уже полночь, все спитъ... Навѣрно и тутъ все занято.

— Но, если и свободно, бойтесь насѣкомыхъ...

— Кого??—Фрау Кеслеръ подпрыгиваетъ на сидѣньѣ.

— Въ Италіи спать можно безнаказанно только въ первоклассныхъ отеляхъ...

— О, Боже мой!—Фрау Кеслеръ совсѣмъ пала духомъ.

Огни мелькаютъ въ домѣ. Такъ и есть!.. Хозяинъ объявляетъ,

что у него, къ счастію, найдется еще одна комната. Но здѣсь говорятъ только по-итальянски. Если синьоры знаютъ языкъ...

— Да... да...

— Но, signor, комната дорога... Очень...

— Да... да... На эту ночь уступите мнѣ вашу собственную спальню... Завтра столкуемся... У насъ нѣтъ выбора.

Хозяинъ, смуглый, желчный, быстрыми глазами окидываетъ пріѣзжихъ. Лицо и голосъ Штейнбаха импонируютъ.

И вотъ они въ домѣ, которому 400 лѣтъ. Внутри, какъ въ Помпеѣ, квадратный дворъ съ заглохшимъ фонтаномъ, съ цвѣтникомъ. Крытый корридоръ идетъ кругомъ всего зданія. Изъ него двери ведутъ въ внутреннія комнаты. Все изъ мрамора: полы, столы, стѣны, подоконники. Дерева почти нѣтъ.

— Ахъ, слава Богу!—говоритъ фрау Кеслеръ, входя въ большую, свѣтлую комнату.—Есть и кровати и умывальникъ... Я думала, что и спать придется на мраморныхъ плитахъ...

Но Манѣ противно глядѣть на эту мѣщанскую меблировку отеля средней руки. Ее утѣшаютъ только выцвѣтшія фрески на стѣнахъ и потолкѣ.

Фрау Кеслеръ спитъ, а она, дрожа въ одной рубашкѣ, на босу ногу, все глядитъ на нихъ, высоко поднявъ свѣчу.

Съ утра сѣетъ дождь. Городъ окутанъ туманомъ.

— Я продрогла!—жалуется фрау Кеслеръ Штейнбаху.—Какое убожество! Ни печей, ни электричества, ни звонковъ...

— Чего же вы хотите? Но зато это домъ Ренессанса...

— И горничной нѣтъ... Подумайте... Не успѣла я отворить двери, какъ ко мнѣ влѣзъ какой-то бородатый мужикъ...

— Спарафучило,—смѣется Маня.

— И начинаетъ оправлять постели... Ха!.. Ха!.. Онъ здѣсь за горничную... А вода ледяная. И горячей нѣтъ нигдѣ... И все изъ мрамора, Маркъ Александровичъ! Это ужасно...

Всѣ смѣются.

— Я никогда въ жизни не видѣла такихъ первобытныхъ условій... Нѣтъ самыхъ элементарныхъ понятій о чистотѣ... Да кто же здѣсь останавливается?

— Провинціалы, небогатые люди...

— Гдѣ же вы-то спали, несчастный?

— Хозяинъ уступилъ мнѣ собственную спальню...

— Безъ жены?

— Съ пухомъ въ волосахъ и въ блузѣ она испуганно пробѣжала мимо меня и унесла подушки безъ наволокъ...

— Боже! Какая грязь!.. Что мы будемъ дѣлать?

— Поѣду сейчасъ искать отель!..

— Ни за что!—говоритъ Маня.—Я хочу видѣть форумъ. Я не спала всю ночь...

— Маня, въ такой дождь...

— Все равно! Мы надѣнемъ плащи... У насъ есть зонтики...

— Нѣтъ, лучше въ музей, Маня... Сперва взглянемъ въ лица цезарей...

— Что это за кофе? Что это за скатерти?—ужасается фрау Кеслеръ, „горошкомъ" вскакивая изъ-за стола.—Я не могу ѣсть... Пойдемте въ кофейню...

— Агата, взгляни въ окно!.. Портикъ... Настоящій портикъ греческаго храма. Знатные римляне гуляли тутъ вокругъ обелиска... Здѣсь, мимо насъ, проходилъ Рафаэль... Онъ видѣлъ эти стѣны... И подъ этими сводами лежитъ его прахъ... Здѣсь, быть-можетъ въ этомъ самомъ домѣ, жили друзья его, знакомые... Онъ глядѣлъ въ окно... вотъ въ это самое... И кланялся дѣвушкѣ, которая посылала ему поцѣлуи и взгляды, полные восторга... И ты хочешь все это промѣнять на банальный комфортъ англійскаго отеля? А ты забыла о туристахъ?.. Дорогая, останемся здѣсь!.. Посмотри на эти фрески... А въ корридорѣ я видѣла картину: Сатиръ бѣжитъ за нимфой... Такъ наивно, такъ дерзко... Милая Агата...

— Ахъ, Маркъ Александровичъ!.. Придется остаться... Ха!.. Ха!.. Ха!.. Это послѣ вашего палаццо въ Венеціи?.. Послѣ рая во Флоренціи...

— Все имѣетъ свою прелесть... Я понимаю Маню...

— Скорѣе въ кафе!.. А оттуда къ Цезарямъ... Маркъ, куда ты пошелъ? Папиросы?.. Не надо папиросъ!.. Мы теряемъ время...

Голосъ ея звенитъ, трепещетъ.

„Прежняя Маня?.. Нѣтъ. Новая..." думаетъ Штейнбахъ. „Эта не будетъ несчастна."

— Вотъ они!—говоритъ Штейнбахъ, минуя залы музея и входя въ длинную галлерею Императоровъ.—Начнемъ съ главнаго... Ты не должна уставать... Видишь это дитя?

— О, прелестное личико! Кто это, Маркъ?

— Неронъ...

— Возможно ли?—Фрау Кеслеръ всплеснула руками.—Такіе невинные глазки?

— А вотъ онъ уже въ юности... Съ бородой... Она была рыжая.

— Онъ красивъ, Маркъ...

— Да, глаза и надбровныя дуги прекрасны. Дѣйствительно видно, что у него были выдающіяся музыкальныя способности.

— Но затылокъ...

— Ахъ, Агата!

— Нѣтъ, ты взгляни на этотъ затылокъ и шею! Отвращеніе...

— А вотъ Неронъ десять лѣтъ спустя...

— Онъ отвратителенъ,—шепчетъ Маня.

— Не правда ли?... Все возвышенное и духовное, что теплится въ глазахъ ребенка, всѣ возможности въ лицѣ талантливаго юноши, — пропали безслѣдно. И выступили пороки. И обострились черты дегенеранта... Это взглядъ преступника... Это ротъ звѣря... Безобразный подбородокъ разрушилъ линію овала, послѣдніе остатки красоты... Теперь взгляните на женщину, которую онъ любилъ... Поппея Сабина.

Крикъ восторга срывается у Мани... Она видитъ маленькую головку, точеное личико, правильное, какъ у камеи, очаровательное и невинное... Ни тѣни сладострастія или жестокости... На плечахъ у нея мантія изъ драгоцѣннаго оникса, какъ на бюстахъ цезарей...

— Теперь хочешь видѣть Калигулу? Иди сюда...

— Воображаю, какое чудовище!—смѣется фрау Кеслеръ.

Штейнбахъ улыбается. Онъ останавливается передъ бюстомъ. Правильная, небольшая голова чистаго римскаго типа задумчиво смотритъ поверхъ ихъ фигуръ вдаль. Строгъ профиль безбородаго лица... Необычайно красивъ высокій лобъ мыслителя съ вдавленными висками. Сурово глядятъ изъ-подъ слегка нахмуренныхъ бровей запавшіе небольшіе глаза. И тонкообрисованныя губы изящнаго, почти женственнаго рта стиснуты съ горечью. Въ уголкахъ что-то залегло... Усталость?.. Презрѣніе?.. На плечахъ широкими, небрежными складками лежитъ царственная мантія изъ оникса.

— Вотъ это интересное лицо!—говоритъ фрау Кеслеръ.—Сейчасъ видно, что это писатель или философъ... Не Горацій ли? А гдѣ же Калигула, Маркъ Александровичъ?

— Вы стоите передъ нимъ, фрау Кеслеръ...

— Что такое??

— Вотъ это самое интересное лицо,—и вы правы—самое интеллигентное во всей этой галлереѣ, это и есть Калигула...

— Вотъ и вѣрьте послѣ этого Ломброзо,—упавшимъ голосомъ говоритъ фрау Кеслеръ... И качаетъ головой.

Маня близко подходитъ къ бюсту и жадно смотритъ... Смотритъ съ ужасомъ и восторгомъ... Губы ея открылись, какъ будто тысячи вопросовъ рвутся изъ ея груди.

Она думаетъ: „Ты не могъ любить людей, которыхъ зналъ: этихъ придворныхъ, продажныхъ и изолгавшихся, безъ души, безъ идеала, безъ гордости... Ты не могъ уважать чернь, низкую, разнуздан-

ную, требовавшую хлѣба и зрѣлищъ... свергавшую тѣхъ, кто этихъ зрѣлищъ ему не давалъ... ничего не цѣнившую, кромѣ поблажки инстинктамъ... Ты не былъ бы великъ, если бы не презиралъ ихъ. Ты не былъ бы прекрасенъ, если-бъ ненависть къ нимъ не переполняла твоего сердца... Гдѣ ты видѣлъ иныхъ?..“

Отуманенные выходятъ они въ четыре часа изъ музея.

— Это легко говорить: „Не уставай!.. Тебѣ вредно...“ Да я не чувствую усталости, поймите!—страстно говоритъ Маня на лѣстницѣ, прижимая къ груди руки.—Вы взгляните, какъ горитъ у меня лицо!.. Я видѣла своими глазами, какъ вижу васъ обоихъ, Венеру Капитолійскую, Антиноя... этого полубога, котораго любилъ Адріанъ... Видѣла мраморъ Праксителя... его *Фавна*... Боже мой!.. Все, чѣмъ въ книгахъ еще ребенкомъ я восторгалась... Я сама себѣ завидую... Понимаешь?.. Мнѣ даже страшно... Вѣдь я видѣла бюстъ Юлія Цезаря, снятый съ него при жизни... Его настоящее лицо...

— Ты упадешь!—кричитъ фрау Кеслеръ.—Спускайся осторожно, сумасшедшая женщина!.. Горе съ тобою!

— Ахъ, Агата! Я счастливѣйшее существо въ мірѣ!.. И я не уѣду изъ Рима... Я останусь здѣсь навсегда!..

V.

На другой день она говоритъ Штейнбаху:

— Цѣлую ночь мнѣ снились статуи. Что можетъ быть лучше человѣческаго тѣла?.. Въ Венеціи меня съ ума сводилъ мраморъ Кановы... А здѣсь я цѣлуюсь съ Фавномъ...

— Недурно...—усмѣхается Штейнбахъ.

— Ахъ, онъ такъ прекрасенъ!.. Такъ молодъ...

„Что съ нимъ? Отчего онъ такъ поблѣднѣлъ?“ удивленно думаетъ фрау Кеслеръ. „Болѣзнь сердца у него, что ли?“

— Да, маленькій уколъ,—отвѣчаетъ онъ на ея заботливый вопросъ.—Это пустяки... Маня, не хочешь ли ты учиться скульптурѣ?

— Ахъ, Маркъ!.. Я такъ мечтала объ этомъ... Воплощать свои грезы... Счастливцы, у кого есть талантъ!.. Но есть ли онъ у меня?

Они на Палатинскомъ холмѣ, гдѣ гордо высятся грандіозныя руины дворцовъ Цезарей... Шагъ за шагомъ прошли они тѣ мѣста, гдѣ жили Августъ, Тиверій, Неронъ, Калигула, Домиціанъ... Вотъ онѣ надъ ними, нависшія въ туманѣ арки моста съ чудовищными просвѣтами, и колонны дворца Калигулы, еще цѣлыя и гор-

деливыя. Пылкая фантазія Мани помогаетъ ей возстановить изъ обломковъ пышную жизнь безвозвратной эпохи...

Вотъ огромное зало пиршествъ, гдѣ на полу умирали розы и лилось вино на императорскихъ оргіяхъ. А недалеко маленькія спальни, гдѣ не гнались за свѣтомъ и воздухомъ, гдѣ великіе императоры ютились на узкихъ ложахъ... А вотъ овальный мраморный бассейнъ... Тамъ плескалась окруженная смуглыми невольницами молодая Ливія-Друзилла, послѣдняя жена Августа... Ее же подъ видомъ Венеры видѣла Маня въ музеѣ... Ничтожная и преступная женщина, она спаслась отъ забвенія только потому, что была женой Цезаря.

Они идутъ дальше. Надпись на руинахъ.

— Здѣсь родился Тиверій,—говоритъ Штейнбахъ.

Вотъ остатки колодца... Они спускаются внизъ, поднимаются вновь по сохранившимся ступенькамъ.

Какъ сохранилась въ атріумѣ мозаика паркета!.. Три комнаты со сводами еще цѣлы, и на нихъ Маня видитъ нетронутую временемъ живопись.

Здѣсь, по этимъ звонкимъ плитамъ, стучали сандаліи на маленькихъ ножкахъ... Ребенокъ Тиверій глядѣлъ на эти картины своимъ вдумчивымъ взглядомъ... Здѣсь росла загадочная душа изгнанника, который преклоненію толпы предпочелъ угрюмое одиночество; бурной жизни—тишину пустыннаго острова. И льстивымъ рѣчамъ близкихъ—ропотъ моря кругомъ.

— А вотъ терраса, съ которой Калигула смотрѣлъ на Римъ.

Городъ отсюда виденъ далеко-далеко...

Изъ щелей отвѣсныхъ скалъ выросли деревья. Лохматыя низенькія пихты точно взбираются по кручѣ. Дорога бѣжитъ внизъ капризнымъ зигзагомъ. Подъ ними глубоко, внизу, бѣлѣютъ обломки форума.

Вотъ здѣсь Калигула, покинувъ крикливую толпу льстецовъ и прихлебателей, оставался наединѣ съ собою. Въ лунныя ночи онъ глядѣлъ на форумъ, гдѣ теплились огни въ храмѣ Весты... Глядѣлъ на Авентинскій холмъ, гдѣ ютилась чернь и бѣднота; на Капитолій съ его храмомъ и конной статуей Юлія Цезаря, вонъ тамъ... напротивъ... И онъ мечталъ: „Если-бъ у человѣчества была одна голова, чтобъ снести ее однимъ ударомъ!..“

Маня взволнованно оглядывается... Она такъ ясно видитъ его лицо, его лобъ. Эти сдавленные изящные виски эти гордыя брови, запавшіе глаза... И линію губъ, тѣсно сжатыхъ съ горечью... Вѣдь онъ былъ сынъ добродѣтельной Агриппины и Германика, этой „надежды страны“. Онъ родился съ благородной душой. Въ комъ обманулся онъ? Что наполнило его сердце такой ненавистью

къ міру?.. Одинокій, непонятый, всѣмъ чуждый и тоскующій, среди величія и поклоненія, земной полубогъ, не грезилъ ли ты объ иной жизни? Объ иныхъ словахъ и чувствахъ?

— Боже, какой дождь опять! Гдѣ бы намъ спрятаться?—спрашиваетъ фрау Кеслеръ, открывая зонтикъ.

— А вотъ по этимъ ступенькамъ внизъ... Осторожнѣе, Маня!.. Дай руку... Мы переждемъ въ этой галлереѣ.

— Гдѣ мы? — Маня оглядывается. Гигантскій корридоръ, широкій и прекрасно сохранившійся, тянется далеко-далеко... Откуда-то сверху падаетъ свѣтъ... Ихъ шаги и голоса гудятъ... Какое эхо!

— Вотъ чудесно!—говоритъ фрау Кеслеръ.—Здѣсь совсѣмъ сухо...

— Это подземная галлерея подъ дворцомъ Калигулы. Она соединяла дворецъ съ древнимъ Римомъ. У него былъ свой планъ, когда онъ ее строилъ... Здѣсь онъ искалъ спасенія отъ смерти. И прятался отъ убійцъ... Но его нашелъ трибунъ Кассій... Они встрѣтились въ этомъ корридорѣ, одинъ-на-одинъ, тиранъ и мятежникъ. И Калигула упалъ мертвымъ вотъ на эти плиты...

Женщины невольно склоняются и разглядываютъ полъ.

„Зачѣмъ ты унизилъ себя этимъ страхомъ смерти?“ думаетъ Маня. „Почему не остался вѣренъ себѣ и здѣсь?.. Зачѣмъ не ушелъ добровольно изъ жизни, которую презиралъ?“

Холодомъ дышатъ на нихъ стѣны.

— Пойдемте! Здѣсь сыро, Маркъ Александровичъ...

А вотъ и дворецъ Нерона... Казармы его тѣлохранителей, обширныя помѣщенія для рабовъ, гдѣ не было солнца никогда.

— Видите, сколько глиняныхъ обломковъ? Это свѣтильни, озарявшія ихъ жилища... Эти норы кротовъ...

Въ верхнемъ этажѣ имъ показываютъ спальню Нерона и комнату Поппеи... Манѣ грустно... Такъ это здѣсь она смотрѣлась въ серебряныя зеркала, разглядывая свое точеное личико и пышную прическу? Здѣсь мучительно обдумывала она, чѣмъ удержать измѣнчивое сердце цезаря... Глупенькая! Она не знала, что жена цезаря, какъ и рабыни, безсильна подавить желаніе въ душѣ мужчины. Желаніе, проснувшееся къ другой...

Дорога спускается въ большіе сады.

— Куда ты, Маня?.. Оступишься...

— Нѣтъ, Агата, я должна дойти до обрыва... Здѣсь въ саду бродили красавицы, поэты... Здѣсь гулялъ Петроній...

— И отсюда Неронъ любовался пожаромъ, разорившимъ десятки тысячъ людей.

— Агата... Маркъ... Молчите, ради Бога! Не мѣшайте мнѣ... Я уже начинаю ихъ видѣть... Они мелькнули передо мной... Тише!.. Тише!.. Я сейчасъ услышу ихъ голоса...

Она закрываетъ глаза. И счастливая улыбка приподнимаетъ уголки ея губъ.

Штейнбахъ стоитъ подлѣ, не смѣя подойти, чувствуя себя ничтожнымъ и безсильнымъ передъ этой счастливицей.

Уже два часа. Солнце улыбается сквозь тучи. Дождя нѣтъ.

— Теперь туда, внизъ!—говоритъ Маня, указывая на форумъ.

— Объясните!—проситъ фрау Кеслеръ, безпомощно останавливаясь передъ разбросанными пилястрами и полуразрушенными колоннадами.—Какъ мертво! Какъ печально!.. Вы понимаете что-нибудь, Маркъ Александровичъ?

Но Маня поднимаетъ руку.

— Нѣтъ! Нѣтъ!.. Молчите!.. Агата, иди за мной!.. Я сама... сама хочу все найти... Я изучила планъ... Смотри: вотъ арка веспасіана... Пойдемъ отсюда... О, ради Бога, не будь такой равнодушной! Знаешь ты, гдѣ мы идемъ?.. По дорогѣ, по какой шли весталки... Высокія, строгія, всѣ въ бѣломъ, онѣ шли въ храмъ... И если имъ встрѣчался приговоренный къ казни, ему даровали жизнь... Вотъ этотъ храмъ... Онъ стоялъ здѣсь...

Она останавливается у груды разрушенныхъ колоннъ. Изъ-подъ капюшона вырываются кудри. Глаза и зубы ея блестятъ. Щеки и рѣсницы влажны отъ дождя... Въ озябшихъ рукахъ она держитъ планъ.

— А вотъ теперь иди сюда... Зажмурь глаза... Не бойся... Дай руку!.. Еще два шага... Довольно!.. Теперь смотри... Видишь?

— Ничего не вижу!

— О, Агата! Какъ у меня бьется сердце!.. Знаешь ты, что это за ступеньки?.. Вотъ этотъ маленькій квадратикъ,—это домъ, гдѣ Юлій Цезарь провелъ послѣднюю ночь... А теперь сюда... Ну, скорѣе же!.. Тутъ на этихъ ступенькахъ стояло его тѣло на катафалкѣ.

— Чье тѣло?—безнадежнымъ тономъ спрашиваетъ фрау Кеслеръ.

— Цезаря... Цезаря... котораго убили сенаторы... И Антоній держалъ отсюда свою рѣчь къ народу...

Фрау Кеслеръ юмористически качаетъ головой.

— Меня удивляетъ, гдѣ они всѣ помѣщались? Такіе великіе люди?.. И такія крошечныя пространства... Гдѣ же тутъ могла стоять толпа?

— Ахъ, Агата!.. Не надо!.. Не надо... Помолчи и прислушайся!.. Какая чудная тишина!.. Неужели тебѣ не жутко здѣсь, на этомъ мѣстѣ?.. Когда я была въ *Художественномъ театрѣ*, и Качаловъ игралъ Цезаря, я и мечтать не смѣла, что когда-нибудь....

Она беретъ руку Штейнбаха и на мгновеніе прижимается лицомъ къ его плечу, закрывъ глаза отъ блаженства.

И Штейнбахъ замираетъ отъ неожиданности.

Но фрау Кеслеръ смѣшно. Великій Цезарь ютился въ какой-то скорлупѣ... Она тщетно пробуетъ удержать улыбку... Хорошо, что Маня не видитъ ее! Наклонилась надъ землей и глядитъ... Словно читаетъ.

— Маркъ, смотри! Этимъ булыжникамъ 2000 лѣтъ...

— Да, они хорошо работали, римскіе рабы...

— Здѣсь ѣхала колесница Нерона... Видишь дорогу? Прямо въ Неаполь, въ Помпею... въ Капую...

— А тамъ Колизей, кажется?—спрашиваетъ фрау Кеслеръ, глядя на гигантскую стѣну съ срѣзаннымъ краемъ, которая высится изъ тумана.

— Мы пойдемъ туда вечеромъ, при лунѣ, — шепчетъ Маня Штейнбаху.—Мы пойдемъ вдвоемъ...

— Тише!.. Упадешь...

Они надъ обрывомъ. Громадная яма покрыта досками. Изъ нея вѣетъ тлѣніемъ и холодомъ. Рабочіе сидятъ на обломкахъ мрамора невдалекѣ и ѣдятъ печеные каштаны. Штейнбахъ посылаетъ одного изъ нихъ за экипажемъ. Дождь опять сѣетъ, какъ изъ рѣшета.

— Вы знаете, что тамъ роютъ? Подъ древней мостовой форума открылось кладбище. Найдены черепа, скелеты, монеты, вооруженіе... Все это сейчасъ въ музеѣ...

— Этруски?—спрашиваетъ Маня съ блестящими глазами.

— Нѣтъ!.. Это какая-то неизвѣстная народность, жившая здѣсь, раньше сабинянъ. Быть-можетъ, пелазги? Ты видишь, какъ современники Цезаря и Антонія ходили надъ невѣдомымъ кладбищемъ?

— Ухъ!.. Какъ страшно туда глядѣть!—говоритъ фрау Кеслеръ, поводя плечомъ.—Отойдемъ, Маня! Пахнетъ могилой...

Штейнбахъ говоритъ:—Какъ жаль, что ты больна! Здѣсь удивительныя окрестности. Здѣсь руины древнѣйшихъ городовъ Европы.

— Старше Рима?

— Еще бы!.. Здѣсь въ кратерѣ потухшихъ вулкановъ лежатъ озера. И тамъ, гдѣ теперь Албанское озеро, у подошвы горы, процвѣталъ знаменитый древній городъ Альба-Лонга. Она соперничала съ Римомъ, и римскій царь Туллій Гостилій разрушилъ ее. Здѣсь есть долина, гдѣ когда-то собирались на совѣщаніе всѣ союзные латинскіе народы. Тамъ была священная роща... Прекрасная шоссейная дорога вела къ храму Діаны, на берегу другого озера. Здѣсь есть руины Тускулума, построеннаго еще пелаз-

гами. И эти стѣны были такъ крѣпки, что даже Аннибалъ, впослѣдствіи воюя съ римлянами, не могъ сокрушить ихъ... Теперь оглянись. Видишь, тамъ, между двумя холмами, лежитъ колыбель Рима... Эта была священная роща, гдѣ бродилъ юный Ромулъ... А здѣсь, гдѣ мы сидимъ, огромное болото раздѣляло холмы.

Они долго молчатъ. Тишина на форумѣ поразительная. Городъ мертвыхъ. Кое-гдѣ только ползаютъ черные жуки, распустивъ крылья... Это туристы съ гидами бродятъ подъ зонтиками среди мраморнаго кладбища. Гулъ жизни слабо доносится сюда.

— Смѣшно подумать, что здѣсь еще недавно былъ пустырь, дикій, пыльный, зловонный... Здѣсь росла трава, и бродилъ скотъ на мусорѣ, который накоплялся вѣками.

— Не можетъ быть!

— Да... Одинъ дикій варваръ въ XI вѣкѣ, норманскій князь Робертъ Гюискаръ, разгромилъ весь форумъ. Онъ для искусства былъ страшнѣе Атиллы... Ты знаешь, кто позвалъ его? Папа Григорій VII въ своей борьбѣ съ германскимъ императоромъ пригласилъ этого страшнаго союзника. Онъ, какъ ураганъ, пронесся надъ Италіей и истребилъ все, что попалось ему подъ руку... Онъ же разрушилъ Колизей.

— О, проклятый!.. Неужели, Маркъ, ты не понимаешь иногда психологіи Калигулы?

— Идите же!—кричитъ издали фрау Кеслеръ, маша рукой.— Коляска ждетъ...

VI.

— Я получила письмо отъ Сони, Маркъ Александровичъ...

— Что она пишетъ?

— Ничего новаго... Нелидовъ въ Шотландіи...

— А...

— Здоровъ и веселъ. Но не въ этомъ дѣло... Я хочу говорить съ вами о Манѣ...

— Что случилось?

— Меня поражаетъ ея равнодушіе!.. Видитъ, что я получаю письма отъ Сони и отъ Петра Сергѣевича... Хоть бы спросила когда, что они тамъ? Какъ?.. „Кланяются тебѣ“, говорю. „Цѣлуютъ...“ Молчитъ...

— О Нелидовѣ вы тоже говорили ей?

— За кого вы меня считаете? Конечно нѣтъ... Но меня поражаетъ эта холодность ея, это полное отчужденіе отъ прошлаго... Точно стѣной отгородилась отъ всѣхъ... О Нелидовѣ ни слова никогда... Но это я еще допускаю... Сейчасъ зову ее. „Что сказать Петру Сергѣевичу?“ Задумалась. И потомъ такъ вяло: „Скажи, что я люблю

его...“ Видитъ, что я пишу каждый день... Никогда не припишетъ словечка... Одного словечка...

„Такъ... такъ... такъ.... Все такъ“, шепчетъ Штейнбахъ, шагая одинъ во мракѣ на внутреннемъ дворѣ, по ярко бѣлѣющимъ плитамъ корридора, и прислушиваясь къ каплямъ дождя, которыя звонко стучатъ по камню. „Отрекаться отъ прошлаго, начинать новое. Не давать воспоминаніямъ впиваться въ душу, какъ придорожный репейникъ впивается въ платье... Кто созданъ какъ я, у того душа похожа на изъѣденный плодъ. Червь уползъ, а плодъ засыхаетъ... Умѣть забывать лицо, которое любилъ... забывать обѣщанія и нарушать клятвы... Съ восторгомъ встрѣчать уста, тянущіяся тебѣ навстрѣчу. Улыбаться вчерашнему горю. Благословлять свои слезы... Любить въ прошломъ лишь себя и свою жажду счастія... Итти впередъ, смѣясь и плача, обманываясь и обманывая, въ безсознательномъ могучемъ порывѣ *жить*... И проявлять свое *я*—дерзко, ярко и радостно... О, если-бъ я могъ быть такимъ!..“

Они часто обѣдаютъ съ извозчиками и газетчиками, въ скромной тратторіи, въ узкой уличкѣ стараго квартала. *Трактиръ Волчицы.* И она же изображена на старинной потемнѣвшей вывѣскѣ. Здѣсь подаютъ чудесныя макароны съ пармезаномъ, рыбу и душистое вино alicante... Извозчики хлопаютъ Штейнбаха и фрау Кеслеръ по плечу, чокаются съ Маней и весело болтаютъ о своихъ дѣлахъ, отравляя воздухъ дешевымъ табакомъ. Трое страшныхъ, худыхъ и черныхъ „контрабандистовъ“, какъ увѣряетъ Маня, въ надвинутыхъ на лобъ театральныхъ шляпахъ, играютъ въ уголку въ карты. Они часто ссорятся, сверкаютъ бѣлками и стучатъ кулаками по столу. Тогда хозяинъ (онъ же и гарсонъ) въ грязномъ фракѣ, съ грязной салфеткой черезъ плечо, подбѣгаетъ и принимается ихъ усовѣщевать... Иногда и онъ соблазняется и ставитъ мимоходомъ карту. А жена, скупая и ревнивая, сердится и зоветъ его изъ-за прилавка.

— Какіе они милые!—говоритъ Маня.

— Нѣтъ, я съ ними не хотѣла бы встрѣтиться въ глухомъ мѣстѣ подъ вечеръ!—смѣется фрау Кеслеръ.

— Но больше всего Маня любитъ закатъ. Когда солнце начинаетъ спускаться, она съ Штейнбахомъ ѣдутъ до городскихъ воротъ Санъ-Себастіано. Тамъ они велятъ кучеру ждать. И, взявшись за руки, они идутъ по знаменитой Аппіевой дорогѣ.

Послѣднія зданія предмѣстья позади. Они минули одинокіе кипарисы... Звонко стучатъ ихъ подошвы по стариннымъ плитамъ изъ лавы. Вдали, въ розовомъ свѣтѣ зари, возвышается круглая

гробница Метеллы. Запахъ поля и цвѣтниковъ доносится навстрѣчу легкимъ предзакатнымъ вѣтромъ... Далеко-далеко впереди бѣжитъ дорога, по которой гремѣли когда-то колесницы цезарей, ѣхавшихъ на празднества въ Помпею; по которой легіоны, идя на войну, подымали пыль.

Невыразимое очарованіе въ этихъ одинокихъ прогулкахъ мимо кладбищъ, виноградниковъ и огородовъ къ знаменитой часовнѣ, гдѣ Христосъ встрѣтилъ Петра и спросилъ его: Quo vadis? Въ часовнѣ на одной стѣнѣ изображенъ Христосъ, на другой апостолъ. Показываютъ бѣлый камень, и на немъ слѣдъ Его ноги.

Все дальше и дальше, минуя катакомбы... Они никогда не говорятъ. Такъ хорошо молчать! Такъ хорошо слушать замирающій гулъ далекаго города, надвигающееся безмолвіе Кампаньи...

Или же черезъ другія ворота, другой старинной римской дорогой они идутъ къ акведуку. Солнце садится. Съ востока глядитъ блѣдная луна. Стада бродятъ по лугу. Коровы мирно лежатъ, жуя жвачку, и провожаютъ ихъ прекрасными безстрастными глазами. Пастухи въ широкихъ шляпахъ, въ живописныхъ лохмотьяхъ меланхолически играютъ на свирѣли. Черноволосыя прачки моютъ бѣлье въ ручьяхъ и что-то весело кричатъ имъ вслѣдъ.

Почва тонетъ подъ ногами. Но они идутъ все дальше... Манѣ надо подойти къ мшистымъ развалинамъ, съ любовью коснуться ихъ рукой; поглядѣть въ эти каменныя, суровыя, морщинистыя лица; угадать тайну, которую они знали...

Она стоитъ тамъ долго, пока луна не станетъ золотой, и не коснется лучами ея рѣсницъ; пока не начнетъ куриться туманъ; пока не засверкаютъ залитые луннымъ блескомъ громадные булыжники дороги.

— Теперь въ Колизей,—говоритъ она горячимъ шопотомъ.— Агата насъ ждетъ... Но мы зайдемъ туда на минутку... вдвоемъ...

Они идутъ. А передъ ними по бѣлой дорогѣ скользятъ ихъ тѣни, длинныя, черныя, сливающіяся...

Колизей съ площади залитъ голубымъ свѣтомъ. Громадная тѣнь его упала на дорогу. Внутри темно.

— Это галлюцинація, конечно... Но мнѣ почему-то кажется всегда, что здѣсь пахнетъ кровью,—сказалъ онъ ей, когда они въ первый разъ вошли въ Колизей.—Ты знаешь, Маня, кто строилъ его? Евреи... Это былъ тріумфальный памятникъ, который Римъ воздвигъ надъ порабощенной народностью. Его началъ Веспасіанъ, кончилъ Титъ. Тысячи еврейскихъ плѣнниковъ погибли, засыпая пруды Нерона, таская сюда камни... Сто дней длились празднества, когда открыли этотъ циркъ. И въ немъ убили 10,000 плѣнниковъ. Между ними были и евреи...

— Но, вѣдь, Титъ самъ любилъ еврейку, Маркъ? Какъ могъ онъ преслѣдовать ея народъ?

Штейнбахъ тихо смѣется.

— Все это легенды, Маня. А вотъ эти стѣны—фактъ...

Каждый разъ сердце Мани стучитъ, когда она входитъ подъ эти широкія арки. Уцѣлѣла часть амфитеатра. Можно угадать, гдѣ была ложа Цезаря... Вонъ тамъ, какъ разъ противъ черной дыры, глубоко внизу, откуда вѣетъ могилой; откуда хищный звѣрь прыгалъ на арену.

Въ небѣ высоко надъ ними горитъ яркая южная звѣзда. Когда ослѣпительная луна поднимется высоко и зачаруетъ міръ, звѣзда все еще будетъ видна.

— Говори тише, Маркъ!.. Говори шопотомъ... Не спугни призраковъ... Ты ихъ видишь?.. Вонъ они, въ ложахъ... Они сидятъ и ждутъ...

Это дивный часъ между семью и восемью вечера, когда Колизей принадлежитъ ей одной! Въ эти часы туристы обѣдаютъ. Точно вихрь выметаетъ ихъ изъ всѣхъ музеевъ, съ форума, изъ Колизея... Никто не аукается здѣсь, не поетъ аріи Торреадора, не болтаетъ о меню или о скачкахъ. Мертвые встаютъ и садятся на свои мѣста и ждутъ, вмѣстѣ съ Маней, когда прогрохочетъ колесница императора, когда поднимется бронзовая рѣшетка тамъ, у черной ямы... И рыча, и визжа, и роя песокъ, выпрыгнетъ на арену голодный тигръ...

Луна поднимается все выше. То тутъ, то тамъ падаетъ серебро во мракъ Колизея. Камень словно загорается и нестерпимо сверкаетъ. Все свѣтлѣетъ внутри... Потомъ длинные серебряные пальцы протягиваются черезъ черныя отверстія галлереи наверху, черезъ всѣ щели развалинъ...

Все оживаетъ внезапно. Въ лунномъ блескѣ задвигались тѣни, затрепетали блики. Призраки зашептали, качая головами...

— Смотри, смотри... Ты ихъ видишь, Маркъ?..

Время бѣжитъ. Тишина поетъ... Гдѣ-то близко бьютъ часы. Такъ медленно и печально... Охрипшій, угрюмый звукъ. Этому колоколу больше пятисотъ лѣтъ.

Закрывъ глаза, Маня ясно слышитъ нѣжный звонъ браслетовъ, шелестъ матеріи. На вѣки ея отъ легкаго вѣера римлянки такъ сладко вѣетъ теплымъ воздухомъ. Она слышитъ благоуханіе ея кожи... Она красива. Рыжій парикъ, подрисованныя брови, накрашенныя губы, увядшія отъ поцѣлуевъ... Изъ-подъ нарядной ткани, скрѣпленной у плеча цѣнной геммой, видна обнаженная бѣлая рука...

Вдругъ гулъ голосовъ... Эхо шаговъ. Грохотъ колесницы. Это императоръ... Всѣ встали... Какой гулъ!..

— Пора, Маня! Пойдемъ... Туристы...

О, нелѣпый смѣхъ! Ненужныя слова... Цѣлый потокъ стрекочущихъ голосовъ...

Взявшись за руки, они бѣгутъ боковымъ выходомъ, шагая черезъ разрушенныя сидѣнья и обломки внизу... Больше всего на свѣтѣ опасаясь встрѣчи съ живыми.

VII.

Повинуясь неодолимому стремленію создавать себѣ привычки, они каждый вечеръ, возвращаясь изъ Колизея, занимаютъ столикъ подъ окнами кофейной, пьютъ кофе или тянутъ черезъ соломинку гренадинъ со льдомъ. Это судя по погодѣ. Они поджидаютъ фрау Кеслеръ. Цѣлыми днями она бродитъ по городу, по рынкамъ, разсматриваетъ витрины, наблюдаетъ уличную жизнь, которую она такъ любитъ... Ихъ вкусы такъ разны, что они всегда гуляютъ врозь.

Холодно въ этотъ вечеръ, когда они подходятъ къ площади. Она обсажена платанами. Еще недавно они были голы и печальны. Потомъ зазеленѣли. Но въ этотъ вечеръ горестно качаются ихъ вѣтки отъ налетающихъ порывовъ *tramontane*.

На углу, озаренная электрическимъ солнцемъ, стоитъ женщина. Она молода еще, но кажется, что голодъ и страданія лишили ее возраста и женственности. Жутко горятъ ея большіе черные глаза. Она держитъ пачку газетъ въ посинѣвшихъ отъ холода рукахъ. И хриплымъ голосомъ, похожимъ на карканье вороны, она выкрикиваетъ:—Avanti... Avanti...

На ней старое черное платье, разорванная косынка на плечахъ, худые башмаки.

Маня идетъ къ кафе черезъ площадь и что-то весело говоритъ Штейнбаху. Вдругъ взглядъ ея встрѣчаетъ эти черные жгучіе глаза. Она останавливается и смолкаетъ, словно кто сдавилъ ей горло. „Страшная... Точно тѣнь...“

— Avanti... Avanti!..—раздается хриплый крикъ.

Штейнбахъ покупаетъ у нея газету.

Черезъ мгновеніе женщина догоняетъ ихъ.

— Вы ошиблись, signor... Возьмите ваше золото!

Матовыя щеки Марка вспыхнули Что это значитъ?

— Простите... Но я думалъ, что вамъ оно нужнѣе, чѣмъ мнѣ...

— Возьмите ваши деньги, signor!.. Я не нищая... Я честно зарабатываю мой хлѣбъ...

И взглядъ... Сколько въ немъ ненависти!.. Она обжигаетъ ихъ лица этими пылающими, какъ уголь, глазами.

Каждый вечеръ Штейнбахъ при встрѣчѣ съ продавщицей приподнимаетъ шляпу и покупаетъ у нея газету. На это привѣтствіе она гордо киваетъ головой... А иногда даже не отвѣтитъ на поклонъ. Только стиснетъ губы и отвернется, съ жестомъ королевы.

Одинъ разъ Маня оглянулась... Женщина смотрѣла имъ вслѣдъ.

— За что она ненавидитъ насъ?—шопотомъ спросила Маня.

— Она соціалистка. И мы въ ея глазахъ паразиты.

Глаза Мани застыли. И померкла радость въ ея лицѣ.

— Что же ты не пьешь?

— Мнѣ не хочется, Маркъ...

И даже голосъ у нея тусклый.

Весь вечеръ оба они молчаливы. Точно тѣнь упала на ихъ жизнь...

„Что случилось?" думаетъ Маня, просыпаясь утромъ. „Отчего на груди тяжело?.. И нѣтъ прежней радости?.." Жгучіе глаза глянули въ ея душу... Охъ, какъ больно кольнуло въ сердце!.. „Какъ она смѣетъ такъ думать?.. А Маркъ молчитъ... И весь сжался, какъ виноватый... Гдѣ его гордость?"

На другой день, подходя къ углу, она надменно отворачивается, чтобъ не видѣть жгучихъ глазъ и этой улыбки презрѣнія.

— Послушай, Маркъ... Какъ это понять? Развѣ ты самъ не соціалъ-демократъ?.. Скажи ей это...

— Маня, милая... Ради Бога, молчи!.. Мнѣ стыдно слушать...

— Но вѣдь ты же принадлежишь къ партіи... Развѣ нѣтъ?

Лицо его болѣзненно кривится.—Дитя мое, развѣ ты не чувствуешь, какая здѣсь натяжка и фальшь? Что общаго между ней и мною? Развѣ ты не видишь пропасть, раздѣлившую насъ? Что ее заполнитъ?.. Общность убѣжденій? Вѣра въ однихъ боговъ?.. Даже въ Россіи мнѣ было стыдно, когда рабочій, обращаясь ко мнѣ, говорилъ: „Товарищъ..." Онъ въ это вѣрилъ. Не я... Товарищами дѣлаетъ людей только общность судьбы или идеала... А въ чемъ мой идеалъ? Ты замѣтила глаза этой женщины?.. Въ нихъ горитъ вѣра въ землю обѣтованную... Она предчувствуетъ ее... Пусть она сама умретъ!.. Она вѣритъ, что дѣти ея ступятъ на эту землю ея Мечты. А гдѣ страна моихъ стремленій?

— Маркъ... я не понимаю,—страстно говоритъ она.—Разъ ты такъ чувствуешь, почему не начнешь ты новой жизни?

— Ахъ, ты въ нее еще вѣришь?

— Да, да... Если-бъ я чувствовала такъ, я отдала бы все, все, что есть у меня... за право протянуть ей руку...

Онъ горько улыбается.

— Ты думаешь, это легко... отдать? Для этого нуженъ огромный характеръ и... любовь къ людямъ... которой у меня нѣтъ... И развѣ это что-нибудь измѣнитъ на землѣ?

Она молчитъ, подавленная... Гдѣ ея красивые сны? Зачѣмъ жизнь вторгается за хрустальную стѣну?

На другой день Маня на углу замедляетъ шаги и останавливается. Вотъ она...

Маня кланяется первая. Стиснувъ зубы и блѣднѣя, она выдерживаетъ гордый взглядъ женщины. Пока Штейнбахъ покупаетъ газету и расплачивается, Маня съ новымъ, страннымъ чувствомъ всматривается въ это истощенное голодомъ лицо... О, дивные глаза, полные огня и грезы!.. Какъ могла она ихъ не понять?

Они идутъ дальше... Маня вдругъ оглядывается. Женщина опять смотритъ имъ вслѣдъ... Если-бъ заговорить съ нею!.. Спросить ее! Такъ много есть, о чемъ спросить... Но съ чего начать? Гдѣ тѣ слова, которыя ей были бы понятны?..

VIII.

Что за странное волненіе нынче въ городѣ? На площадяхъ, на рынкахъ, въ магазинахъ, въ кафе... Всѣ раскупаютъ телеграммы, читаютъ, жестикулируютъ, спорятъ... Фрау Кеслеръ спѣшитъ подъ платаны пить кофе. Вечеръ свѣжъ.

На углу ее чуть не сшибаетъ съ ногъ толпа газетчиковъ. Они неистово орутъ, размахивая телеграммами.

— Sciopera... Sciopera...

Ревъ раздается вдали. Это часъ, когда ремесленники и рабочіе выходятъ на улицу. Городъ мгновенно наполняется гуломъ.

— Что такое?—спрашиваетъ фрау Кеслеръ, подходя къ кафе.— Задавили кого-нибудь? Пожаръ?.. Чѣмъ вы такъ увлеклись, Маркъ Александровичъ, что ничего не замѣчаете?

Она садится и хочетъ заказать себѣ кофе. Вдругъ изъ-за угла, какъ вихрь, срывается новая толпа и мчится черезъ площадь, мимо столиковъ. Впереди она. Женщина въ черномъ. Она потрясаетъ въ воздухѣ пучкомъ телеграммъ и свирѣпымъ голосомъ кричитъ:

— Sciopera... Sciopera... (Стачка... Стачка...)

За нею мчатся рабочіе и ремесленники, на ходу срывая фартуки, гикая, свистя и грозя кулаками.

Гарсонъ роняетъ салфетку. Лицо его блѣдно.

— Что такое?—безпомощно спрашиваетъ его фрау Кеслеръ.

— Ахъ, синьоры, какое несчастіе!.. Эти проклятые соціалисты добились-таки своего! Сколькіе теперь останутся безъ хлѣба!.. И это передъ праздниками... А намъ, синьоръ, хуже всѣхъ... Теперь

разгаръ сезона. Мы всѣ живемъ форестьерами... отельеры, фіакры, гарсоны, магазины... Вся Италія живетъ на эти деньги туристовъ. Золото льется въ нашъ карманъ... Они лишили насъ всего...

— Это ужасно!—сочувственно говоритъ фрау Кеслеръ, понимая наполовину.—Зачѣмъ имъ это нужно?

— И все напрасно!—сверкая глазами и сжимая кулаки, говоритъ итальянецъ. — Ихъ раздавятъ, все равно!.. Откроется подписка въ пользу тѣхъ, кто къ стачкѣ не примкнетъ... Правительство ихъ наградитъ, поддержитъ... Это разореніе для страны... Вы понимаете, синьоръ, что такое, когда дороги стали? Это все равно, что остановить сердце въ тѣлѣ человѣка... Завтра всѣ кинутся бѣжать изъ Рима... И мы останемся безъ хлѣба... Иду!.. Иду, синьоръ,—кричитъ онъ, слыша звонъ ложечки вдалекѣ.

Фрау Кеслеръ вдругъ блѣднѣетъ. — Маркъ Александровичъ, что же мы сидимъ тутъ? Чего ждемъ?.. Вы слышали?..

— Что такое?

— Ахъ, Боже мой!.. Не зимовать же мы тутъ будемъ... Завтра же надо бѣжать въ Швейцарію...

— Мы не успѣемъ,—спокойно отвѣчаетъ Штейнбахъ.—Завтра станутъ всѣ поѣзда.

— Это возмутительно!.. И о чемъ вы думали? Вы знаете итальянскій языкъ. Вы каждый день читали газеты... Точно мы сами по себѣ, а остальной міръ тоже самъ по себѣ!.. На чемъ-нибудь мы должны доѣхать до Милана...

— Вчера еще ничего не было рѣшено... Я выжидалъ... Мнѣ было интересно...

Фрау Кеслеръ разводитъ руками. Лицо ея пылаетъ. Она встаетъ.

— Маня!.. Пойдемъ укладываться... Завтра надо ѣхать...

Они проходятъ мимо угла. Но женщины въ черномъ нѣтъ. Только въ ушахъ еще звенитъ ея торжествующій крикъ. И это лицо, и это лицо... Полное такой страсти, такой несокрушимой силы... Такой безумной вѣры въ свою мечту...

Утромъ они пьютъ кофе уже на вокзалѣ. Насилу нашли столикъ.

Невообразимая суматоха царитъ вокругъ. Платформа полна солдатъ. У кассъ давка. У всѣхъ испуганныя лица, у женщинъ въ голосѣ истерическія нотки. Слышны языки французскій, нѣмецкій, англійскій, русскій... Портье отъ гостиницъ снуютъ въ толпѣ, растерянные, красные. Ихъ рвутъ на части. Публика, забывъ, подъ вліяніемъ опасности, всѣ навыки воспитанія, всѣ привычныя условности, толкается, грубо пробиваетъ себѣ дорогу, бра-

нится, готова вступить въ драку. Нарядныя женщины въ боа и дорогихъ пальто становятся торговками.

„Какой адъ!“ съ отвращеніемъ думаетъ Маня. „Ненавижу толпу. Кто сохранитъ въ ней свое *я?* Она мгновенно стираетъ всѣ различія. И изъ развитыхъ людей дѣлаетъ жестокое стадо“.

Наконецъ! Билеты взяты. Но носильщиковъ нѣтъ нигдѣ. Малый изъ гостиницы донесъ имъ сундуки до платформы и удалился, какъ того требуетъ обычай.

Слава Богу! Одинъ... Огромный, широкоплечій, еще молодой facchinó (носильщикъ). Въ Италіи они какіе-то убогіе, выродившіеся, безсильные, старые, ничего не соображающіе, бывшіе безпечные lazzaroni или ихъ дѣти. Но жизнь смела этотъ типъ. Усложнившаяся жизнь требуетъ борьбы и труда.

„Этотъ молодецъ три сундука снесетъ“, думаетъ фрау Кеслеръ. И дѣлаетъ ему знакъ.

Но носильщикъ, со значкомъ, одѣтый по формѣ въ синюю блузу, безъ пояса, гордо отворачивается. Онъ скрестилъ руки на груди, переступилъ съ ноги на ногу и презрительно щурится.

— Facchinó!—кричитъ фрау Кеслеръ.—Да что онъ? Оглохъ?

Она подбѣгаетъ и показываетъ ему сундуки и кошелекъ.

— No!—рѣзко бросаетъ онъ. И, сдвинувъ брови, замираетъ въ своей вызывающей позѣ.

— Онъ великолѣпенъ!—говоритъ Маня.

— Да, но съ этимъ великолѣпіемъ мы рискуемъ остаться безъ мѣстъ... Ты видишь, какая давка?.. Проклятые забастовщики! Маркъ Александровичъ, вамъ придется самому тащить сундуки...

— Да, да!—разсѣянно отвѣчаетъ онъ, пробѣгая газеты.

Какой взрывъ негодованія! Всѣ статьи полны укорами по адресу соціалистовъ, подрывающихъ интересы страны. Вычислены убытки, которые приносятъ каждый день забастовки. Всюду воззванія... Жертвуйте на семьи тѣхъ, кто не примкнулъ къ стачкѣ! Поддержите и наградите людей, вѣрныхъ своему долгу... И тутъ же въ нѣкоторыхъ крупныхъ газетахъ уже отпечатаны имена лицъ, сдѣлавшихъ взносы вчера... Лордъ такой-то... Лэди такая-то... Herr Baron von... Vicomte de... Итальянцы рѣшительно всѣхъ сословій и... „comtesse russe Marie Z... 10 лиръ“...

Штейнбахъ передаетъ газеты Манѣ, потомъ развертываетъ *Avanti.* На первой страницѣ крупнымъ шрифтомъ отпечатано: „Вчера вечеромъ въ нашу редакцію явился иностранецъ, который внесъ намъ 10.000 лиръ. Онъ не сказалъ своего имени“...

Штейнбахъ бросаетъ газету. Вдали свиститъ поѣздъ. Толпа хлынула на платформу. Крикъ, давка. На лицахъ паническій ужасъ или тупая жестокость.

— Лучше остаться, чѣмъ брать съ бою мѣста!—съ отвращеніемъ говоритъ Маня.

Но поѣздъ огромный. Всѣмъ хватитъ мѣста. Обѣщаютъ еще другой, немедленно...

Проходя мимо носильщика, Маня замедляетъ шаги и близко, жадно глядитъ ему въ глаза. Ихъ взгляды встрѣчаются... Удивленно поднялись его брови.

— Маня, скорѣе!—кричитъ фрау Кеслеръ.

Они отъѣзжаютъ медленно, какъ будто паровозу трудно взять съ мѣста всю эту охваченную ужасомъ толпу.

Маня высовывается изъ окна. Она видитъ, что удивленные глаза ищутъ ее; что высокая фигура отдѣлилась отъ стѣны и подалась впередъ...

Она вынимаетъ платокъ. И машетъ имъ. И на губахъ ея улыбка.

„Прощай, мечтатель!..“ думаетъ она. „И ты не хочешь мириться съ жизнью, какъ она есть... И ты жаждешь невозможнаго...“

На станціяхъ волненіе. Кондуктора и машинисты опять вырываютъ другъ у друга телеграммы. Поѣздъ стоитъ.. Пассажиры ждутъ, возмущенные, но молчаливые. „Развѣ мы не въ ихъ рукахъ?“ говорятъ ихъ безпомощные взгляды.

Въ сторонѣ группа носильщиковъ въ синихъ рубашкахъ. Они что-то страстно говорятъ поѣздной прислугѣ. Бьютъ пальцами по газетамъ, бьютъ себя въ грудь рукой. Взволнованно жестикулируютъ, убѣждаютъ... Кондуктора растерянно пожимаютъ плечами.

— Двинемся мы когда-нибудь?—волнуется публика.—Вѣдь это забастовщики... Они хотятъ ихъ запугать... Что мы будемъ дѣлать, если поѣздъ станетъ?

Начальникъ станціи кричитъ что-то машинисту, весь красный. Группы рабочихъ съ насмѣшкой глядятъ на него.

Кондукторъ, махнувъ рукой, бѣжитъ къ вагонамъ съ яростнымъ крикомъ:—Partenza!..

Десятки кулаковъ вдругъ подымаются въ воздухѣ... Злобные крики, угрозы, брань летятъ ему вслѣдъ... Заложивъ руки въ карманы, маленькій смуглый телеграфистъ на крыльцѣ станціи смотритъ на всю эту картину, не зная самъ къ кому примкнуть.

День идетъ, и настроеніе мѣняется.

Всѣ платформы полны народа. Среди бушующей толпы простолюдиновъ теряются одинокія фигуры жандармовъ. Много женщинъ, дѣтей, стариковъ... Всѣ окружаютъ поѣздную прислугу, суютъ имъ подъ носъ телеграммы, злобно дергаютъ ихъ за рукава. Съ пыломъ, присущимъ южной толпѣ, они грозятъ, сверкаютъ глазами.

Никто изъ пассажировъ не рискуетъ выйти. У всѣхъ бьются сердца. Двинется ли поѣздъ дальше?

Да... ѣдутъ опять... У толпы срывается яростный крикъ. Женщины съ дѣтьми на рукахъ бѣгутъ вслѣдъ и посылаютъ проклятія... Но долго ли это будетъ длиться? А путь трудный. Впереди перевалъ...

Съ одной дамой дѣлается истерика. Всѣ кидаются къ ней. Въ чемъ дѣло?

— У меня въ Люцернѣ семья... Дочь умираетъ въ дифтеритѣ... Я получила телеграмму... Если я не поспѣю... если она умретъ безъ меня... мнѣ останется только покончить съ собой...

— Возмутительно!—говоритъ фрау Кеслеръ.—Вотъ, выпейте капель... Успокойтесь! Ахъ, проклятые!.. Сколько зла они дѣлаютъ неповиннымъ людямъ!

Между пассажирами возникаетъ идея открыть подписку въ пользу поѣздной прислуги. Лишь бы добраться до мѣста... Забастовка можетъ тянуться недѣли три... Сколькіе разорятся! Вѣдь не одни туристы ѣдутъ по Италіи.

— А стрѣлочники?—вдругъ спрашиваетъ кто-то.

— Что такое?

— Вы забыли про нихъ?.. Если они переведутъ стрѣлку и вызовутъ крушеніе? Сейчасъ самое опасное мѣсто...

— Возможно ли?

— Отчего нѣтъ? Они слишкомъ озлоблены...

— А чѣмъ мы виноваты?—экспансивно кричитъ фрау Кеслеръ.

— При чемъ тутъ стрѣлочники?—перебиваетъ какой-то пасторъ-англичанинъ. Онъ ѣдетъ съ семействомъ, съ женой и двумя дочерьми, похожими на сильфидъ. — Достаточно одной изъ этихъ каналій въ сумеркахъ бросить бревно на рельсы, чтобы мы всѣ погибли,—говоритъ онъ съ великолѣпнымъ жестомъ оратора.

Глаза женщинъ останавливаются отъ ужаса.

Вотъ и перевалъ... Поѣздъ еле плетется, вздрагивая. Какъ-то нехотя ползетъ, словно раздумываетъ, не остановиться ли? Всѣ прильнули къ окнамъ. Блѣдные, подавленные...

Поднялись, наконецъ... И вдругъ поѣздъ мчится внизъ съ головокружительной быстротой... Всѣ переглядываются въ ужасѣ... Съ одной дѣвушкой дѣлается истерика.

Чѣмъ выше поднимаются они, тѣмъ сильнѣе разыгрываются страсти. Изъ всѣхъ городковъ и селеній по дорогѣ выбѣгаютъ жители съ гикомъ, свистомъ и ревомъ. Они наводняютъ платформы, поджидаютъ и встрѣчаютъ поѣздъ градомъ насмѣшекъ и брани. Полиціи нѣтъ. Начальники станціи отсутствуютъ.

Поѣздъ почти не стоитъ. Озабоченная, блѣдная, шепчется между собой поѣздная прислуга...

„Доѣдемъ ли?" спрашиваютъ пассажиры другъ друга взглядами, похожими на глаза загнанныхъ звѣрей. Пробуютъ заговаривать съ кондукторами. Они угрюмо молчатъ.

А ночь надвигается. И неизвѣстность растетъ.

У окна стоитъ пожилой нѣмецъ и поминутно вытираетъ выступающій на лицѣ потъ. Глаза его полны отчаянія.

— Вы торопитесь?—спрашиваетъ его фрау Кеслеръ. Она чувствуетъ, что разговоръ облегчитъ его, что онъ страдаетъ отъ одиночества.

— Да, сударыня. Если я не поспѣю въ Миланъ нынче, черезъ два дня я буду банкротомъ.

— Это ужасно... Но почему же?

— У меня торговое дѣло. Истекаетъ срокъ по векселямъ... Я лѣчился въ Сорренто отъ переутомленія... Если я не уплачу въ срокъ, я обезчещенъ... Моя фирма погибла...

— Фрау Кеслеръ безпомощно разводитъ руками. Ей страшно... Враждебно глядитъ она на Штейнбаха... Ему-то легко, конечно, сочувствовать! Что онъ потеряетъ?

Когда падаетъ ночь, кондукторъ входитъ, чтобъ зажечь огонь. Лицо его точно постарѣло.

— Это его послѣдній поѣздъ, — говоритъ Штейнбахъ.—Развѣ вы не видите, что онъ рѣшилъ забастовать?

— Безумцы!—вздыхаетъ пасторъ.—На что они надѣются? Завтра они будутъ на улицѣ съ семьей, съ маленькими дѣтьми...

Но въ запавшихъ глазахъ этого угрюмаго человѣка Маня читаетъ то, чего не понимаютъ другіе. Какъ въ лицѣ музыканта подъ Венеціей, она и здѣсь чувствуетъ борьбу безсмертной души съ жестокой жизнью за высокую, неосуществимую грезу.

Подъ самымъ Миланомъ огромный камень разбиваетъ окно и попадаетъ въ фонарь. Вагонъ погружается въ мракъ. Крикъ ужаса срывается у женщинъ. Жена пастора падаетъ въ обморокъ. Къ счастію, никто не раненъ.

— Негодяи... Чѣмъ мы виноваты?—кричитъ фрау Кеслеръ. Мужчины возмущены. Штейнбахъ тщетно старается успокоить женщинъ. Но и онъ находитъ, что это „безобразіе"...

Вотъ и огни Милана... Доѣхали... Наконецъ!!

Всѣ стали какъ будто старше своего возраста. У всѣхъ землистыя лица, лихорадочные жесты. Слава Богу!.. Электричество... порядокъ... жандармы... Фрау Кеслеръ хочется расцѣловать ихъ.

— Мы всѣ будемъ молиться въ эту ночь,—говоритъ пасторъ.— Мы будемъ благодарить Бога, который сохранилъ намъ жизнь...

IX.

Сонѣ Горленко отъ Мани.

Тироль, 1-е іюля.

„Утро...

„И такое славное, свѣжее утро!..

„Изъ моего окна видны Альпы и часть озера. Издали слышенъ нестройный звонъ колоколовъ. Это пасутся коровы въ долинѣ. Онѣ скоро уйдутъ дальше, и наступитъ тишина.

„Передо мной ворохъ нѣмецкихъ газетъ. Эту работу досталъ мнѣ Маркъ. Я набросала сейчасъ рисунокъ для юмористическаго журнала. О, какъ я знаю теперь политику!.. Ты не повѣришь, какъ глубоко нырнула я въ эти волны!.. Мнѣ платятъ недурно за каррикатуры. Иногда происходитъ какая-то заминка, и тогда мы голодаемъ... Но, право, это не страшно... Наша жизнь такъ скромна.

„Мы проживемъ здѣсь до первыхъ снѣжныхъ бурь. Потомъ уѣдемъ куда-нибудь... Не все ли равно куда? И тамъ жизнь будетъ течь, какъ воды озера. Нынче, какъ вчера. Завтра, какъ нынче...

„Въ нашемъ маленькомъ домикѣ всего двѣ комнаты и кухня, гдѣ Агата готовитъ сама. Прислуги нѣтъ. Она намъ не по средствамъ. Мы только платимъ за стирку бѣлья, а на это уходитъ такъ много, что мы рѣдко ѣдимъ мясо... Но это тоже вздоръ...

„У насъ нѣтъ ни ковровъ, ни картинъ, ни серебра, ни фарфора... Зато предъ нами горы... И розовый снѣгъ на ихъ вершинахъ. И лиловые лѣса вдали. И зелень луговъ. И голубоглазыя озера, и пѣвучіе ручьи.

„Мы съ Агатой пріѣхали сюда, на ея родину, прямо изъ Милана. Маркъ проводилъ насъ и устроилъ. Потомъ уѣхалъ. Я этого требовала... Ты все это знаешь...

„Онъ поселился недалеко, въ сосѣднемъ городкѣ, черезъ озеро. Онъ все боялся, что я умру. У него была переписка съ Агатой... Но я смѣялась надъ его страхомъ. Какъ могла я умереть?.. Я, такъ любящая жизнь?

„Мы видѣли отсюда, какъ изъ-за горъ приближалась весна. Какъ дни становились длиннѣе, и какъ дышала земля, сбрасывая съ себя ледяной покровъ. Мы слышали, какъ ревѣли водопады, свергаясь въ пропасти, какъ пѣли ручьи. „Весна идетъ!..“ говорили они. И мы имъ вѣрили. И мы ее ждали... Потомъ прилетѣли первыя птицы. И мы ихъ привѣтствовали, какъ друзей...

„И весна пришла. Спустилась съ горъ, вся сверкающая, въ своемъ зеленомъ прозрачномъ плащѣ. Пригоршнями кидала она намъ въ долину первые цвѣты. Деревья ночью въ лѣсу потихоньку одѣвались, а утромъ мы это видѣли и смѣялись радостно...

„И вотъ въ одну изъ ночей, когда послѣдняя буря завыла въ

ущельѣ, когда зима зарыдала, надолго прощаясь съ долиной, весна принесла мнѣ свой лучшій даръ—мое дитя...

„Это неправда, что я умирала въ ту ночь. Страданія — это жизнь... И я страдала. Я знаю, что моя жизнь нужна...

„У моей постели стоитъ колыбель-игрушка, вся въ кружевахъ и лентахъ. И въ ней спитъ маленькая принцесса. Она родилась съ золотыми кудрями. У нея точеное личико, гордый профиль, надменныя губки. Она породистая, вся въ отца... Ничего моего нѣтъ въ ней. Даже ушки, даже ногти и форма пальцевъ—не мои. Я узнаю его въ каждомъ поворотѣ головки, въ движеніи бровей. Когда-то онъ вскользь, шутя, сказалъ мнѣ, что спитъ всегда лицомъ внизъ. Принцесса спитъ такъ же. Когда я увидала это въ первый разъ, я опустилась на колѣни въ благоговѣніи, какъ передъ чудомъ. Въ ней вся моя жизнь! Все счастіе, все будущее...

„Маркъ ужасается предъ моимъ чувствомъ. Онъ называетъ его ненормальнымъ, мистическимъ. Онъ боится, что оно съѣстъ мою душу, какъ ее съѣла когда-то любовь...

„Любовь?

„Неужели я, носившая въ себѣ такое сокровище, хотѣла погибнуть изъ-за любви?.. И такой некрасивой, вульгарной смертью? Я, которая мечтала умереть прекрасно... Вы спасли меня отъ этого позора, ты, Маркъ, и другіе друзья... Какъ я люблю васъ за это теперь!.. Вы не дали мнѣ свершить самаго тяжкаго преступленія... *Она* должна была явиться въ міръ, эта новая душа, эта новая женщина... И кто знаетъ?.. Быть-можетъ, все, что я дѣлала и къ чему стремилась, было безсознательной жаждой создать эту жизнь...

„Ты видала, конечно, когда-нибудь безобразный коконъ гусеницы? Онъ кажется мертвымъ. Помню, я была маленькой, когда изъ любопытства вонзила булавку въ толстый коконъ. И вдругъ онъ сжался. И я съ испугомъ поняла, что въ немъ таится жизнь.

„До самаго рожденія Нины я сама была такимъ кокономъ. Въ послѣднее время я неспособна была даже страдать, волноваться, ревновать... Я слишкомъ устала отъ жизни. Я забыла всѣхъ васъ. Во мнѣ говорило одно только чувство: страхъ... Я сама себѣ казалась вазой, до краевъ налитой драгоцѣнной жидкостью. И пролить ее я не смѣла.

„Не разъ я спрашивала себя: что дало мнѣ силы пережить крушеніе всего, на чемъ я строила мое счастіе? Отвѣтъ одинъ: мое дитя. И съ каждымъ днемъ утончался коконъ этого равнодушія къ людямъ и жизни. Я васъ всѣхъ начинала видѣть, какъ сквозь облако. Первый крикъ моего ребенка разорвалъ тенета моей собственной души. И какъ бабочка она понеслась навстрѣчу радости.

„О, жить!.. Жить простой, не сложной жизнью! Затерянной въ этой долинѣ, среди крестьянъ! Слушать звонъ стада, гулъ лѣса наверху, шумъ ручьевъ, стремящихся къ невидимой рѣкѣ... Видѣть въ одиночествѣ разсвѣтъ и вечернія зори; и небо, покрытое звѣздами, и полетъ птицы... Читать письма Марка, эти письма, пронизанныя нѣжностью... Думать о тебѣ, о Петѣ, Анѣ... Сидѣть цѣлыя ночи у окна, вспоминая Яна...

„Передо мной его книга. Уѣзжая въ Россію, Маркъ принесъ ее мнѣ. Я читаю и грежу о высокой башнѣ. Но гдѣ пути къ ней, Соня?.. Гдѣ?.. Эта книга для мудрыхъ. А я такъ слаба...

„Я должна любить кого-нибудь... Отдать душу. Отдать жизнь. И вѣрить, что душа моя не будетъ растоптана ногами. И что слезы обиды не отравятъ меня, какъ тогда... Только ребенокъ дастъ мнѣ такую любовь... Я это знаю теперь... А я возьму на свои плечи всю тяжесть жизни, смиреніе, неизвѣстность, одиночество, даже лишенія. Но *ей* создамъ рай...

„Внѣ этой любви сейчасъ у меня нѣтъ цѣли. Все въ ней одной, въ этой дѣвочкѣ съ золотыми кудрями. Исчезнетъ она, и я опущусь въ черную яму...

„Но зачѣмъ думать объ этомъ? Вотъ она передо мною! И я преклоняю передъ нею колѣна въ моей неутолимой жаждѣ высокаго и вѣчнаго чувства. И слезы жгутъ мои глаза...

„Но пусть онѣ льются!.. Счастливыя слезы...“

. . . .

X.

Осень на югѣ Россіи въ этотъ годъ роскошна.

На солнцѣ днемъ жарко, какъ въ іюлѣ. И если-бъ не опавшая липа и не золото кленовъ и ясеней, трудно было бы повѣрить, что на дворѣ конецъ августа. Но печаль увяданія разлита кругомъ. Въ травѣ догниваютъ послѣднія, забытыя яблоки. Лебеди дремлютъ на пруду. И когда заходитъ солнце, въ сыромъ туманѣ, въ непроглядной темнотѣ и мертвой тишинѣ, опустившейся надъ паркомъ, уже пахнетъ тлѣніемъ.

По аллеямъ Липовки бродитъ Анна Васильевна и куритъ папиросу за папиросой. Лицо ея мрачно.

Докторъ Климовъ пришелъ въ гости къ Ликѣ... Часъ отъ часу не легче!.. То былъ этотъ Федоръ Филипповичъ изъ Лысогоръ... „Заштатный поклонникъ“... Теперь новый объявился! Прежде грызлись съ нимъ изъ-за партійныхъ вопросовъ. Теперь изъ-за литературы... Конечно, одинъ предлогъ. Надѣваетъ красные галстуки и думаетъ, что красивъ... „Моветонъ“, вспоминаетъ „Атилла“. И вдругъ заливается смѣхомъ.

— Чему вы?..

— О, чтобъ васъ!..

— Вы очень любезны...

Передъ нею дядюшка. Какъ всегда изящный.

— Какъ это вы подкрались?

— Вы смѣетесь надо мною? Хромые не подкрадываются... Но вы обдумываете что-то?.. Набѣгъ?.. Походъ?..

— Опоздали,—говоритъ „Атилла“, садясь на скамью. И узкіе глаза ея смѣются.—Ваше мѣсто занято.

— Тогда позвольте сѣсть рядомъ съ вами...

— Что-жъ?.. Садитесь... Покурите съ горя!..

— Я тронутъ,—язвительно улыбается онъ и протягиваетъ ей портсигаръ. Она важно закуриваетъ.

— Климовъ?—нервно бросаетъ дядюшка, затягиваясь.

— М-м...

Наступаетъ пауза. Федоръ Филипповичъ старается быть небрежнымъ и играетъ тростью, подымая коричневые листья съ влажной земли. Учительница лукаво косится. Она встряхиваетъ волосами, какъ мужчина, откидываетъ голову и окружаетъ себя облакомъ дыма.

— Давно?..

— Да съ часъ...

И опять курятъ молча. Анна Васильевна наслаждается смущеніемъ собесѣдника.

— Что ему тутъ нужно?

— Вамъ лучше знать...—Она откровенно хохочетъ.

Дядюшка топчетъ папиросу ногой и смотритъ на часы.

— Пойдемте къ ней навстрѣчу! Чего намъ тутъ сидѣть?

— Разсердится. Помѣшаемъ... Сидите...

Дядюшка встаетъ такъ живо, насколько позволяетъ нога.

— Съ какой стати я буду сидѣть?.. Чему мы можемъ мѣшать?

— Объясненію...

Онъ ударяетъ тростью о скамейку.

— Фу, чортъ!.. Извините, пожалуйста... (Я забылъ, что передо мной женщина,—хочетъ онъ сказать. Но во́-время сдерживается. Вооружать противъ себя сейчасъ этого „гунна“ невыгодно.)

— Какому объясненію?

— Ну, что вы, право... дурачкомъ прикидываетесь? Какое можетъ быть объясненіе... когда онъ влюбленъ?

— Кто?!

Она вдругъ откидывается назадъ всѣмъ корпусомъ и весело хохочетъ.

— Кто? Кто?.. Вы въ самомъ дѣлѣ... того... Климовъ, конечно...

Дядюшка блѣднѣетъ.

— Кли-мовъ? Да развѣ онъ...

— Эка невидаль!.. Или вы воображаете, что это привиллегія только для васъ—влюбляться и флиртовать?

Анна Васильевна очень довольна собой. У дядюшкя подкашиваются колѣни, и онъ садится.

— Послушайте... дорогая моя,—говоритъ онъ, придвигаясь,—вы пользуетесь такимъ вліяніемъ на Лик... на Лидію Яковлевну... Вы такъ близки... Неужели вы думаете, что между ними...

— Не думаю, а знаю навѣрно. Съ тѣхъ поръ, какъ этотъ... черносотенецъ сталъ ходить въ гости къ этой... какъ ее тамъ... дурѣ Лизогубъ... а Климовъ самъ ей строилъ куры...

Дядюшкѣ не до стиля. Онъ слушаетъ, не сморгнувъ.

— ... онъ и повадился сюда. Недавно мнѣ самъ сознался. „Жениться—говоритъ—хочу. Надоѣло жить бобылемъ"...

— А по... поли... тика?

— Какая теперь къ чорту политика? Всѣ устали, хлѣба ищутъ... По норамъ запрятались...

Дядюшка вынимаетъ надушенный платокъ и обтираетъ имъ выступившій потъ.

— Но позвольте... какая связь между Нелидовымъ и... Неужели вы допускаете, что Лидія Яковлевна имъ увлекалась?

Учительница подмигиваетъ.

— Знаете? Это идея... Ея ненависть не спроста... Недаромъ говорятъ, любовь и ненависть родныя сестры... А вѣдь онъ красивъ... Этого у него не отымешь...

„Вретъ... все вретъ... нарочно дразнитъ..." стонетъ у него внутри. „Лика слишкомъ цѣльный человѣкъ..."

— Но вѣдь насколько я понимаю... она съ Климовымъ были врагами по убѣжденіямъ...

— Столкуются... Чего тамъ!

— Они вѣчно спорили, — слабымъ голосомъ защищается дядюшка.—Наконецъ... развѣ ей къ лицу быть женой какого-то Климова... солить огурцы... варить яблоки... пе... пеленать дѣтей...

— Ну, дѣтей-то у нихъ, можетъ-быть, и не будетъ... Я тоже такую пару видѣла. Оба эсъ-деки... Кажется, чего бы лучше? Влюбились. Женились. Это въ самый разгаръ было... когда они тамъ, за границей, на съѣздѣ своемъ расплевались... Что-жъ вы думаете? Полугода не прошло,—счастію конецъ! Когда ни придешь къ нимъ, они все грызутся... Онъ меньшевикомъ оказался. А она большевичкой. Такъ и сверкаютъ глазами, такъ и наскакиваютъ другъ на друга! Особенно она... Онъ бы и радъ, бѣдняга, на мировую пойти... И гдѣ тамъ! Она и слышать не хочетъ... Изъ театра идутъ

по улицѣ — спорятъ. Въ гости придутъ — спорятъ. Къ нимъ кто придетъ—спорятъ. Самоваръ забываютъ подать... „Дѣтей у васъ нѣтъ?“ спрашиваетъ ее кто-то. А онъ съ такой горечью смѣется:— „Некогда намъ нѣжничать... Мы еще не доспорили“...

— Вонъ, кажется, это она...

Дядюшка болѣзненно встрепенулся и щурится.

— Приска... съ колодца идетъ... Сидите...

— Послушайте, Анна Васильевна... Я не могу... Я долженъ ее видѣть...

— Она мнѣ русскимъ языкомъ сказала: „Не ходите. Съ этимъ надо покончить...“

— Такъ и сказала?

Дядюшка опять вынимаетъ платокъ. У него совсѣмъ больной видъ. Учительница торжествуетъ. Климова она презираетъ. Но этотъ „господчикъ“... Она чувствуетъ, что Лидія къ нему неравнодушна.

— Да отчего бы ей, въ концѣ-концовъ, не снизойти къ этому... докторишкѣ?—говоритъ она, бросая папиросу.—Молодъ, здоровъ, не расшаталъ нервную систему разными тамъ... Парижами...

„Проклятая!“ внутренне стонетъ дядюшка.

— Если и умудрятся они дѣтей имѣть, то они у нихъ здоровыми будутъ, а не выродженцами... Не ослѣпнутъ въ дѣтствѣ... Да и зарабатывать онъ будетъ хорошо. Всѣ эти его „убѣжденія“ только сверху... Лѣтъ черезъ пять изъ него такой мѣщанинъ вылупится, что только держись!

Каждое ея слово переворачиваетъ ножъ въ его груди. Но этого ей мало. Со всей жестокостью женщины, которая ненавидитъ, она небрежно кидаетъ ему въ лицо:

— Вотъ кабы вы надумали жениться, на ней ли, на другой,— я ужъ прямо сказала бы: „Свинство!..“

Федоръ Филипповичъ вздрагиваетъ. Кровь кидается ему въ лицо.

Но въ эту минуту изъ-за поворота, въ аллеѣ показывается Климовъ. Онъ идетъ скоро-скоро, глядя себѣ подъ ноги. Трость его дѣлаетъ быстрые обороты въ воздухѣ и издаетъ свистъ. Лицо его красно и разстроено.

Внезапно онъ останавливается. Смотритъ на помертвѣвшее лицо дядюшки, на торжествующую усмѣшку учительницы... И, приподнявъ шляпу, идетъ еще быстрѣе. Почти бѣжитъ

— Скушалъ?—говоритъ улыбка учительницы.

Дядюшка вдругъ встаетъ. Блѣдный, элегантный, опираясь на трость. Приподнявъ холодно шляпу передъ „Атиллой“, онъ быстро ковыляетъ по аллеѣ.

— Куда вы?... И я съ вами...

Они идутъ молча, оба нервные и возбужденные. У него крѣпко стиснуты губы. Видъ рѣшительный.

Вдали на скамейкѣ бѣлѣетъ что-то. Дядюшка вдругъ останавливается и смотритъ въ упоръ на учительницу.

— Ни шагу дальше!—говоритъ онъ тихо, какими-то шипящими звуками. Но голосъ и тонъ у него новые.

— Что такое?—испуганно срывается у учительницы.

— Я долженъ говорить съ Лидіей Яковлевной. Говорить наединѣ... Я не могу... я не желаю, чтобъ вы вѣчно стояли между нами!.. Слышите?

Въ тонѣ его звучитъ глухая угроза. И глаза сверкаютъ. Его узнать нельзя... Но и у Анны Васильевны ноздри раздулись. И лицо загорается.

— Какъ вы смѣете? По какому праву?

— Безъ всякихъ правъ... Я убью васъ, если вы двинетесь дальше!.. Понимаете?... Убью...

Онъ задыхается. Рука его съ нервной силой бьетъ тростью по землѣ. Онъ страшенъ.

Она вдругъ понимаетъ. Останавливается. Глаза ея меркнутъ. Съ низко опущенной головой она поворачиваетъ. И идетъ назадъ медленно, не оглядываясь.

Онъ бредетъ, какъ въ туманѣ. Деревья и небо красны. Или это отъ заката? Или кровь ударила ему въ голову? Онъ шатается...

Вотъ она... Въ бесѣдкѣ, гдѣ они такъ часто сидѣли. Гдѣ она позволяла себя цѣловать... Почему позволяла? Безъ любви?.. Отъ скуки? Можетъ-быть, и съ тѣмъ тоже! Какъ узнать?.. Ахъ не все ли равно! Какая тутъ ревность?.. Какія права?.. Лишь бы одну минуту счастія... Развѣ жизнь ждетъ?

Она такъ задумалась, что не сразу слышитъ его шаги.

— Вы?

Съ легкимъ страхомъ глядитъ она въ его преображенное страстью лицо. Тяжелое объясненіе съ Климовымъ уже взвинтило ея нервы. Тутъ она разомъ теряетъ самообладаніе.

— Федоръ Филиппычъ...

Она хочетъ встать, испугавшись на этотъ разъ отчетливо того, что надвигается на нее; что ждетъ рѣшенія; что сторожило ее тутъ ужъ цѣлый годъ... что обезсиливало ее и покоряло...

— Да что такое съ вами? Пустите...

Но онъ рухнулъ на колѣни передъ нею, обхватилъ ее руками. И плачетъ. Судорожно плачетъ. И покрываетъ ея лицо и грудь поцѣлуями. И лепечетъ какія-то безсвязныя, безумныя, опьяняющія слова...

XI.

Вотъ онъ опять на родинѣ, въ степи, среди кургановъ, въ маленькомъ флигелѣ, гдѣ расцвѣло и умерло его короткое счастіе...

Телеграмма изъ Дубковъ звала его домой. Аннѣ Львовнѣ опять стало хуже.

Съ трепетомъ выходилъ Нелидовъ изъ вокзала маленькой станціи, и лицо кучера показалось ему такимъ роднымъ и близкимъ. Онъ ѣхалъ среди бархатныхъ луговъ, подъ пушистыми деревьями. Жаворонокъ звенѣлъ гдѣ-то высоко, въ яркомъ небѣ. Сладкая грусть охватывала душу въ этой знакомой съ дѣтства любимой степи. И хотѣлось счастія. Мучительно хотѣлось забвенія...

Нашелъ ли онъ его за границей? Да, минутами... Онъ охотился въ Шотландіи, гостилъ въ замкахъ, увлекался спортомъ, флиртовалъ съ молодыми дѣвушками. Онъ нашелъ тамъ и прежнихъ любовницъ... Все было, какъ три года назадъ... Ему даже казалось временами, что онъ совсѣмъ здоровъ.

Изъ Россіи приходили письма. Ему предлагали служить по выборамъ, баллотироваться въ предводители дворянства. За нимъ была большая партія. И то, что полгода назадъ казалось ему ненужнымъ и далекимъ, вдругъ стало манить... Онъ обѣщалъ вернуться...

Что-то лихорадочное, торопливое теперь въ его жестахъ, походкѣ, въ выраженіи лица... Ему показалось мало работы въ полѣ, охоты, визитовъ къ сосѣдямъ, заботы по кирпичному заводу. Онъ затѣялъ стройку новаго дома въ усадьбѣ... Онъ осуществлялъ свою грезу.

— Все куда-то торопится... Либо что потерялъ,—характеризуетъ его Климовъ въ разговорѣ съ Ликой и Анной Васильевной.—Въ немъ что-то дѣланное. Чувствуется трещина какая-то въ его душѣ. Прежней цѣльности нѣтъ...

— Такъ ему и надо!—смѣется учительница, жалѣющая Маню принципіально, какъ униженную женщину. Но Лика молчитъ. И странное лицо у нея. Мягкое и задумчивое...

Лизогубы и Галаганы встрѣчаютъ Нелидова съ распростертыми объятіями... Опять возрождаются надежды. Онъ и всегда былъ завиднымъ женихомъ. А теперь передъ нимъ открывается карьера.

И у Горленко волнуются, какъ сложатся теперь ихъ отношенія?

— Чѣмъ мы виноваты, что эта Манька такъ надругалась надъ нимъ?—говоритъ Вѣра Филипповна.—Онъ знаетъ, что мы безъ него навѣщали Анну Львовну... Что всѣ наши симпатіи на его сторонѣ!

— А Сонька?—спрашиваетъ мужъ.

— Ну, что такое Сонька?.. Какое ему дѣло до мнѣнія дѣвчонки? Развѣ не ты хозяинъ въ домѣ?

Но Горленко сокрушенно качаетъ головою и чешетъ за ухомъ.

Федоръ Филипповичъ разрѣшаетъ всѣ сомнѣнія. Онъ самъ ѣдетъ въ Дубки и возвращается съ Нелидовымъ. Чѣмъ ближе подъѣзжаютъ они къ усадьбѣ, тѣмъ молчаливѣе становится гость.

— Вотъ вамъ нашъ „знатный иностранецъ"!—шутитъ дядюшка.

Но блѣдный и подавленный всходитъ Нелидовъ на ступеньки террасы. Разговоръ его отрывистъ и разсѣянъ. Онъ внезапно оглядывается или смолкаетъ, устремивъ взглядъ въ аллею...

Послѣ чая онъ предлагаетъ дядюшкѣ пройтись по парку...

Они идутъ. Разговоръ ихъ падаетъ, обрывается, наконецъ замолкаетъ. Они у бесѣдки...

Вотъ гдѣ души его коснулась, проходя мелькомъ, великая и прекрасная Любовь... Та, что никогда не возвращается, которую многіе ждутъ и ищутъ на большой дорогѣ всю жизнь... И часто ждутъ напрасно... Не тамъ, въ лѣсу, гдѣ онъ взялъ Маню въ слѣпомъ и могучемъ желаніи,—нашелъ онъ Любовь. А здѣсь, когда нѣжность впервые затопила его сердце въ ту темную, незабвенную іюльскую ночь... И что бы ни дала ему жизнь потомъ, память объ этой ночи не поблѣднѣетъ никогда!

Федоръ Филипповичъ передавалъ потомъ Ликѣ, что горло у него сжалось невольно, когда онъ увидѣлъ лицо Нелидова.

— Нѣтъ... Онъ ее не забылъ... И не вѣрьте, если онъ даже женится на другой, что онъ забылъ эту Маню... Какъ дрогнулъ его голосъ, когда онъ отвелъ глаза и заговорилъ о какихъ-то пустякахъ!.. И жалкая была у него улыбка... Я свѣтскій человѣкъ, Лика... Но я самъ растерялся... Не нашелъ ни одного слова. И всю дорогу назадъ мы шли молча... И онъ этого даже не замѣтилъ...

Онъ больше не вернулся туда. Этотъ визитъ пришелся на Пасхѣ, когда Сони не было въ имѣніи. Тѣмъ лучше!.. Онъ боялся этой встрѣчи... Но зато чаще онъ сталъ бывать у Галагановъ. Наташа такъ кротка и внимательна!.. У нея слабый голосъ, мягкія манеры. Она глядитъ на него со страхомъ и нѣжностью... Иногда ему хотѣлось бы положить голову въ ея колѣни и ея пальчиками закрыть себѣ глаза... Молчать... И слушать ея лепетъ...

Но у нихъ же въ домѣ онъ увидалъ Катю Лизогубъ. Онъ и раньше зналъ ее. Но его раздражалъ когда-то ея безпричинный звонкій смѣхъ. И онъ не искалъ съ ней встрѣчи.

Въ этотъ вечеръ она такъ звонко и мило пѣла, подъ аккомпаниментъ Наташи, малороссійскія пѣсенки... Въ ея голосѣ не было души и тоски... Но глаза ея сверкали, и пылали щеки... И самый смѣхъ ея будилъ въ немъ радость.

Да, но все это было днемъ, днемъ... Все это было въ длинные майскіе вечера... Но оставались ночи... И въ эти ночи онъ бродилъ по парку одинъ. Нѣтъ, не одинъ... А съ своей тоской...

Откуда она?.. Изъ какихъ болотъ поднялась она опять и сѣла, какъ вампиръ, ему на грудь? Или она тутъ ждала его всю эту зиму, притаившись въ углахъ стараго дома? Или она подстерегала его за деревьями парка, гдѣ онъ грезилъ, гдѣ онъ страдалъ?.. Или гналась за нимъ по пятамъ изъ Лысогоръ, гдѣ на каждомъ поворотѣ аллеи ему чудился скрипъ каблучковъ по гравію, горячій шопотъ, серебристый смѣхъ?..

Отчаянно боролся онъ съ призраками...

Въ одинъ изъ вечеровъ онъ въ паркѣ увидалъ Наталку. Она спѣшила съ огорода. Звонко раздавалась ея пѣсня. Смуглыя босыя ноги бѣлѣли въ сумеркахъ...

Онъ прислушался къ ея голосу. И вдругъ словно вспомнилъ что-то. И пошелъ ей навстрѣчу.

И чѣмъ ближе подходила она, тѣмъ медленнѣе и тверже становились его шаги, и тѣснѣе сжимались его побѣлѣвшія губы. И когда онъ подошелъ къ ней вплотную и остановился, то лицо у него было бѣлое-бѣлое, а глаза полные желанія. Жестокаго и торжествующаго желанія.

И она все поняла съ перваго мгновенія. Голосъ ея оборвался, когда его руки тяжело опустились на ея плечи. Безпомощнымъ, заметавшимся взглядомъ, какъ Неизбѣжному, взглянула она въ его остановившіеся зрачки...

Лѣто идетъ. Полевыя работы въ разгарѣ. И онъ не даетъ себѣ ни минуты отдыха. Посвѣжѣвшій и веселый ѣдетъ онъ съ поля на стройку. Возвращается голодный и бодрый. Обѣдая съ матерью, онъ вскидываетъ блестящіе глаза на безшумно скользящую босоногую Наталку, которая служитъ за столомъ. Она поблѣднѣла, похудѣла... Пустяки!.. Вотъ за спиной Анны Львовны она ему чуть замѣтно улыбнулась... Ночью, когда домъ заснетъ, она придетъ къ нему, какъ всегда...

А вечеромъ онъ велитъ сѣдлать другую лошадь, любимую Джильду—и ѣдетъ къ Лизогубамъ. Тамъ ждетъ его Катя.

Онъ давно сталъ думать о ней... Она маленькая и хрупкая... *Та* была сильная, высокая и гибкая... Но о той надо забыть... А эта подъ рукою...

Почему ему казалось, что ему нужна жена, какъ Наташа Галаганъ, кроткая и стыдливая, съ ясными голубыми глазами и каштановой косой? Нѣтъ... Его тянетъ къ шаловливой, кокетливой Катѣ... У нея черные вьющіеся волосы... Почти такіе же... Немного темнѣе. И кожа смуглая. Того румянца нѣтъ... Но она тоже красива... Не такъ, конечно... Нельзя быть красивѣе той!

Но, вѣдь, та далеко. Та умерла для него... Ту надо забыть...

И глаза у Кати темные... Меньше, чѣмъ у той. Другихъ такихъ глазъ нѣтъ!.. Нѣтъ нигдѣ... Но и у Кати длинныя, черныя рѣсницы... И губы у нея алыя.

Но онѣ непохожи на цвѣтокъ, какъ губы той, которую такъ трудно забыть...

Ахъ, это вздоръ! Онъ ее забудетъ, когда Катя станетъ его женой... Онъ справится съ чувствомъ, вцѣпившимся въ его душу... Онъ восторжествуетъ надъ жизнью, поймавшей его въ капканъ!.. Онъ получитъ свою неотъемлемую долю счастія, простого, немудраго... какъ у всѣхъ... Ему нужна молодость, радость, смѣхъ... темные глаза, алыя губы, смуглая грудь... Все это онъ найдетъ у другой. И будетъ счастливъ... Во что бы то ни стало!

XII.

Отъ Мани къ Сонѣ Горленко въ Лысогоры. Тироль.

20-е сентября.

„Нина заснула, и я пользуюсь свободной минуткой, чтобы отвѣтить тебѣ, наконецъ, на твои три письма... Почему я молчу?.. Потому что я счастлива... и мнѣ нечего тебѣ сказать... Помню, я всегда писала дневники, когда страдала или ждала чего-нибудь отъ жизни... Но сейчасъ я живу, какъ растеніе... Радуюсь солнцу, воздуху, тучкѣ, тающей въ небѣ; букашкѣ, которая ползетъ въ травѣ... Все близко мнѣ, все понятно... Я чувствую въ себѣ частицу міровой души... Я ясно чувствую въ эти мгновенія, что никогда не умру, не исчезну всецѣло... что за этой жизнью ждетъ насъ иная... И смерть мнѣ не страшна.

„Я каждый вечеръ иду въ горы, чтобы видѣть закатъ и слушать тишину. А... ты удивлена? Ты не знаешь, бѣдняжка, въ твоей суетливой деревнѣ, въ твоей шумной Москвѣ, что такое тишина въ горахъ... У нея есть голоса. И ихъ надо умѣть слушать. Когда они зазвучатъ, въ душѣ смолкаетъ все земное.

„Ты спрашиваешь, какіе у меня планы на будущее?.. Планы и я?.. Ха!.. Ха!.. Какъ все это чуждо звучитъ здѣсь, среди горъ!.. А развѣ есть планы у эдельвейса? У лиственницы? У той бѣлой козочки, которая прыгаетъ тамъ высоко, на горной тропинкѣ?

„Но если ты думаешь, что у цвѣтка нѣтъ души, что у животныхъ нѣтъ минутъ блаженнаго созерцанія,—то мнѣ жаль тебя, Соня!.. И я хочу быть этимъ бездумнымъ цвѣткомъ, который страстно тянется къ солнцу. Я хочу быть этимъ безмолвнымъ животнымъ, которое застывшими глазами глядитъ вдаль... Ради Бога, не нарушайте словами этого молчанія!

„Я знала здѣсь минуты такого экстаза передъ лицомъ снѣжныхъ вершинъ!.. Я знала такія удивительныя минуты...

„Вчера... Но дай слово, что ты никому не покажешь моего письма!.. О, какъ дивенъ былъ закатъ вчера! Я была одна наверху... Я точно опьянѣла... Я широко раскрыла руки... Эта ширь, эта даль, пронизанная огнистымъ золотомъ... И я закричала... Что?.. Не знаю... Это былъ такой стихійный взрывъ радости... Мнѣ надо было кричать, чтобы не задохнуться... Потомъ я въ слезахъ упала на землю и цѣловала ее... Это безуміе, скажешь ты, моя строгая, моя уравновѣшенная Соня? Но я не хочу вашей мудрости, если она не знаетъ такихъ минутъ!

„Какъ часто я ложилась на землю, прогрѣтую солнцемъ, и смотрѣла въ небо, опрокинутое надо мною... И время исчезало. И жизнь останавливалась... Я слышала, какъ дышитъ земля, какъ бѣгутъ въ ней соки, какъ незримо тянутся къ солнцу ростки, упорно прокладывая себѣ путь черезъ мракъ и безмолвіе... Я это слышала...

„Я глядѣла въ свою душу часами. И видѣла, какъ растетъ эта маленькая, замученная жизнью душа... Мои чувства были молитвой. Мои крики были гимномъ. Безсознательнымъ гимномъ всему живому, какъ ароматъ цвѣтка, какъ лепетъ ручья, какъ пѣніе птицъ. Развѣ не говорятъ они каждымъ дыханіемъ, каждымъ звукомъ: „Да здравствуетъ жизнь!..“ Дадутъ ли тебѣ твои курсы и люди, окружающіе тебя, хоть частичку того, что дали мнѣ здѣсь горы и лѣсъ?.. Я молода, здорова и счастлива. Вотъ все, что я знаю!... И если тебѣ этого мало, скажи, что нужно еще?

„Нина и горы... Между ними я дѣлю мою жизнь. И не знаю, съ кѣмъ изъ нихъ я счастливѣе... Ахъ! Но это такое разное чувство! Общее въ нихъ—мистическій элементъ, которымъ проникнуто сейчасъ все мое *я*. Видишь ли, нельзя жить среди горъ и не думать о Вѣчности... Боюсь, что и здѣсь ты меня не поймешь... Ты давно разучилась молиться.

„Изъ писемъ Агаты, ты знаешь, что я не могла кормить. „Грудь твоя создана для любви“, сказала мнѣ Агата. Я чуть не побила ее... Мы теперь кормимъ Нину на рожкѣ. Ей пошелъ шестой мѣсяцъ. Она всѣхъ знаетъ въ лицо. У нея свои опредѣленныя симпатіи... У нея и сейчасъ характеръ и темпераментъ. Мы съ трепетомъ слѣдимъ за пробужденіемъ этой души. Каждый день несетъ намъ откровенія... Новая жизнь возникла. Новая индивидуальность расцвѣтаетъ между нами. Мы—взрослые—ничего не прибавимъ и не убавимъ къ ней. Съ нею она явилась въ міръ. И нигдѣ въ мірѣ уже не повторится она, Единственная. Живое чудо, возникшее изъ слѣпого желанія мужчины, который не любилъ. Да будетъ благословенно это желаніе!

„Но я ревнива, Соня. Я безумна. Когда эти голубые глазки улыбаются Агатѣ, или съ моихъ рукъ она рвется къ Марку (о, она слишкомъ любитъ его!..)—я страдаю... Не смѣйся и не осуждай меня! Одной себѣ я хотѣла бы взять всѣ ея привязанности, всѣ ея улыбки.

„И какъ она капризна, наша принцесса! Я съ восторгомъ слѣжу за проявленіями ея воли. Какъ она умѣетъ хотѣть, эта маленькая женщина! Какъ она ярко чувствуетъ! Какъ она настойчиво требуетъ!.. Навѣрно я не была такой... Я даже не смѣю сказать, какъ другія матери, что люблю въ ней себя... Помнишь пожаръ въ Дубкахъ, о которомъ разсказывалъ дядюшка? Эту гордую старуху, *его* мать... Она, не сморгнувъ, глядѣла, какъ въ огнѣ погибалъ домъ ея предковъ со всѣми сокровищами... Рядомъ стояли крестьяне, но она ихъ помощи не попросила... Мнѣ думается почему-то, что Нина—вся въ нее...

„Она родилась, чтобъ я служила ей. Я знаю, что въ жизнь она войдетъ съ гордо поднятой головой, какъ входятъ въ нее только красивыя. Я знаю, что она будетъ жестока и послѣдовательна. Что она будетъ свободна.

„Мнѣ нечему научить ее. Если бы сейчасъ какимъ-нибудь чудомъ ей исполнилось 16 лѣтъ, и стоя на порогѣ, она спросила бы меня: „Ты знаешь, куда идти?“ Я молча опустила бы голову и молча распахнула бы передъ нею дверь въ Невѣдомое.

„Помнишь ли ты, Соня, этотъ вечеръ въ Лысогорахъ, когда я вернулась, страдающая и униженная изъ моей прогулки съ Н.?.. Помнишь, какъ я плакала на твоей груди, оскорбленная этимъ желаніемъ безъ любви? Потому что онъ не любилъ меня. Меня, какая я есть... И я это угадала, хотя не знала жизни... Изъ моихъ слезъ въ ту ночь зародилось мое дитя, мое счастіе.

„Вотъ почему я никогда не буду ненавидѣть ея отца. Вотъ почему я простила ему давно всѣ мои страданія... Что случилось, должно было случиться. Иначе не могло быть.

„Если ты встрѣтишь его, Соня, скажи ему, что я счастлива...“

Лѣтняя страда кончилась. Отшумѣла суета работъ. Настала осень.

— Ахъ, Николенька, тихо у насъ въ домѣ!—говоритъ Анна Львовна.—Если-бъ здѣсь были дѣти, смѣхъ, молодость... У насъ тоска ходитъ по комнатамъ. И я слышу ея шаги. Прежде хоть Наталка пѣла. Теперь и она плачетъ... Почему ты не женишься, Николенька?

Но онъ еще крѣпится. Онъ держится за свою свободу; за право тосковать, за право молчать по цѣлымъ суткамъ и бродить

по болотамъ, никому не отдавая отчета, что дѣлаетъ онъ съ своими днями, съ своей молодой жизнью... За право вспоминать... проклинать и ненавидѣть. Когда онъ женится, и это право онъ отниметъ у себя—самъ! Самъ... Чтобъ быть честнымъ. Чтобъ быть вѣрнымъ... Развѣ, цѣлуя другихъ женщинъ, не цѣловалъ онъ лицо той, единственной, которую нельзя забыть? И не ея ли глаза-звѣзды глядѣли на него во снѣ?

И онъ борется. Онъ хочетъ побѣдить жизнь, сцѣпившуюся съ нимъ грудь-о-грудь въ тайномъ, безмолвномъ поединкѣ. Онъ ищетъ спасенія въ лихорадкѣ новыхъ плановъ, открывающихся передъ нимъ, въ новой дѣятельности. А въ праздники пропадаетъ съ ружьемъ на цѣлые дни. И возвращается одичалый, съ кровью на рукахъ, съ жестокимъ блескомъ глазъ проснувшагося звѣря... И когда домъ засыпаетъ, онъ ждетъ Наталку.

Изъ чувства самосохраненія, въ борьбѣ съ жизнью, онъ совершилъ и эту подлость... Да, подлость... Онъ не ищетъ оправданій... Онъ сдѣлалъ это сознательно... Но развѣ это было счастіе?

— Прощайте, панычъ! Не поминайте лихомъ!—говоритъ ему, заливаясь слезами, Наталка въ ихъ послѣднее свиданіе, наканунѣ ея свадьбы.

Ее беретъ за себя молодой, красивый парень изъ сосѣдняго хутора. Беретъ, закрывая глаза на прошлое, которое ни для кого уже не тайна, кромѣ Анны Львовны. Онъ не разъ сватался къ ней и прежде. А теперь старая пани даетъ за крестницей приданое, какъ за панночкой.

Но Нелидовъ знаетъ, что слезы Наталки искренни. Онъ понимаетъ, что и она несчастна; что и она, какъ онъ, дѣлаетъ отчаянную попытку склеить разбитую жизнь. Съ нѣжностью, такъ мало свойственной его натурѣ, онъ прижимаетъ къ себѣ въ эту ночь это бѣдное дрожащее тѣло, дававшее ему иллюзію забвенія и радости... И думаетъ: „И эта уйдетъ, и я останусь одинъ"...

Теперь онъ боится одиночества. Днемъ онъ еще кружитъ и мечется отъ завода на стройку, оттуда на охоту или къ сосѣдямъ...

Но остаются ночи. Безконечныя ночи, когда дождь царапаетъ по стекламъ, и тьма непроглядна... Когда сонъ далекъ, а память неумолима...

XIII.

— Мамаша. Онъ ѣдетъ...

— Что такое?

— Нелидовъ ѣдетъ къ намъ...

— Ахъ, Боже мой!.. Катя, почему ты въ сѣромъ? И не завита?

— Не все ли равно, мамаша?

— Что же ты плачешь, глупая? Поди, напудрись...

— Нѣтъ... Все равно... Теперь все равно...

— Господи! Какъ ты дрожишь!.. Подумаешь, тебя неволятъ...

— Молчите, мамаша! Не мучьте! Вы ничего не понимаете... Я выйду потомъ... Примите его...

Онъ уже въ гостиной. Пріѣхалъ въ коляскѣ, не верхомъ. На немъ смокингъ. Стоя у окна, онъ глядитъ на бурую траву лужайки, на стаю индюшекъ, которыя ищутъ зеренъ въ стогу соломы, около риги. Заборъ покривился и упалъ. Ворота покосились. Крыльцо параднаго подъѣзда расшаталось. Домъ приходитъ въ ветхость. Чудный, старый домъ. Лизогубъ—плохой хозяинъ. И эта дворянская небрежность всегда раздражала Нелидова. Но сейчасъ онъ ничего не замѣчаетъ. Онъ слишкомъ полонъ собой.

Хмуро дремлетъ тяжелая мебель изъ краснаго дерева. Громко тикаютъ старинные часы empire въ длинномъ футлярѣ. Въ окна смотрятъ липы. Потолокъ низкій, и поэтому въ комнатѣ уже темно, хотя солнце еще не сѣло.

Онъ стоитъ у окна, высокій и стройный. Но лицо у него больное и угрюмое. Губы сжаты. Онъ терпѣливо ждетъ.

Рѣшеніе принято. Онъ обдумалъ его давно. „Довольно!“ сказалъ онъ себѣ съ гордой злобой. „Хочу быть счастливымъ. Все предать забвенію!“ И вотъ въ своей жестокой борьбѣ съ любовью къ Манѣ—онъ выдвигаетъ послѣдній козырь: женитьбу.

Дверь скрипнула. Онъ оборачивается.

Входитъ Катя. На ней сѣрое платье. Волосы не завиты. Лицо не напудрено. Глаза покраснѣли отъ слезъ. Она не ищетъ нравиться. Ее страшитъ судьба, которую не избѣжишь.

Онъ цѣлуетъ ея руку.

— Пойдемте въ садъ,—говоритъ она. И идетъ впереди. Вся маленькая, вся съежившаяся подъ его тяжелымъ взглядомъ. Ахъ, если-бъ найти прежнюю радость!.. Развѣ не эту радость онъ полюбилъ въ ней?.. „Полюбилъ ли?“ спрашиваетъ голосъ.

Бѣдная Катя выросла за эти полгода, когда кругомъ всѣ стали шептаться о возможности брака. Она, не плакавшая никогда, узнала, что такое отчаяніе. Сколько разъ она ждала признанія! Сколько разъ съ горечью называла себя безумной! Онъ не могъ забыть ту... Вотъ почему онъ постарѣлъ на десять лѣтъ. И глаза его такъ жестки... Можно ли надѣяться, что въ нихъ загорится нѣжность?

Они входятъ въ аллею. Липы уже опали. Далеко видны черезъ нихъ заглохшій паркъ, запущенный фруктовый садъ, весь заросшій прудъ и почернѣвшія гряды кавуновъ и дынь. Листья коричневымъ ковромъ устилаютъ землю. Въ догорающихъ лучахъ солнца, на дорогѣ, грѣется ужъ. Увидавъ людей, онъ сверкаетъ кольцами тѣла и беззвучно скрывается подъ мертвой листвой.

— Сядемте здѣсь,—глухо говоритъ Нелидовъ.

Скамья покривилась, обросла мохомъ. И вся еще влажная отъ утреннихъ росъ. Небо сине, но холодно. Клены желтѣютъ, какъ золото. Тополи стоятъ гордо, всѣ еще зеленые. Но смерть идетъ по парку, безшумная, неторопливая... И гдѣ ступитъ она, тамъ падаетъ листъ.

Онъ молча беретъ ея руку. Катя дрожитъ, опустивъ голову.

— Милая,—говоритъ онъ тихо и печально. И мягко цѣлуетъ ея пальцы.—Милая, Катя... Вы знаете, зачѣмъ я здѣсь?

Она опускаетъ еще ниже голову. Ея губы трепещутъ.

Онъ тихонько обнимаетъ ея талію. И голова ея лежитъ теперь на его плечѣ. Она закрыла глаза. Сердце ея такъ бурно бьется... Страхъ или радость? Что сильнѣй?

Онъ смотритъ молча. Длинныя черныя рѣсницы. И тѣнь отъ нихъ падаетъ на смуглыя щечки. Какъ у *той*...

Алыя губы открылись... Эта тоже прекрасна.

Онъ наклоняется и цѣлуетъ ее въ губы.

Все тѣло Кати трепещетъ въ его рукахъ. Но онъ держитъ ее крѣпко и цѣлуетъ тихонько ея рѣсницы, ея вѣки, ея лобъ и брови. Онѣ тоненькія, изогнуты шнурочкомъ. Онѣ не капризныя, какъ у той... Онѣ спокойныя... Тѣмъ лучше! Онъ будетъ ихъ любить, эти черныя брови.

— Меня измучило одиночество,—говоритъ онъ.—Мамà больна. Не дождется внучатъ... Хочетъ умереть спокойно, среди ласки и радости. А вы будете доброй женой... Мнѣ нужна эта нѣжность... Мнѣ нуженъ сынъ, наслѣдникъ моего имени... У насъ такъ мрачно въ домѣ, Катя! Но у васъ есть молодость!.. Вы такъ звонко смѣетесь... У васъ радость въ душѣ. Согрѣйте насъ этой радостью! Мы о ней забыли...

„Ни слова о любви“, думаетъ Катя. „Я угадала...“

Но что до того? Безумное наслажденіе въ его объятіи!.. Сердце таетъ въ груди отъ его поцѣлуевъ. Жажда счастія кружитъ голову. И страхъ ея передъ нимъ блѣднѣетъ... Она поднимаетъ рѣсницы. И жадно глядитъ снизу вверхъ въ его наклонившееся надъ нею лицо, въ его потемнѣвшіе глаза.

— Скажите, что вы любите меня!

Это срывается у нея безсознательно, съ мольбой.

И онъ говоритъ мягко и грустно:

— Я буду любить васъ, Катя. Вы прогоните всѣ призраки. Съ вами въ мой домъ войдетъ солнце. Ваша любовь дастъ мнѣ покой. Я усталъ... Я такъ усталъ за этотъ годъ!..

Она ждетъ, насторожившись... Онъ смолкаетъ.

„Только-то!...“ Въ порывѣ отчаянія она забываетъ свою робость,

страстно обнимаетъ его голову и молитъ, прижимаясь щекой къ его щекѣ:

— О, скажите, что вы будете любить меня!... Меня одну... Всегда... Поклянитесь мнѣ... Я такъ хочу счастія!.. Я тоже измучилась...

И онъ дрогнувшимъ голосомъ говоритъ съ тоской, крѣпко обнимая это хрупкое тѣльце, которое словно проситъ у него защиты отъ безпощадной жизни:

— Я буду любить васъ, Катя... Нѣжно, неизмѣнно... вѣрно... Какъ мужъ долженъ любить свою жену... Вотъ въ эти маленькія ручки я отдаю себя. Мою душу и жизнь. Не разбейте ее легкомысленно... какъ ребенокъ надоѣвшую ему куклу... Не дайте мнѣ разочароваться въ...

Голосъ его вдругъ срывается. Она замираетъ у его сердца, широко открывъ глаза...

Маня встала между ними. Она тутъ...

И, какъ бы раздѣляя ея ужасъ, онъ прижимаетъ ее къ себѣ такъ сильно, съ такимъ отчаяніемъ, что она боится задохнуться.

— Катя, милая... Будьте кротки со мной и терпѣливы!.. Я могу быть рѣзкимъ... Я часто бываю угрюмымъ... Простите мнѣ заранѣе мою усталость и хандру. Вамъ только двадцать лѣтъ... И вы не знаете, что такое тоска... Но я хочу быть счастливымъ! Хочу...

И, словно опьяняя себя, онъ цѣлуетъ ея вѣки, брови, ея черныя рѣсницы, ея алый ротъ...

Взрывъ погасъ... Онъ молчитъ... Солнце заходитъ. Стало холодно... И безшумная тѣнь ложится на ихъ души.

— Мы поѣдемъ за границу?—вкрадчиво шепчетъ она.

— Нѣтъ. Не теперь... Мама̀ больна. Я не могу ее оставить... Мы съѣздимъ въ Петербургъ на недѣлю. Вы любите оперу?

— Да. Я все люблю... И оперу, и театръ, и балы... Особенно балы... Больше всего я люблю танцы и толпу...

— Вамъ будетъ скучно со мною.

— О нѣтъ!.. Но мы, вѣдь, не всегда будемъ жить въ деревнѣ?.. Я такъ мечтала о столицѣ! Я ненавижу деревню...

И въ голосѣ ея уже звучитъ разочарованіе.

Онъ сидитъ недвижно, выпрямившись, съ тѣсно сжатыми бровями. Ея головка лежитъ на его груди. Но онъ ее не чувствуетъ.

Изъ прошлаго звучитъ голосъ другой:

„Я буду жить вблизи отъ тебя. Гдѣ-нибудь на селѣ... Я сниму комнатку. И сдѣлаю изъ нея волшебный уголокъ... И мы будемъ любить другъ друга...

Они сидятъ, обнявшись. Далекіе. Чужіе... Ея смѣхъ стихъ. Она чувствуетъ, что онъ думаетъ о другой.

ЧАСТЬ III.

. . . .
Чѣмъ я выше всходилъ, тѣмъ свѣтлѣе сверкали,
Тѣмъ свѣтлѣе сверкали выси дремлющихъ горъ,
И сіяньемъ прощальнымъ какъ будто ласкали,
Словно нѣжно ласкали отуманенный взоръ.

Бальмонтъ.

I.

Завтра Маня покидаетъ эту долину. Мирную долину счастія.

Въ ущельѣ грозно вылъ вѣтеръ подъ утро. За одну ночь лѣсъ побурѣлъ. Онъ сразу сталъ старымъ. Листья его лежатъ на землѣ. Гертруда, которая приноситъ имъ хлѣбъ и сливки, сказала, что на разсвѣтѣ былъ первый морозъ. Но днемъ опять засіяло солнце, и стало тепло.

— Пора уѣзжать,—говоритъ фрау Кеслеръ.—Принцессѣ будетъ холодно... Сейчасъ она возьметъ послѣднюю ванну.

Маня съ трепетомъ слѣдитъ всегда за этимъ купаньемъ. Ее удивляетъ смѣлость, съ какой фрау Кеслеръ ворочаетъ и нахлопываетъ въ ваннѣ это маленькое тѣльце.

— Дивный закатъ, Агата! Завтра опять будетъ солнечный день...

— Все равно! Мы уѣдемъ. Нина можетъ простудиться въ нетопленой комнатѣ. Она не богема, какъ мы съ тобой. Ей нуженъ комфортъ.

— Я пойду проститься съ горами,—говоритъ Маня со вздохомъ.

— Ступай! А я буду укладываться.

. . . .

Маня поднимается цѣлый часъ. Далеко внизу остались сосны и лиственницы. Кругомъ низкорослый кустарникъ. Нѣтъ уже бабочекъ. Нѣтъ насѣкомыхъ. Всѣ погибли въ одну ночь. Неподвижныя ящерицы грѣются на солнцѣ.

Она идетъ все выше. Горизонтъ раздвигается. Она устала. Но это ничего... Она идетъ на свиданіе... И сердце ея дрожитъ отъ предвкушенія блаженства.

Она ложится на землю, согрѣтую солнцемъ, и смотритъ внизъ. Тамъ уже сумерки, и лѣсъ вдали сталъ лиловымъ. Городокъ по ту сторону озера и деревня, гдѣ онѣ живутъ, кажутся отсюда игрушками. Домики словно вырѣзаны изъ картона. Церковь съ колокольней свѣтится, вся бѣлая.

Тѣни отъ горъ упали въ долину. Кое-гдѣ зажглись огоньки. Крохотные люди гонятъ съ горъ крохотное стадо по тонкой, какъ ленточка, тропинкѣ. Вонъ черезъ ручей перекинутъ мостикъ. Совсѣмъ какъ картина... И все беззвучно, какъ на картинѣ.

Тѣни внизу все сближаютъ свои чудовищныя головы. Скоро вся деревушка засвѣтится десятками глазъ. Потомъ они погаснутъ. И только въ окнѣ Агаты будетъ еще свѣтъ.

Но здѣсь, наверху, еще день... Вонъ брызнули изъ ущелья лучи уходящаго солнца. И все сѣрое кругомъ стало алымъ. Камни улыбнулись...

Но это длится недолго... „Какъ наша радость. Какъ наша юность", думаетъ Маня... „Надо спѣшить".

И она идетъ опять...

Наконецъ... Кругомъ скалы, мохъ и папоротники. Ни одного голоса, ни одного звука...

Она одна. Она и горы вокругъ...

Горизонтъ раздвинулся. Открылся новый міръ.

Альпы, чуть видныя изъ долины, въ просвѣты между горами, какъ далекія тучи,—стоятъ передъ нею теперь, грозныя, неприступныя. Ихъ вершины свѣтятся. Это блестятъ вѣчные снѣга. Люди не загрязнятъ ихъ чистоты. Не нарушатъ ихъ одиночества.

Маня садится на камень и смотритъ на нихъ.

Грудь ея расширилась. Она открыла губы и пьетъ горный воздухъ, не оскверненный дыханіемъ живыхъ.

Сосны на первой грядѣ горъ пониже еще пламенѣютъ въ лучахъ заката. И зардѣлись верхушки Альпъ... Скоро погаснутъ.

Но она шла сюда для этихъ нѣсколькихъ короткихъ мгновеній, чтобы видѣть солнце, уходящее въ другой міръ, гдѣ просыпаются сейчасъ другіе люди, гдѣ шумитъ далекая и непонятная ей жизнь... Чтобъ сказать горамъ свой послѣдній привѣтъ.

Онѣ безмолвны. Что знаютъ онѣ? О, многое! Онѣ мудрыя, вѣщія...

„Люблю васъ, горы", думаетъ Маня. „Люблю ваше молчаніе и суровость. Ваше недоступное людямъ, непостижимое намъ, смертнымъ, одиночество. Я пришла къ вамъ, больная и слабая. И ухожу отсюда сильной. Люблю васъ за то, что вы—выше жизни! Выше долины съ ея крохотными людьми и крохотными печалями. Среди васъ стихаетъ тоска, и у человѣка растутъ крылья. Вы и звѣзды надъ вами,—вы научили меня многому: не бояться смерти; со-

знавать себя частицей міровой души. Цѣнить молчаніе. Любить одиночество. Быть свободной отъ всего: отъ словъ, отъ взглядовъ, отъ мнѣній и приговоровъ.

„ ...Когда-то все было для меня здѣсь, на землѣ. На прекрасной землѣ. Вы дали мнѣ предчувствіе высшей, потусторонней красоты.

„ ...За гранями вашихъ вершинъ заходитъ солнце. И тамъ другая жизнь. И я гляжу очами души за грани земного и предчувствую иной міръ.

„ ...Вы похожи на башню, о которой говоритъ Янъ. Разверните передо мной горизонты! Раздвиньте вашу каменную грудь!.. Чтобъ я познала иную красоту, чтобъ я забыла мои женскія иллюзіи... чтобъ я увидала мерцающій путь къ высокой башнѣ...“

Гаснутъ облака въ небѣ, и тускнѣютъ снѣжныя гряды горъ. Долина внизу уже свѣтится огнями. Пора спускаться.

Маня встаетъ. Широко распахиваетъ объятія, тоскливо оглядываетъ горизонтъ, всѣ по очереди знакомые пики... Потомъ медленно начинаетъ спускаться по знакомой тропинкѣ. Шагъ за шагомъ...

И все-таки скоро!.. Горы исчезнутъ сейчасъ.

Вонъ свѣтятся только верхушки. Еще нѣсколько шаговъ внизъ... И видны одни только пики самыхъ высокихъ вершинъ...

— Прощайте!.. Прощайте!—кричитъ Маня срывающимся голосомъ.—Я вернусь... Я скоро вернусь...

Она бѣжитъ внизъ съ полными слезъ глазами.

Фрау Кеслеръ спитъ. Но Маня еще сидитъ на крыльцѣ, и смотритъ на звѣзды и на черные силуэты ближнихъ горъ. Угрюмо столпились онѣ вокругъ маленькой долины.

Здѣсь она была счастлива. Что дастъ дальнѣйшая жизнь?

Она закрываетъ глаза и смотритъ въ свою душу. И изъ густого мрака выступаютъ сверкающіе торсы мраморныхъ боговъ, творенія Фидіаса и другихъ, имена которыхъ не дошли до насъ... Что до того? Ихъ мысль безсмертна. Двѣ тысячи лѣтъ не разрушили мраморной грезы. Земля не изглодала божественныхъ чертъ. И человѣчество склонилось передъ статуями въ неутолимомъ стремленіи человѣка къ безсмертію.

Правда здѣсь?..

Вдругъ мраморные боги, сверкающіе и горделивые, летятъ въ беззвучную пропасть... Мчится толпа, оборванная, некрасивая, съ испитыми лицами, съ пылающими глазами. Замелькали изнуренныя женщины съ прижатыми къ груди дѣтьми. Лица искажены страстью. Кулаки подняты. Проклятія несутся вслѣдъ поѣзду. И это ужасное лицо кондуктора...

Что имъ статуи? Что имъ красота?

Налетающій порывъ вѣтра треплетъ концы шали на плечахъ Мани... Холодно. Надо итти. Завтра поѣздъ пойдетъ рано. Понесетъ ее къ Невѣдомому.

Она встаетъ. Глядитъ въ небо, горящее миріадами звѣздъ. Такая маленькая. Ничтожная. Смертная.

„Но у меня жизнь впереди. Цѣлая жизнь! Моя!! И я не пройду ее безслѣдно, я это чувствую... Хочу этого для себя и для Нины! Хочу, чтобъ она гордилась мной. Хочу проложить себѣ путь къ счастію. Къ новому счастію".

... Вдругъ закачались платаны на римской площади. Сверкнули глаза женщины въ черномъ на углу...

Почему она безсильна ихъ забыть? Почему нѣжная ткань воспоминаній вдругъ разрывается этимъ хриплымъ голосомъ?

Что общаго между печалями жизни и горными высотами, куда взлетаетъ наша душа на крыльяхъ искусства?

Не разъ здѣсь, въ мирной долинѣ, снились ей эти глаза.

„... Чѣмъ сильна ты, нищая, съ впалой грудью и измученнымъ лицомъ? Съ вершины какой крѣпости кинула ты намъ—счастливымъ и свободнымъ—свое презрѣніе? Что искупаетъ твои лишенія? Что вознаграждаетъ тебя за голодъ? Гдѣ бѣгутъ и звенятъ ручьи живой воды, наполняющіе твою душу—душу бѣдной невѣжественной женщины—такой силой, такой вѣрой?

„... Можетъ-быть тутъ разгадка? Счастіе? Удовлетвореніе?

„... Нѣтъ! Не для меня. Искусство выше жизни. Янъ зоветъ подняться надъ нею. Зоветъ познать себя, найти путь къ послѣдней свободѣ... Буду искать..."

Звѣзды сіяютъ съ темнаго неба, кроткія и далекія. Она смотритъ на нихъ. Маленькая, жалкая, мятежная.

Два пути мерцаютъ передъ нею во тьмѣ.

Который изъ нихъ вѣрный?

II.

Штейнбахъ стучится въ номеръ меблированныхъ комнатъ, на Петровкѣ.

— Кто тамъ?—слышится мягкій женскій голосъ, съ оттѣнкомъ нетерпѣнія.

— Васъ можно видѣть?

Секунда молчанія за дверью. Потомъ, радостное:

— Ахъ... Вы?.. Какое счастіе!..

Штейнбахъ криво улыбается, снимая перчатку.

— Одну секунду, баронъ, — говоритъ трепещущій голосъ за дверью.—Я въ блузѣ...

— Это пустяки, Лили...

— Сейчасъ... сейчасъ...—Голосъ звучитъ еще глуше.

„Пудрится... или чернитъ брови?..“ думаетъ онъ.

Дверь распахивается. И съ порога они глядятъ другъ другу въ глаза хищно и радостно, каждый съ своимъ затаеннымъ желаніемъ, съ памятью прежнихъ ласкъ.

Когда она запираетъ дверь, онъ протягиваетъ ей руки. Но она порывисто обнимаетъ его и прижимается къ нему всѣмъ тѣломъ.

— Боже мой!.. Какъ давно!.. Почему такъ давно?

— Два мѣсяца,—говоритъ онъ, улыбаясь спокойно. И съ холоднымъ удовольствіемъ разглядываетъ всѣ линіи этого гибкаго, молодого тѣла, которое онъ давно знаетъ, къ которому никогда не оставался равнодушнымъ. Мягкая фланель капотика ложится красивыми складками, не скрадывая ничего. На ярко-бѣлой шеѣ глубокій вырѣзъ.

Лили блондинка средняго роста. И у нея типъ, который нравится мужчинамъ. Она не красавица, но въ ней кошачья грація, мягкость жестовъ и линій. Она женщина вполнѣ. Когда она волнуется, румянецъ поминутно окрашиваетъ ея щеки, и маленькія ноздри ея раздуваются. Ея темпераментъ всегда увлекалъ Штейнбаха.

Они садятся на мягкій диванчикъ.

— Ваши пальчики въ чернилахъ... Вы работали, Лили? Я помѣшалъ?

— Какъ можно! Вы вдохновите меня. Кончаю разсказъ для одной новой газеты... Вы слышали о *Дорогѣ*?

Штейнбахъ морщится.

— О... господинъ аристократъ!.. Мнѣ трудно выбирать... Мнѣ надо жить... И дѣлать себѣ имя...

— Плохой путь вы выбрали для этого, Лили... Эта „дорога“ заведетъ васъ въ грязь...

Она задумывается на минуту. И Штейнбахъ видитъ въ лицѣ ея ту печаль, что такъ заинтересовала его три года назадъ, когда на литературномъ юбилеѣ онъ впервые увидалъ ее, одинокую, растерявшуюся, всѣмъ чуждую... Онъ подошелъ къ ней самъ тогда и представился. Въ тотъ же вечеръ онъ былъ ея любовникомъ.

— Мнѣ говорилъ N***... Вы знаете его, конечно?.. „Печатайтесь какъ можно скорѣе... Не гонитесь за направленіями, все это вздоръ!.. Надо, чтобъ публика читала время отъ времени ваше имя... И когда у васъ будетъ пятнадцать разсказовъ, выберите изъ нихъ лучшіе восемь и выпускайте ихъ отдѣльной книгой. Это важнѣе всего“...

— А сколько у васъ разсказовъ сейчасъ?

— Около десяти...

Она глядитъ на него съ жаднымъ ожиданіемъ. Потомъ вдругъ спохватывается. И щеки и даже шея ея заливаются краской.

— Я совсѣмъ сошла съ ума!.. Милый баронъ, не хотите ли чаю?

— Нѣтъ, Лили... Лучше поѣдемте завтракать... Вы можете ѣхать?

Она хлопаетъ въ ладоши и кружится по комнатѣ.

— Конечно... обворожительный Маркъ Александровичъ...

— Просто Маркъ... И пожалуйста не зовите меня барономъ, Лили. Я этого не люблю.

— Ахъ, какой вы раздражительный нынче!.. Ха!.. Ха!..

— Почему вамъ нравится титуловать меня? Развѣ это такъ важно для васъ?

— Еще бы!.. А вы этого не знали?

Напѣвая, она бѣжитъ къ шкафу, срываетъ какія-то юбки, шаритъ въ комодѣ.

— Я одѣнусь сейчасъ,— изъ-за ширмы кокетливо говоритъ она.—Подождете пять минутъ, милый Маркъ?

— Жду,—отвѣчаетъ онъ и подходитъ къ столу, гдѣ лежитъ рукопись. Онъ слышитъ шелестъ платья, шорохъ движеній.

Онъ пробѣгаетъ строки, набросанныя англійскимъ, красивымъ почеркомъ, какимъ пишутъ большинство институтокъ. Но тщетно силится онъ сосредоточиться. Кровь бьетъ ему въ виски. Одиночество его за эти два мѣсяца; свиданія съ Маней,—недоступной и равнодушной, растравлявшія его душу,— разбудили въ немъ такой порывъ къ забвенію, такую острую жажду наслажденія...

Онъ бросаетъ рукопись на столъ.

— Маркъ... подождите!—лепечетъ она.—Я не готова...

— Я слишкомъ долго ждалъ, Лили,—говоритъ онъ глухо.

Въ отдѣльномъ кабинетѣ ресторана, гдѣ остро пахнетъ закусками, остывшими блюдами и разрѣзаннымъ ананасомъ, Лили медленно пьетъ шампанское. Сидя на диванѣ и положивъ локти на столъ, она пристально смотритъ на Штейнбаха, который куритъ въ креслѣ, рядомъ.

У нея въ натурѣ большой запасъ гибкости. Умѣніе обойти человѣка и выжать изъ него все, что ей нужно. Но здѣсь находчивость измѣняетъ ей. Она дѣлаетъ зачастую безтактности, которыя онъ ей прощаетъ... Изъ равнодушія? Или по добротѣ? Кто скажетъ?

Съ мужчинами, съ которыми она сходится по разсчету или изъ увлеченія, у нея иногда устанавливаются товарищескія отношенія. И нѣкоторыми изъ нихъ она даже дорожитъ. Въ глубинѣ же души она презираетъ мужчинъ. Они такъ падки на ласку,

такіе „матеріалисты"... Ни одной услуги задаромъ не сдѣлали для нея!.. А сколько лѣтъ она уже бьется, чтобъ создать себѣ независимость! Сколько лѣтъ она вертится въ этомъ мірѣ, боясь упустить случай, вся на чеку... Вся, какъ охотникъ въ лѣсу, насторожившійся передъ дичью, которую можетъ перехватить другой... Она устала... Вѣдь ей уже минуло тридцать... Она скрываетъ свои года. Но жизнь идетъ...

Вотъ этотъ передъ нею, такой необычный! Непохожій на другихъ. И она любитъ его по-своему. Съ нѣжностью и интересомъ къ его душѣ, закрытой для нея всегда. О, конечно, если-бъ онъ не былъ баронъ, если-бъ онъ не былъ богатъ, обаяніе его не было бы такъ велико... И ореолъ его, какъ общественнаго дѣятеля тогда, три года назадъ, при первой встрѣчѣ, свелъ ее съ ума не менѣе, чѣмъ его внѣшность.

Она сама кинулась ему на шею, да... Она ничего не спрашивала. Онъ ничего не обѣщалъ... Нѣтъ! Онъ не изъ тѣхъ, которые лгутъ... И у нея, привыкшей разсчитывать свой каждый шагъ, на этотъ разъ не было никакихъ плановъ. Лишь одиночество толкнуло ее къ нему. Лишь жажда счастія...

И немало ѣдкихъ, отравленныхъ слезъ пролила она, когда на другой день, войдя въ свою комнату, увидала въ ней цѣлый цвѣтникъ. А на столѣ письмо, гдѣ онъ извѣщалъ ее, что вечеромъ выѣзжаетъ за границу и не знаетъ, когда вернется.

Цвѣты умирали въ комнатѣ, а съ ними угасали ея надежды. А когда черезъ двѣ недѣли она велѣла горничной выбросить послѣдній букетъ, слезы ея уже высохли. И жизнь взяла свое.

„И для него капризъ, какъ для другихъ—дичь", охарактеризовала она съ циничной усмѣшкой весь этотъ эпизодъ.

Но онъ появлялся неожиданно опять и опять, всякій разъ увлекая и опьяняя сызнова... Внося съ собой острую струю радости. Онъ создавалъ какую-то экзотическую атмосферу на день или два, отрывалъ ее отъ будней, давалъ нервамъ напряженіе, а душѣ иллюзію счастія... И когда онъ исчезалъ на долгіе мѣсяцы, она съ новымъ подъемомъ энергіи бралась за работу. И прощала ему его забвеніе. И жизнь казалась ей опять заманчивой...

За эти годы она сама такъ часто влюблялась!.. Такъ беззавѣтно отдавала тѣло и душу при первомъ намекѣ на великую Любовь. Но любви не было... Ея призракъ исчезалъ. А въ глаза ей глядѣло одно желаніе. Голое, не прикрытое никакими иллюзіями.

И она уходила сама, усталая, съ горечью. Или отъ нея уходили небрежно, не скрывая холода души и брезгливости... И она оставалась одинокой...

И вотъ только недавно, узнавъ о любовной исторіи Штейнба-

ха съ какой-то дѣвушкой, будто бы отравившейся изъ-за него,— она поняла вполнѣ отчетливо свою роль въ его жизни...

Что-жъ? У нея нѣтъ обиды.

За эти два года они видѣлись всего два раза. Въ прошлую весну, и теперь вотъ, въ іюлѣ. Онъ вернулся къ ней, измученный одиночествомъ... О, она это поняла, безъ всякихъ разспросовъ и признаній!.. Ей знакома эта жажда чувственной радости, эта потребность въ опьянѣніи.

Но теперь ей хочется проникнуть въ его тайну. Стать ему ближе... Коснуться хоть кончиками пальцевъ этой сложной, темной души...

Онъ улыбается.

— Ваши губы дрожатъ отъ любопытства, Лили...

— Отъ интереса, Маркъ... Любопытство—это слишкомъ пошло...

— Сознайтесь, что вы хотѣли бы „описать" меня!

Она смѣется.—Пробовала... Ничего не выходитъ... Я не знаю васъ, Маркъ... Какъ это ни странно, но мы не знаемъ другъ друга.—И въ голосѣ ея звучитъ печаль.

Онъ беретъ ея руку и цѣлуетъ.

— Вы мнѣ это прощаете, мой добрый другъ?

Она краснѣетъ отъ радости. И онъ невольно думаетъ: „Женщина всегда лучше насъ."

— Ловлю васъ на словѣ. Вы будете со мной откровенны?

— Постараюсь...

— Вы страшно измѣнились, Маркъ.

— Я постарѣлъ?—быстро спрашиваетъ онъ.

— Не то... У васъ ввалились глаза. Вы похудѣли... Откуда вы сейчасъ?

— Изъ Вѣны. Женѣ моей предстоитъ опасная операція. Она можетъ умереть...

— Опять не то, Маркъ. Вѣдь вы давно не живете съ женой.

— Мнѣ жаль ее...

— Возможно... Но не жалость такъ измѣнила васъ. А страсть... Вы молчите, Маркъ... Развѣ я не угадала?.. Вы влюблены... Но неужели безнадежно?

— Увы!..—Онъ пробуетъ шутить.

— Какъ можете вы быть отвергнутымъ? .

Это у нея срывается такъ искренно и горячо, что его черствость исчезаетъ. Онъ черезъ столъ протягиваетъ ей руку.

— А между тѣмъ это такъ... Я люблю... почти безъ надежды на взаимность... Нѣтъ. Зачѣмъ лгать?.. Я какъ собака, жду подачки... Но любви я не добуду ни цѣной моей жизни... Ни даже моихъ милліоновъ!

— О циникъ!.. Кто же она?.. Принцесса? Королева?

Онъ блѣдно улыбается.

— Да, это принцесса. Но королевство ея не здѣсь... Оно въ ея душѣ... А развѣ это не все равно? Развѣ это не лучше?

— Она поэтъ?—вскрикиваетъ Лили.

— Не спрашивайте... Я ничего не добавлю.

— Бѣдняжка!..

— О нѣтъ!.. Не жалѣйте меня! Съ тѣхъ поръ, какъ я полюбилъ эту дѣвушку, моя жизнь наполнилась интересомъ и содержаніемъ... И знаете ли?.. Я почти увѣренъ въ томъ, что если бы она меня любила, или была мнѣ вѣрной женой, скука вернулась бы опять на свое старое мѣсто, по праву, какъ хозяйка... Мнѣ недоставало вотъ этихъ страданій. И она мнѣ ихъ дала. Мнѣ недоставало равнодушія женщинъ. И я его узналъ... Развѣ такіе уроки не цѣнны?

Онъ бросаетъ потухшую папиросу, садится рядомъ съ задумавшейся Лили и обнимаетъ ее.

— Поговоримъ лучше о васъ... Кого любили вы за это время? Встрѣчали ли вы интересныхъ людей?

— О да... Я знала одного...

— Вы счастливѣе меня... Кто же это?

— Писатель... Талантливый беллетристъ...

— О-го!.. И вы, конечно... любили его?

Онъ зорко смотритъ и видитъ, какъ все лицо ея и даже лобъ подъ пышной фризеткой заливается краской.

— Безумно любила... Ха!.. Ха!.. Я была влюблена, какъ дѣвчонка... Почти такъ же, какъ въ васъ, въ первый день нашей встрѣчи...

Онъ иронически улыбается.—Благодарю васъ!.. Я растроганъ... Когда же это было? До нашей встрѣчи въ іюлѣ или потомъ?

— Нѣтъ, это было годъ назадъ... Помните? Когда вы уѣхали на югъ, въ свое имѣніе, а я кинулась въ Петербургъ искать счастія въ литературѣ...

— Отчего вы мнѣ не разсказали объ этомъ въ нашу послѣднюю встрѣчу?

— Ахъ, баронъ...

— ...Маркъ...

— Ну, да... Маркъ... Вспомните, пожалуйста, обстановку этой встрѣчи, которая длилась одинъ день... Вѣрнѣе ночь... Ха!.. Ха!.. Вы меня отравили вашимъ цинизмомъ... Вы являетесь неизвѣстно откуда и насколько... Олицетворенный мракъ... Какъ Юпитеръ являлся Іо... И исчезаете въ неизвѣстности, оставивъ послѣ себя какой-то угаръ... отъ котораго три дня нельзя очнуться...

— Вы мнѣ льстите...

— Увы!.. Нѣтъ... Вы всегда опьяняли меня... Въ васъ есть что-то...

— Будемъ говорить о немъ, Лили... Вы забыли?

Онъ отвѣчаетъ на ея горячій непосредственный поцѣлуй. Но любопытство его настороҗилось.—Итакъ?

— Онъ модернистъ...

— Конечно... Они теперь въ модѣ. Красивъ?

— Н-не знаю... Онъ обаятеленъ.

— Это лучше... Вы и сейчасъ любите его, Лили...

— Нѣтъ!.. Рядомъ съ вами, Маркъ? Нѣтъ...

Онъ покорно выжидаетъ, когда стихнетъ натискъ ея нѣжности. „Бѣдняжка!.. Какъ изголодалась ея душа по ласкѣ!“

— Итакъ, вы мнѣ вѣрны...

— Не смѣйтесь!.. Я обижусь...

Онъ слышитъ неподдѣльныя слезы въ ея голосѣ. И смиренно цѣлуетъ ея руки.

— Простите... Я говорю пошлости... Я выпилъ слишкомъ много шампанскаго... Вы не будете сердиться?

— Нѣтъ! Нѣтъ!..—говоритъ она, съ тоской прижимаясь къ его груди.

Они долго молчатъ.

— Какъ его имя?—спрашиваетъ онъ серьезно.

— Гаральдъ...

III.

— Это псевдонимъ?

— Конечно...

— Значитъ фамилія у него некрасивая... Онъ русскій?

— Еврей...

— А...

— Но онъ совершенный европеецъ... Онъ учился за границей и долго жилъ тамъ... На немъ лежитъ это *cachet*, котораго нѣтъ у нашихъ писателей...

— Я не помню его имени. Гдѣ онъ пишетъ?

— Онъ издалъ уже книгу разсказовъ... Но, вѣдь, вы не слѣдите за литературой?

— Милая Лили... за всѣмъ не услѣдишь...

— Онъ не *всѣ*... Онъ поэтъ Божіей милостью...

— Онъ и стихи пишетъ?

— Да... Два года назадъ онъ дебютировалъ этой книгой. Онъ признанный талантъ.

— Въ своемъ кругу, Лили? Это успѣхъ дешевый...

— Вы несправедливы, Маркъ... Кто зналъ Верлена, Бодлэра, Леконтъ де Лилля, Эредіа?.. Есть поэты для избранныхъ.

— Что же онъ писалъ? Въ какомъ жанрѣ?.. Какъ вы странно глядите на меня, Лили! Какъ будто съ сожалѣніемъ... Неужели я такъ одичалъ, что говорю nonsens?

— Милый Маркъ... Вы удивительно отстали! Развѣ, говоря о современныхъ писателяхъ, можно спрашивать, *что* написано?.. *Какъ* написано? Въ этомъ все...

— Ахъ, да... Вѣдь бытъ умеръ... Я забылъ...

— У Гаральда мелкіе разсказы, стихотворенія въ прозѣ... Одно настроеніе...

— Внѣ времени и пространства?

— Конечно... Все это старо, Маркъ, какъ передвижники въ живописи... А вы—простите—вы выражаетесь, точно критикъ изъ толстаго журнала...

— Вы меня заинтересовали... Придется купить его книгу. Она, конечно, идетъ очень плохо...

— Конечно... Говорятъ, что онъ подражаетъ Альтенбергу... Но это вздоръ! Просто у него тотъ же характеръ... если можно такъ выразиться... творчества... Но, вообще, теперь шагу ступить нельзя, чтобъ не обвинили въ подражаніи либо Кнуту Гамсуну, либо Альтенбергу...

— За что же вы его полюбили, Лили? Не за стихи, конечно?

— Видите ли... Я его встрѣтила какъ разъ въ разгаръ революціи, въ Петербургѣ... Онъ собирался ѣхать въ Италію. У него слабыя легкія... Но началась забастовка, и онъ остался...

— Проклиналъ, небось, революцію?

— Онъ, вообще, равнодушенъ къ политикѣ, Маркъ... Но онъ страдалъ очень искренно, когда театры закрылись, журналы висѣли на ниточкѣ... Ха!.. Ха!.. Вы представляете себѣ эту картину? Толстые, почтенные журналы, висящіе на ниточкѣ... Ахъ, они тоже оказались ненужными тогда, какъ и книги модернистовъ... Но для Гаральда это была драма. Вѣдь въ сентябрѣ 1905 г. вышла книга его стиховъ...

— Д-да... Тутъ было не до стиховъ, Лили...

Ея ноздри дрожатъ.—Но развѣ это была не трагедія для всѣхъ художниковъ?.. Чувствовать себя ненужнымъ, выброшеннымъ за бортъ...

— Кто же мѣшалъ вамъ примкнуть къ движенію?

Она отодвигается и кладетъ ему руки на плечи.

— Да вы смѣетесь надо мною, Маркъ?.. Можете вы себѣ представить меня... меня, какъ я есть... эстетку, какъ вы говорите, страстно влюбленную въ форму, для которой важнѣе всего стиль

и настроеніе въ книгѣ... И вдругъ я же бѣгаю съ нелегальной литературой подъ мышкой, ищу квартиръ, или агитирую за меньшевиковъ, какъ эта Зина Липенко... которая воображаетъ, что можно одновременно служить двумъ богамъ...

Штейнбахъ любуется блескомъ глазъ и румянцемъ Лили.

— Я помню одинъ вечеръ... Мы всѣ собрались у Z***. Всѣ были удручены. Многіе бѣгали по комнатѣ. Не смѣйтесь, Маркъ... Мы, вѣдь, не знали тогда, что все скоро войдетъ въ берега... Мы думали, что это переломъ въ жизни, и что власть перешла въ руки народа. Мы искренно вѣрили, что искусству въ Россіи наступилъ конецъ...

— Вы думаете, что рабочему книга менѣе дорога, чѣмъ вамъ?.. Разница только та, что вы—литераторы—читаете только свое и своихъ. А рабочіе читаютъ все...

Она задумывается.

— Этого я не знаю... Я этого не думала...

— Вы не знали, что народился новый читатель? Чѣмъ же, какъ не этимъ, объясняется эволюція книжнаго рынка? Успѣхъ Горькаго и Андреева?

— Возможно, Маркъ... Но тогда... вы развѣ не помните?.. Кому нужна была тогда беллетристика? Для многихъ это былъ вопросъ существованія... Ахъ, я не виню тѣхъ, кто игралъ въ преданность революціи, кто объяснялся въ любви къ рабочимъ... кто приписывался къ партіямъ... Это былъ инстинктъ самосохраненія... Но въ этой свалкѣ, въ этомъ судорожномъ желаніи выплыть и удержаться на поверхности, въ нашемъ кружкѣ одинъ оставался въ сторонѣ, спокойно, съ презрительной улыбкой на губахъ...

— Гаральдъ?

— Да... Я какъ сейчасъ помню его лицо, когда онъ сказалъ: „Для всѣхъ насъ—два выхода: выйти на улицу и слиться съ толпою. Или остаться вѣрнымъ себѣ, но быть забытымъ. Я выбираю второе...“

— Онъ мнѣ нравится, вашъ Гаральдъ.

— Ахъ, Маркъ!—Она порывисто цѣлуетъ его. Онъ неподвиженъ.

— Вы сердитесь?—упавшимъ тономъ спрашиваетъ она.

— На поцѣлуй, предназначенный другому, я не отвѣчаю изъ деликатности, Лили... Итакъ, въ тотъ же вечеръ... вы... ему...

— О, что вы!.. Говорю вамъ, это было гораздо позже... Прежде всего, онъ страшно холоденъ... И потомъ... въ то время онъ жилъ съ другой...

— Какъ будто это помѣха?.. Но продолжайте... Онъ, въ концѣ-концовъ, измѣнилъ себѣ?

— Какъ вы презираете людей! Нѣтъ, нѣтъ, говорю вамъ!.. Я знаю, что ему очень плохо жилось тогда. Онъ голодалъ... Вы не вѣрите? Почему вы улыбаетесь?.. Въ редакціяхъ ему возвращали его очаровательныя новеллы. Одинъ редакторъ прямо-таки сказалъ: „Теперь, батенька, этимъ собаки изъ-подъ печки не выманишь...“

— Недурно... Ха!.. Ха!..

— Такъ и говорили: „Давайте что-нибудь о погромахъ, о революціи... Публика только этого и требуетъ...“

— Что-жъ?!.. Дѣло коммерческое...

— Но вы понимаете, какъ долженъ былъ страдать настоящій художникъ, не ремесленникъ? Вѣдь это же было самое гнусное насиліе надъ нашей душой!.. И Гаральдъ на цѣлый годъ скрылся тогда изъ Петербурга... Онъ уѣхалъ куда-то на юго-западъ... на подножный кормъ, къ своимъ... И тамъ писалъ свою книгу...

— Для потомства?

— Почему для потомства? Онъ и теперь извѣстенъ... Но что ему стоило найти издателя, когда всѣ требовали только „Тайны кушетокъ“ и порнографіи!.. А онъ пишетъ такъ... цѣломудренно... Онъ получилъ за эту книгу гроши...

— Но онъ выигралъ больше: славу и вашу любовь, Лили.

Она смотритъ вдаль... И опять онъ видитъ въ ея глазахъ печаль одиночества.

— Ахъ, Маркъ!.. На что ему моя любовь? Онъ любитъ только искусство... Онъ любитъ женщину, которая живетъ въ его душѣ, въ его мозгу писателя... Мы слишкомъ ординарны. И проза, неизбѣжная во всякой связи, утомляетъ его... Онъ цѣнитъ только свои настроенія...

Они долго молчатъ.

Передъ Штейнбахомъ стоитъ лицо Мани, ея огромные глаза вмѣщающіе цѣлый міръ... Глаза, полные жажды...

Почему именно сейчасъ вспомнилъ онъ о ней?

— А сколько ему лѣтъ?—внезапно спрашиваетъ онъ.

— Двадцать-пять... Двадцать-семь...

У Штейнбаха непроизвольно срывается вздохъ.

— И вы были несчастны, Лили?—шопотомъ спрашиваетъ онъ, притягивая ее къ себѣ.

— Ужасно, Маркъ!.. Я такъ устала искать и обманываться... Вы не повѣрите, съ какимъ порывомъ я кинулась ему на грудь при первомъ намекѣ! Я мечтала: будемъ жить вмѣстѣ, въ двухъ уютныхъ, красивыхъ комнатахъ... Какъ опостылѣли мнѣ эти chambres garnies съ захватанными обоями, съ кроватью, на которой вчера еще спали чужіе люди... Съ этимъ чужимъ дыханіемъ, пропитавшимъ всѣ предметы... Вся эта безличная мебель...

Она смолкаетъ внезапно и кладетъ голову ему на плечо, какъ бы прося защиты. Онъ нѣжно гладитъ ея лицо.

— Быть вѣчнымъ жидомъ... Это тяжело, Маркъ... Годы идутъ... И начинаешь цѣнить все, что отрицала въ юности... Я хорошо узнала эту свободу чувства... Я пресытилась ею... Если-бъ я встрѣтила добраго человѣка... понимаете?.. добраго и простого, который полюбилъ бы меня, вотъ какъ я есть,—ахъ, какой вѣрной, какой нѣжной женой была бы я ему!

Онъ угадываетъ слезы въ ея глазахъ. Его руки замерли. Развѣ онъ не прибавилъ съ своей стороны капли горечи въ эту чашу?

— Въ нашемъ подломъ мірѣ, Маркъ, женщинѣ труднѣе, чѣмъ гдѣ-либо, выбиться безъ мужчины... Нѣтъ, выбиться куда ни шло... Здѣсь нуженъ талантъ... Но удержаться... Упрочиться въ журналахъ, получить отзывы... Здѣсь нужны связи, протекція... Иначе затрутъ... И талантъ не спасетъ... Но, вѣрьте мнѣ, Маркъ, что только одна потребность въ поэзіи толкнула меня къ Гаральду... Я мечтала слиться душой, работать вмѣстѣ...

— И что же?

— Онъ мнѣ сказалъ, что рядомъ съ собой... внѣ этихъ минутъ... онъ не выноситъ даже чужого дыханія... Женщина ему нужна...

— Какъ наслажденіе?

— Нѣтъ... Больше... Какъ настроеніе... Но и только... Наша связь длилась не дольше мѣсяца...

„Онъ требовательнѣе меня?“ съ удивленіемъ думаетъ Штейнбахъ. И что-то враждебное встаетъ въ его душѣ.

Онъ садится въ кресло и требуетъ счетъ.

„Уже? Конецъ?“ спрашиваютъ печальные глаза. Ему становится стыдно.

— Хотите кофе, Лили?

— Да, да... Или вы торопитесь?

Онъ смотритъ на часы.

— У меня есть важное свиданіе черезъ часъ. Но вечеромъ мы поѣдемъ въ театръ... Потомъ поужинаемъ...

— У васъ?—Она смотритъ вызывающе.

Онъ улыбается.

— Сколько же дней вы мнѣ дарите, Маркъ?

У него тонкій слухъ, и въ безпечномъ вопросѣ онъ слышитъ еле уловимую горечь.

— Я скоро уѣзжаю за границу... Жду телеграмму жены.

Подаютъ кофе и ликеръ. Лакей скрывается.

— Сядьте, Маркъ, рядомъ! И обнимите меня крѣпче... Вотъ такъ... Вы все-таки были моей истинной горячей любовью...

— Развѣ не одинъ разъ любятъ, Лили?

— Нѣтъ... Я любила сто разъ... Да... Да!.. Это, должно-быть, зависитъ отъ темперамента... Но всегда искренно и страстно... Чувство длилось иногда сутки, не больше...

— А ко мнѣ?

Она съ упрекомъ глядитъ на него. Потомъ прижимается съ кошачьей грацiей.

— Вы особенный... Не такой, какъ всѣ... И... отказаться отъ васъ было нелегко...

— А скажите, Лили?.. Если бы я вернулся къ вамъ, когда вы были съ Гаральдомъ?.. Вы показали бы мнѣ на дверь?.. Нѣтъ, скажите правду... Безъ лести... Пожалуйста... Прошу васъ!.. Будьте искренни!

Онъ сжимаетъ ея руки и смотритъ ей въ глаза... Странно! Точно ревность проснулась въ немъ... Развѣ не презираетъ онъ это чувство? Не считаетъ его атавизмомъ?

Она опять ярко краснѣетъ. Но черезъ мигъ говоритъ кротко, но твердо:

— Я глупая, слабая женщина, Маркъ... Я проповѣдую любовь, какъ наслажденiе, въ моихъ новеллахъ... Любовь веселую, легкую и безъ обязательствъ... Но душа моя, какъ у самой средней женщины, грезитъ о вѣчной, великой любви... И я не могу отдаваться двумъ одновременно, Маркъ... Я не могла бы жить съ двумя... И...

— Вы меня выгнали бы тогда?

Съ глубокимъ вздохомъ она закрываетъ глаза и обнимаетъ его голову. Она цѣлуетъ его лобъ и брови, ища забвенiя, ища самообмана, хотя-бъ на мигъ.

Но онъ молчитъ, подавленный. „Гаральдъ моложе меня“, думаетъ онъ. „Вотъ настaлъ моментъ, когда я долженъ уступать дорогу другимъ...“

И ему вдругъ становится понятнымъ, что этого момента онъ боялся давно... еще пять лѣтъ назадъ... Какъ его боится увядающая красавица, у которой не было въ жизни другого содержанiя, кромѣ любви.

Эта мысль, странно сочетавшаяся съ именемъ Гаральда, преслѣдуетъ его весь вечеръ, въ театрѣ даже, и парализуетъ его любезность.

Но дома, послѣ ужина, въ горячихъ объятiяхъ Лили, она же, эта неотвязная мысль, какъ бичъ подстегиваетъ его нервы. И молодая женщина разстается съ нимъ, какъ въ угарѣ, не подозрѣвая, кому обязана она этимъ взрывомъ страсти.

У подъѣзда chambres garnies, цѣлуя ея руку, онъ вдругъ вспоминаетъ что-то...

— Да... Ваша книга, Лили... Не ищите издателя. И не безпокойтесь! Я ее устрою...

Она горячо краснѣетъ подъ вуалеткой. Но онъ такъ привыкъ платить за все, что даже не замѣчаетъ ея смущенія.

Она звонитъ у подъѣзда, когда у нея срывается съ тоской:

— Вотъ мы опять разстанемся... Вы исчезнете... Надолго ли?.. Вернетесь ли?.. У васъ своя жизнь... таинственная...

— Но вы счастливѣе меня, Лили. У васъ цѣлый міръ въ душѣ. Вы не одиноки... Васъ утѣшитъ искусство... А что утѣшитъ меня?

Она печально смотритъ ему вслѣдъ, когда, приподнявъ шляпу, онъ идетъ по улицѣ.

Сейчасъ она вернется по пыльному угрюмому корридору въ свой номеръ, гдѣ пахнетъ чужими людьми. Какъ у всякой женщины, чувственность, ярко распустившаяся въ ея душѣ, постучала въ завѣтныя двери, за которыми таится ея родная сестра Нѣжность. И таинственныя двери распахнулись настежь... Благодарное сердце не можетъ помириться съ тѣмъ, что этотъ человѣкъ, со дна ея души извлекшій драгоцѣнный кладъ, уйдетъ спокойно въ свою жизнь, гдѣ ей нѣтъ мѣста...

Но развѣ другіе не поступали такъ?

А онъ, пресыщенный и усталый, съ остывшей душой, думаетъ, медленно идя по спящему городу, въ печальномъ разсвѣтѣ осенняго дня:

„Не то... не то... Ни забвенія ни иллюзіи... Въ ней нѣтъ юности. И душа ея захватана, какъ обои на ея стѣнахъ. Она вся зацѣлована... Знаю: это атавизмъ говоритъ во мнѣ. И я долженъ бы цѣнить въ ней индивидуальность... Но, Боже мой, какъ все это блѣдно передъ тѣмъ, что я имѣлъ отъ Мани!.. О, если-бъ снова встрѣтить такую любовь! Такую свѣжесть чувствъ и самозабвеніе!.. Если-бъ на дорогѣ моей я встрѣтилъ опять смуглую дѣвочку... непосредственную розу долины, которая любила бы меня не за деньги мои и имя... А за то, что я здѣсь, на землѣ, воплотилъ въ себѣ ея Мечту!..“

IV.

Штейнбахъ сидитъ въ кабинетѣ своего особняка, на Пречистенкѣ, и смотритъ въ топящійся каминъ.

Смеркается. Только что убрали завтракъ изъ столовой, гдѣ онъ былъ наединѣ съ своимъ гостемъ.

По діагонали комнаты нервно шагаетъ высокій блондинъ въ сюртукѣ. У него длинная бѣлокурая борода, породистый кости-

стый профиль; сѣрые, пронзительные глаза; высокій лысѣющій уже лобъ интеллигента. У него холеныя руки и красивые жесты, полные темперамента. Штейнбахъ куритъ и искоса поглядываетъ на гостя. „Онъ похожъ на великолѣпнаго хищнаго звѣря, запертаго въ клѣтку“, думаетъ онъ, слѣдя за этой упругой походкой и то вкрадчивыми, то порывистыми движеніями барскихъ рукъ.

А гость говоритъ, волнуясь, глубокимъ, гибкимъ баритономъ, съ ясной дикціей природнаго оратора:

— Всѣ мы читали о такихъ гиблыхъ эпохахъ... Знаемъ о нихъ по холоднымъ документамъ прошлаго. Всѣ мы отвлеченно жалѣли людей, выносившихъ на собственныхъ плечахъ всю тяжесть безвременья... А вотъ когда самому приходится на своей шкурѣ восчувствовать всю эту мутную... застойность что ли?.. вязкую, безысходную, необозримую,—о, какой озлобленный по-голодному, какой волчій вой подымается въ душѣ!.. Такъ и перервалъ бы кому-нибудь мимоидущему горло...

— А что проку?—бросаетъ Штейнбахъ.

Семенъ Николаевичъ останавливается на мгновеніе и теребитъ бороду, щуря глаза.

— Никакого... Да развѣ въ аффектахъ ищутъ логики?.. Ужъ на что, кажется, я человѣкъ упорный...

— Н... н... да...—улыбается Штейнбахъ.

—... непоколебимо увѣренный, что ça ira, ça viendra... а, признаться вамъ, по совѣсти, нѣтъ-нѣтъ да и придетъ Аркашкина идея: „А не удавиться ли?..“

— Полноте!.. Это для стиля...

— Какой тамъ къ чорту стиль?.. Каждый день твержу себѣ, что надо пока что вертѣть и подмазывать колеса...

— Вѣдь мы же это и дѣлаемъ...

Бѣлыя руки поднялись выразительно ладонями вверхъ.

— Ахъ! Все это я и безъ васъ восхитительно знаю... Но вѣдь дышать, поймите... дышать нечѣмъ, Маркъ Александровичъ!—страстно повышаетъ онъ свой могучій голосъ и пылкимъ жестомъ прижимаетъ руки къ сердцу.

„Счастливецъ!“ думаетъ Штейнбахъ.

— Все врозь ползетъ ко всѣмъ чертямъ, и руки порой опускаются... И не потому, что дѣлать нечего...

— А почему же?

— Поголовное бѣгство вчерашнихъ почтенныхъ и уважаемыхъ,—вотъ что приводитъ меня въ бѣшенство!

— А... Вы объ этомъ?

— Да-съ... Объ этомъ именно... Изъ работы чортъ знаетъ что сдѣлали... Ночлежку какую-то... заѣзжій домъ, откуда можно сво-

бодно уйти, даже не заплативъ по счету... предоставивъ убирать послѣ себя грязное бѣлье и т. д. разнымъ „навѣчно обязаннымъ...“ созданнымъ, по ихъ мнѣнію, для черной работы... И это теперь именно, когда самые что ни на есть способные люди нужны... Вотъ и дѣлайте, что угодно!.. Эти „сезонные“ дѣятели, удирающіе подъ первымъ предлогомъ, мнѣ вотъ гдѣ сидятъ уже давно!

Онъ хлопаетъ себя по затылку. И снова бѣгаетъ, какъ хищникъ по клѣткѣ. И фалды его сюртука взмахиваютъ на поворотахъ.

— И вотъ у тѣхъ, кто остался, кто—какъ Андрей и вашъ покорный слуга—уйти неспособенъ, и не уйдетъ,—вотъ у этихъ-то самыхъ „навѣки обязанныхъ“ поневолѣ голова идетъ кругомъ, и духъ захватываетъ отъ отчаянія... Поймите!.. Нѣтъ силъ, нѣтъ возможности ни внутренней ни внѣшней даже—подготовить, выработать смѣну удравшимъ и удирающимъ...

— Что же вы, однако, предполагаете?—спрашиваетъ Штейнбахъ, закуривая папиросу.—Вѣдь если такъ пойдетъ...

Красивыя руки развернулись въ краснорѣчивомъ жестѣ безпомощности.

— Ничего не соображаю!.. Я готовъ... знаете?.. Не смѣйтесь... Я готовъ помириться на двадцати-пяти годахъ...

Штейнбахъ молчитъ, задумчиво глядя въ огонь. Семенъ Николаевичъ всплескиваетъ руками.

— Неужто меньше нельзя?.. Послушайте... Вамъ удобнѣе наблюдать эти... атмосферическія явленія... Что вы думаете?..

— Я жилъ за границей почти весь годъ, Семенъ Николаевичъ... Я отсталъ отъ всего... Но боюсь, что на обывателя теперь вамъ уже нельзя разсчитывать...

Семенъ Николаевичъ энергично машетъ рукой и опять бѣгаетъ, кусая бороду.

— Я такъ работалъ все лѣто, что даже газетъ не читалъ, грѣшный человѣкъ!.. Какія?.. Гдѣ онѣ?.. Чѣмъ пахнетъ?.. Неужели все сперминомъ и резиновой мануфактурой?

Въ дверь раздается легкій, настойчивый стукъ. Гость смолкаетъ разомъ и пронзительно глядитъ на портьеру.

— Войдите,—говоритъ Штейнбахъ, бросая папиросу.

Лакей подаетъ карточки. Штейнбахъ читаетъ и встаетъ такъ быстро, что Семенъ Николаевичъ дѣлаетъ невольное движеніе.

— Я мѣшаю, Маркъ Александровичъ?.. Впрочемъ, осторожность...—говоритъ онъ по-французски.

— Не безпокойтесь... Это люди съ другой планеты. Васъ они не могутъ знать... Проси!

„Что такое?..“ думаетъ заинтересованный Семенъ Николаевичъ. „Его лицо перестало быть маской... Навѣрно женщина...“

— Можпо взглянуть?

Штейнбахъ протягиваетъ ему карточки. На одной, глянцовитой, розовой, безвкусно вырѣзанной въ видѣ трилистника, стоитъ корона. А подъ нею—*Евдокія Михайловна Коровина*. На другой, изящной, длинной, матовой,—не отпечатано, а написано крупнымъ нервнымъ почеркомъ: *Гаральдъ*. Семенъ Николаевичъ пожимаетъ съ усмѣшкой плечами. Это имя ему ничего не говоритъ.

Хозяинъ идетъ навстрѣчу посѣтителямъ.

Входитъ дама. Небольшого роста, стройная, гибкая брюнетка. Она одѣта съ шикомъ этуали. Но вуалетки не поднимаетъ, какъ это дѣлаютъ всѣ женщины съ разрисованными лицами.

Семенъ Николаевичъ мгновенно подтягивается. Его хищные глаза загораются. Нервнымъ жестомъ онъ крутитъ усы.

— Ахъ, баронъ! Я такъ счастлива!.. Я такъ давно хотѣла съ вами познакомиться...

Штейнбахъ подвигаетъ ей кресло и черезъ ея голову глядитъ на ея спутника. „Я волнуюсь. Это несомнѣнно и... пожалуй даже пріятно... Я хотѣлъ встрѣтить его. Теперь мнѣ это ясно. Не потому ли кажется мнѣ интереснымъ и значительнымъ его лицо? Встрѣть я его въ толпѣ, обратилъ бы я на него вниманіе?“ думаетъ Штейнбахъ, отвѣчая на свѣтскій поклонъ Гаральда и предлагая ему сѣсть.

Гаральдъ ставитъ свой цилиндръ на стулъ рядомъ и стягиваетъ перчатку. Руки у него, какъ у женщины, съ артистически выхоленными ногтями. И пальцы красивой формы. Но слишкомъ длинны.

„Какъ у піаниста или у шулера“, рѣшаетъ Семенъ Николаевичъ, зорко приглядываясь... „Что такое? Никакъ браслетъ? Золотой браслетъ... Да это эфебъ?“ Онъ еле сдерживаетъ злую усмѣшку. Все въ Гаральдѣ раздражаетъ его: этотъ свѣтло-кофейный жилетъ, и модный смокингъ, и цилиндръ, и перчатки. Онъ чувствуетъ себя медвѣдемъ передъ этимъ франтомъ. И въ присутствіи красивой женщины! Это стѣсняетъ его и раздражаетъ еще сильнѣе. Онъ старается опредѣлить по внѣшности соціальное положеніе Гаральда. „Теноръ или первый любовникъ... Только они такъ слѣдятъ за модой...“

— Чѣмъ могу служить?—любезно спрашиваетъ Штейнбахъ, пристально глядя въ глаза гостю.

У того удлиненное, нерусское, очень блѣдное лицо, съ маленькими бачками, какъ на сценѣ, у Евгенія Онѣгина. Усовъ и бороды нѣтъ. Волосы, густые и темные, подстрижены бобрикомъ. Онъ высокъ, худощавъ, хорошо сложенъ. У него изящный ротъ съ твердымъ рисункомъ губъ. Но лучшее въ его лицѣ—это его высокій лобъ съ вдавленными висками и развитыми надбров-

ными дугами. И глаза... Они небольшіе, глубоко запавшіе, темные и внимательные. Его взглядъ тяжелъ и холоденъ.

Брюнетка складываетъ молитвеннымъ жестомъ руки въ свѣтло-сѣрыхъ перчаткахъ.

— Ахъ, баронъ!.. Мнѣ лично ничего не нужно. Я только пришла съ нимъ. Я уцѣпилась за предлогъ, чтобъ васъ видѣть... Я встрѣтила васъ два года назадъ, на адвокатскомъ вечерѣ. Вы скрылись, прежде чѣмъ я могла познакомиться...

„Однако"... говоритъ усмѣшка Семена Николаевича. „Что это? Темпераментъ? Или безстыдство? Или ничѣмъ неприкрытый разсчетъ?" Но ему досадно, что въ его присутствіи другому расточаютъ восторги.

Штейнбахъ кланяется. Легкій румянецъ смущенія окрашиваетъ его щеки.

Она безспорно эффектна, эта женщина съ русскимъ грубоватымъ лицомъ, съ пушкомъ надъ верхней губой, съ сросшимися бровями, съ слегка вздернутымъ носомъ и чувственнымъ алымъ ртомъ. У нея тонкая талія и пышный бюстъ. Отъ нея вѣетъ силой и сладострастіемъ. Голосъ у нея пѣвучій, грудной. Манера говорить вульгарна. И вся она вульгарна, несмотря на ея шикъ.

Гаральдъ медленно снимаетъ другую перчатку и достаетъ изъ бокового кармана листъ бумаги. Онъ смотритъ въ глаза Штейнбаха своими неподвижными зрачками. Взглядъ этотъ давитъ, стѣсняетъ... Или это линія бровей и разрѣзъ вѣкъ придаютъ ему такое выраженіе? Наглый... сказали бы про всякаго другого. Но къ Гаральду такое слово не идетъ. Онъ смотритъ прямо до дерзости, рѣдко мигая, въ лицо того, съ кѣмъ говоритъ; какъ бы все время безцеремонно оцѣнивая и взвѣшивая всѣ получаемыя имъ впечатлѣнія. Но это особый взглядъ—профессіонала-литератора.

„Такъ бы и ударилъ по мордѣ!" думаетъ Семенъ Николаевичъ и кусаетъ конецъ своей бороды. Трепещущими ноздрями онъ вдыхаетъ въ себя острый запахъ японскихъ духовъ, которыми пропитана эта женщина, рядомъ. „Они—любовники", думаетъ онъ. „Ихъ свела одна чувственность. Любви не было. Они уже пресытились."

— Это проэктъ новаго театра,—говоритъ Гаральдъ, протягивая рукопись.—Я надѣюсь васъ заинтересовать...

Брови Штейнбаха болѣзненно сжимаются. Зачѣмъ онъ заговорилъ? У него акцентъ, носовой и рѣзкій звукъ голоса.

— Еще театръ?—срывается у Семена Николаевича.—Развѣ ихъ такъ мало?

Темные глаза снисходительно глядятъ въ сѣрые злые зрачки.

— Ихъ нѣтъ ни одного, которые отвѣчали бы назрѣвшей по-

требности. Что видимъ мы кругомъ? Рутину, банальный репертуаръ, устарѣвшія формы, анахронизмъ...

„Когда онъ быстро говоритъ, онъ прямо непріятенъ", съ удовлетвореніемъ думаетъ Штейнбахъ. Онъ смотритъ на брюнетку. Она широко и спокойно улыбается ему.

— А Художественный театръ?

— Я предвидѣлъ вашъ вопросъ, баронъ. Но онъ исключительно для драмы. Къ тому же у него направленіе реалистическое. Онъ возвращается къ нему послѣ долгихъ исканій. За эти десять лѣтъ онъ не показалъ намъ такой вещи, какъ *Перъ Гинтъ*. Работая надъ Чеховымъ и Гоголемъ, онъ проглядѣлъ *Шлюкъ и Яу*, одну изъ лучшихъ пьесъ Гауптмана. Онъ далъ намъ такъ мало изъ Метерлинка! И то, что онъ далъ, было такъ слабо... Почему мы не видѣли *Аглавены и Селизетты*? (Штейнбахъ закрываетъ глаза съ страдающимъ лицомъ.) *Семь спящихъ принцессъ*? *Сестры Беатриче*? *Монны Ванны*? *Саломеи*? Всего, что за границей дѣлаетъ эпоху въ искусствѣ? Мы должны быть au courant всего... Почему русское общество до сихъ поръ не научилось цѣнить искусство? Развѣ есть у него эстетическое міросозерцаніе?

— О Господи!—невольно срывается у Семена Николаевича. Онъ вскакиваетъ и начинаетъ ходить по комнатѣ. Брюнетка высоко поднимаетъ брови и слѣдитъ за его фигурой и жестами.

Но Гаральдъ великолѣпенъ. Онъ не замѣчаетъ негодованія.

„А если-бъ и замѣтилъ, то не сталъ бы съ нимъ считаться", думаетъ Штейнбахъ. „Какъ не считается человѣкъ съ муравьями, которыхъ топчетъ по пути. Что это? Глупость? Или цѣльность?"

— А между тѣмъ потребность въ красотѣ растетъ. Революція отзвучала. Волны ея упали. Жизнь входитъ въ берега.

— Вы думаете?.. Вы въ этомъ убѣждены?—перебиваетъ Семенъ Николаевичъ. Онъ стоитъ въ углу комнаты, раскачиваясь на каблукахъ. Безстрастно глядятъ на него темные глаза.

— Я въ этомъ убѣжденъ...

— Это удивительно!—Семенъ Николаевичъ вздергиваетъ плечи и всплескиваетъ руками.—На какомъ основаніи?

— Извините!.. Вы отвлекаете меня отъ главной идеи... Мы поговоримъ на эту тему—если вамъ угодно—потомъ...

Семенъ Николаевичъ дѣлаетъ брезгливый жестъ.

— ...Жизнь входитъ въ берега. Но душа современника, привыкшая къ остротѣ ощущеній, коснувшаяся послѣднихъ граней, познавшая трагизмъ,—уже не можетъ довольствоваться тѣмъ, что предлагали ей вчера. Все должно быть построено заново, не только жизнь, но и искусство... Обратите вниманіе, кого сейчасъ любятъ? Кого читаютъ? Это гибель старыхъ боговъ. Мы идемъ имъ на смѣну.

— Кто это вы?

„Охъ, сколько ненависти! Ужъ и темпераментъ у этого Семена Николаевича!“ думаетъ Штейнбахъ. Онъ растерянно вскидываетъ на него рѣсницы. А брюнетка поворачивается всѣмъ корпусомъ въ креслѣ и глядитъ на Семена Николаевича, какъ на экземпляръ невиданнаго звѣря.

— Мы, носители и творцы новой красоты,—спокойно отвѣчаетъ Гаральдъ. Онъ холодно выжидаетъ реплики, сощурившись и разсматривая группу Родэна.

Но выдержка измѣняетъ Семену Николаевичу.

— Это чортъ знаетъ что такое!—злобно фыркаетъ онъ.—Новая красота!.. Откуда вы ее возьмете? И куда вы дѣнете Венеру Милосскую и... другіе символы?

— Нашъ девизъ—искусство выше жизни... Его все еще понимаютъ, какъ отраженіе дѣйствительности, и этимъ принижаютъ его душу...

— Вы поклонникъ Оскара Уайльда?—перебиваетъ Штейнбахъ.

— Мы хотимъ поднять искусство выше традицій, партій, формулъ, программъ, предразсудковъ... Если-бъ Оскаръ Уайльдъ зналъ, въ какомъ пренебреженіи, именно у насъ, въ Россіи, находится красота, на какую жалкую служебную роль обречено искусство,—онъ поставилъ бы крестъ на славянахъ!

— Вы, конечно, стоите за такъ называемое „чистое искусство“?—съ ироніей спрашиваетъ Семенъ Николаевичъ.

„Изъ какой трущобы ты вылѣзъ?“ говоритъ улыбка Гаральда.

— Не понимаю ни вашего вопроса, ни вашей усмѣшки,—медленно возражаетъ онъ.—Я слышалъ, что въ шестидесятые годы отвергали Пушкина... Это вамъ не смѣшно теперь? Или вы серьезно думаете, что у искусства могутъ быть какія-нибудь цѣли? Что оно нуждается въ оправданіи?

— Извините,—рѣзко бросаетъ Семенъ Николаевичъ.—Я росъ подъ вліяніемъ Салтыкова... О немъ, вы, можетъ-быть, не слыхали?

— Послушайте, Семенъ Николаевичъ,—вмѣшивается хозяинъ.

— Вы правы. Я имъ мало интересовался. Для насъ онъ—анахронизмъ...

— Ну... въ такомъ случаѣ... Мы говоримъ на разныхъ языкахъ...

— Я это почувствовалъ съ первой минуты... Мнѣ дико повторять здѣсь, въ присутствіи барона, тѣ азбучныя истины, что пятнадцать лѣтъ назадъ были уже высказаны въ печати...

— Декадентами?—любезно подхватываетъ Штейнбахъ.

— Да... вѣрнѣе той группой новаторовъ, которые первые дерзнули возстать противъ кружковщины и ея ига, душившаго таланты... которые рѣшили освободить художника отъ рабства пар-

тійности... Ихъ хотѣли тогда стереть съ лица земли, какъ измѣнниковъ. Или похоронить заживо, какъ Фета и Тютчева. Но они были слишкомъ крупны и не одиноки... У нихъ были публицисты, свои журналы. Они упорно боролись и побѣдили, наконецъ, равнодушіе публики. Кто не считается съ ними? Мы всѣ обязаны имъ нашей свободой творчества. Правомъ быть самимъ собою...

Семенъ Николаевичъ, раскачиваясь на каблукахъ и крутя бороду, глядитъ на Гаральда съ нескрываемой насмѣшкой.

— Послушать васъ—выходитъ, что у насъ были дебри дремучія до девяностыхъ годовъ... А искусство началось только съ нихъ, вашихъ предтечъ и пророковъ?

— Таланты были. Но не было дерзновенія. Кто двадцать-пять лѣтъ назадъ не былъ подъ гнетомъ партійности? Кто смѣлъ писать о любви, о закатахъ, о лунномъ свѣтѣ, объ осеннемъ лѣсѣ? Излить въ стихахъ или картинѣ свое настроеніе, отразить свое *я*? Когда налицо были готовые сюжеты: новобранцы, арестанты подъ конвоемъ, ссыльные въ этапѣ, сборъ недоимокъ?

Семенъ Николаевичъ всплескиваетъ руками.

— Простите меня!.. Но какое невѣжество! Вы говорите о передвижникахъ? Да вѣдь они сами были яркими протестантами, боровшимися съ академической рутиной! Они сказали новое слово...

— Съ рутиной боровшіеся, замѣтьте... Но не съ кружковщиной... Нуженъ былъ геній Рѣпина, чтобы сорвать эти цѣпи и объявить себя свободнымъ...

— Это nonsens!—страстно кричитъ Семенъ Николаевичъ и бьетъ себя въ грудь рукою.—Художника нельзя оторвать отъ эпохи! Онъ является ея выразителемъ... Чего стоитъ писатель, который глухъ и слѣпъ? Который не охваченъ жаждой борьбы?.. Онъ ничто...

— Или все!.. Онъ въ самомъ себѣ несетъ міръ, болѣе сложный и богатый, чѣмъ все, что его окружаетъ...

— Маркъ Александровичъ, вы знаете Гервега?

— Еще бы!..

— Вотъ вамъ примѣръ! Каждый его стихъ—пламя, звонъ меча, вызовъ судьбѣ... Онъ могъ родиться только среди революціи...

— Стась... Мы опоздаемъ, — перебиваетъ брюнетка, поднимая глаза на часы, и улыбается Штейнбаху.—Мы приглашены на обѣдъ къ N***. Вы знаете, издатель *Факела*?.. Вашъ московскій меценатъ.

— Позвольте мнѣ вернуться къ дѣлу. Мы... горсть молодыхъ литераторовъ, художниковъ и артистовъ, рѣшили основать новый театръ и назвать его *Студіей*... Онъ дѣйствительно долженъ быть школой, выразителемъ новыхъ принциповъ. Это революціонное дѣло...

— Ба!—срывается у Семена Николаевича.

— Устои здѣсь крѣпки... Надстройки... какъ говорится въ теперь забытыхъ брошюрахъ,—шли годами. Надо много вѣры...

— И много денегъ? — перебиваетъ Семенъ Николаевичъ, съ усмѣшкой подходя къ столу.

— И много денегъ. Вы совершенно правы. Безъ денегъ всякая пропаганда безсильна. Намъ нужны сотни тысячъ.

— О-го!..

— Намъ нужны два театра въ столицахъ. И филіальныя отдѣленія въ провинціи. Особенно важно бороться съ провинціей, гдѣ до сихъ поръ продолжаютъ видѣть въ литераторѣ пророка и учителя жизни.

Штейнбахъ чувствуетъ на себѣ влюбленные глаза женщины. Это его странно волнуетъ... Не потому, чтобы она нравилась ему... О нѣтъ!.. Но это любовница Гаральда.

V.

— Д-да!.. Съ провинціей вамъ придется побороться, — усмѣхается Семенъ Николаевичъ, нервно потирая руки.—Этотъ вашъ Петербургъ, въ сущности, настоящій уѣздный городъ...

— Вы любите парадоксы?—холодно перебиваетъ Гаральдъ.

— ...уѣздный городъ... Да... Гдѣ со скуки всѣ падки на новшества, всѣ разбились на кружки и всѣ грызутся между собой. И каждый кружокъ выдвигаетъ своего кумира... И всѣ бѣгутъ на него глядѣть. И ахаютъ и пишутъ о немъ рефераты, и печатаютъ о немъ хвалебныя статьи... А въ другомъ кружкѣ тащатъ этого кумира за ноги съ пьедестала долой, обливаютъ его грязью въ печати... И волнуются, и ругаются... забывая о томъ, что за предѣлами этого уѣзднаго городка раскинулась Россія. Огромная, таинственная, никому невѣдомая и... никому изъ васъ ненужная... Гдѣ терпѣливо и сосредоточенно читатель—этотъ невѣдомый вамъ всѣмъ загадочный Нѣкто—читаетъ все, отъ доски до доски, что бросаетъ ему столица... вашихъ поэтовъ, драматурговъ, беллетристовъ, философовъ, пророковъ... весь этотъ бредъ больного общества, растерявшаго послѣ грозы всѣ тѣ немногія цѣнности, что были у него.

— Вы... тоже литераторъ?—съ чуть замѣтной усмѣшкой перебиваетъ Гаральдъ.

— Но не воображайте, что это *вы* создаете новыя цѣнности! Во всякомъ случаѣ, если вы ихъ и создаете, то переоцѣнку имъ дѣлаетъ провинція... Въ сущности, всѣ вы работаете только на нее. Знаете вы, какое количество вашихъ книгъ расходится въ столицѣ?.. А!.. Конечно, вы этимъ не интересовались... Но, вѣдь,

надо же знать свою публику... Столицѣ некогда читать. Она только глядитъ. Она живетъ одними зрительными впечатлѣніями... Нынче премьера въ Маломъ, завтра въ Художественномъ, послѣзавтра въ Частной оперѣ... А тамъ Коршъ, а тамъ бенефисъ... или балъ литературы, или концертъ Никиша, или Гофмана... Боже мой! Гдѣ время читать? Слѣдить? Гдѣ возможность вдуматься? Атрофируется способность... Требуется вѣчная новизна и смѣна. Душа черствѣетъ... Мнѣнія берутся готовыми изъ критической замѣтки, изъ передовой статьи. Такъ спокойнѣе... Нѣтъ одиночества и потребности заглянуть въ себя и въ другого. Привычка быть въ толпѣ, быть какъ всѣ, создаетъ стадную душу, стадныя чувства... Апплодируютъ и вѣнчаютъ лаврами не потому, что нравится, а потому, что такъ дѣлаютъ всѣ... Критикуютъ и свищутъ не потому, что авторъ бездаренъ, а потому, что такъ дѣлаютъ и говорятъ другіе... Кинематографъ—вотъ что ей нужно, въ концѣ-концовъ, вашей столицѣ! И если вы хотите разбогатѣть, бросьте ваши мечты о *Студіи*, и создайте самый роскошный кинематографъ!

— Благодарю васъ за совѣтъ!—совершенно серьезно отвѣчаетъ Гаральдъ.—Но я имъ все-таки не воспользуюсь. И если все, что вы говорите о столичной интеллигенціи, вѣрно,—то тѣмъ болѣе я могу разсчитывать на успѣхъ нашего дѣла...

— О, конечно! Вы будете имѣть успѣхъ новизны... Пока вами не пресытятся. Но вѣдь нѣтъ никого требовательнѣе пустыхъ душъ. Вы хотите строить на пескѣ?

— Мы попробуемъ!..

— Но провинціи бойтесь! Въ провинцію не рискуйте итти съ вашей пропагандой... Какъ бы далеко вы ни стояли отъ современности, вы не могли же не замѣтить странной, поразительной смѣны за эти годы... Взгляните хотя бы на картину книжнаго рынка послѣ 1905-го года... Это настолько интересно, что тутъ надо бы перо соціолога... Вамъ извѣстно, Маркъ Александровичъ, какъ разорились N*** и Z***, вложивъ всѣ капиталы въ изданіе брошюры?

— Она схлынула съ рынка черезъ полгода.

— Ахъ, вы это тоже знаете?—Семенъ Николаевичъ преувеличенно вѣжливо оборачивается къ Гаральду.

— Да... Мы всѣ были поражены этимъ явленіемъ. И поняли, что насталъ нашъ часъ...

— Pardon... Вашимъ авангардомъ была порнографія?

— Мы не имѣемъ съ нею ничего общаго!

— Въ такомъ случаѣ, мистическій, какъ его тамъ?.. Ну, все равно... анархизмъ всякаго рода?

— Мы безпартійны. Мы служимъ искусству...

— А! Чортъ возьми!..

Брюнетка весело хохочетъ. Это разомъ смягчаетъ споръ.

— Маркъ Александровичъ, безъ шутокъ, это была картина, достойная пристальнаго изученія. Это было похоже на биржу. Акціи вздувались и падали. Цѣнности гибли. Банкротство висѣло въ воздухѣ...

Семенъ Николаевичъ бѣгаетъ по комнатѣ, дѣлая красивые, возбужденные жесты. Онъ немного рисуется. Его волнуетъ эта женщина.

— Это было какъ море. Налетѣлъ шквалъ. Перевернулъ все вверхъ дномъ. И все это отразилось въ литературѣ... Среди бушующихъ волнъ мы увидали старыя суда, съ разбитыми мачтами, безъ руля, либо тонувшія, либо носившіяся по волѣ стихій. На гребняхъ валовъ мелькали таланты, имена, знаменитости... Каждый день новые... Боже мой, сколько талантовъ! Сколько вѣяній и направленій!.. Съ головокружительной быстротой все это сверкало, вздымалось, ухало въ пропасть, пропадало безслѣдно. Калифы на часъ... Растерянно глядѣли вдаль хозяева старыхъ судовъ. Куда держать путь? Какъ добраться до пристани? Откуда дуетъ вѣтеръ? А вѣдь онъ дулъ изъ провинціи... Изъ этой невѣдомой никому изъ васъ таинственной страны... И отъ силы этого вѣтра, какъ мыльные пузыри, лопались всѣ ваши имена и таланты, всѣ ваши вѣянія и направленія... Въ столицѣ издавали журналы. И съ трепетомъ ждали подписки. Провинція рѣшала: быть имъ, или не быть... И читатель стоялъ въ сторонѣ, такой же загадочный, непроницаемый, молчаливый...

— Вы кончили?

— Нѣтъ... Дайте мнѣ дорисовать картину. Столица вѣнчала литераторовъ. Провинція развѣнчивала. Вы кидали лозунгъ. Провинція загадочно молчала... Она вдумчиво брала отъ васъ все: мишуру съ золотомъ, стекло съ брилліантами и отвергала ненужное; то, что не могло удовлетворить ея запросы, утолить ея жажду, отвѣтить на ея исканія... И даже жемчугъ и брилліанты отвергала нерѣдко... Не потому, что она не знаетъ въ нихъ толка. А потому что брилліанты и жемчугъ холодны въ своей красотѣ. Это сверкающіе кусочки жизни... А истрадавшаяся душа современника послѣ иллюзій и грезъ, жестоко разбившихся о дѣйствительность, жаждетъ примиряющаго синтеза, жаждетъ идеала... Не форма нужна, поймите, а суть!.. Вотъ почему ни одинъ художникъ слова не могъ побѣдить провинцію. Вотъ почему она остается холодна ко всѣмъ новымъ „прекраснымъ звѣздамъ“, которыя откапываютъ наши критики. Слишкомъ слабъ ихъ свѣтъ, чтобъ озарить мракъ и муть нашей жизни... И, замѣтьте, даже такой художникъ, какъ Левъ Толстой, чтобъ завладѣть душой русскаго читателя,

долженъ былъ покинуть литературу и стать пророкомъ... Повторяю: русскому читателю важно не то, *какъ* сказано, а *что* сказано... А есть ли у васъ что сказать ему?

— Вы кончили?—спокойно переспрашиваетъ Гаральдъ.

— Д-да!.. Если хотите... Кончилъ...

— Изъ всего, что вы сказали, вытекаетъ сама собою необходимость возникновенія нашей *Студіи*... Народъ, который не цѣнитъ формы и не любитъ своего языка, обреченъ на вымираніе. Надъ стилемъ надо работать, какъ работалъ Челлини рѣзцомъ. Вы были за границей?

— Д-аа...

— Вы видѣли во Флоренціи, въ Баптистеріи двери работы Гиберти?

— Н-нѣтъ...

— А въ Миланѣ рѣзныя фигуры на дверяхъ собора?.. Я чувствую, что вы ихъ не видали... А между тѣмъ вы прошли мимо шедевровъ... Мимо труда цѣлой жизни...

— Но позвольте...

— Извините. На этотъ разъ я не кончилъ... Надъ одной дверью художникъ работалъ двадцать-тридцать лѣтъ...

— Мы живемъ одинъ разъ...

— И что же? Вы хотите сказать, что безуміе отдать жизнь на созданіе шедевра?

— Я чуждъ вашей точкѣ зрѣнія.

— О, конечно! Но я и не льстилъ себя надеждой видѣть въ васъ своего послѣдователя...

— Стась!.. мы опоздаемъ...

— Сейчасъ... Намъ надо кончить. Госпо-динъ...

— Семенъ Николаевичъ,—быстро подхватываетъ Штейнбахъ. Гаральдъ ничему не удивляется.

— Семенъ Николаевичъ говоритъ, что Толстого у насъ научились цѣнить только, когда онъ бросилъ писать... И я самъ помню въ дѣтствѣ о Каронинѣ и Мачтетѣ, которые были вродѣ пророковъ... Помню мою тетушку, которая ѣздила къ кому-то изъ нихъ учиться, какъ устроить собственную жизнь... Я былъ тогда ребенкомъ. Но эта наивность взрослыхъ людей меня поражала.

— Вы и тогда знали, какъ устроиться?—дерзко усмѣхается Семенъ Николаевичъ. Гаральдъ, однако, неуязвимъ.

— Но, вѣдь, въ этомъ и приговоръ всему русскому обществу, которое игнорируетъ художника и требуетъ пророка. Интеллигенція нуждается въ эстетической школѣ. Уровень ея развитія въ этой сферѣ слишкомъ низокъ... Вы спрашиваете, есть ли у насъ идеалы?

О да!.. Мы жаждемъ освободить художника и возродить искусство... Въ *Студіи* найдутъ пріютъ всѣ тѣ молодые драматурги, которыхъ не понимаютъ современные режиссеры; всѣ тѣ музыканты-новаторы, которымъ нѣтъ мѣста въ нашихъ театрахъ. Но самое главное: у насъ будетъ балетъ...

— Ба-летъ?

Семенъ Николаевичъ вдругъ начинаетъ хохотать. Его плечи трясутся. Лицо краснѣетъ. Руки дрожатъ. Штейнбахъ сконфуженъ. Брюнетка весело смѣется. Гаральдъ невозмутимъ.

— Вы хоти... те воспитывать русское общество ба... ле... томъ?

И опять взрывъ смѣха.

— Если-бъ вы не смѣялись, я былъ бы огорченъ. Вашъ смѣхъ меня радуетъ.

„Онъ въ самомъ дѣлѣ интересенъ", думаетъ Штейнбахъ.

— Меня всегда радуетъ смѣхъ, насмѣшка, брань... Назовите мнѣ хотя-бъ одну живую мысль, которая не была бы освистана...

— Толпой?

— Да... Но чѣмъ страстнѣе ея протесты, тѣмъ вѣрнѣе побѣда побѣжденнаго... Современный балетъ болѣе всего вскрываетъ убожество и пошлость современнаго общества. Что сдѣлалъ онъ съ танцемъ? Съ ритмомъ? Съ этой музыкой жестовъ? Съ этой пѣсней безъ словъ?

„Маня..." Воспоминаніе пронзаетъ Штейнбаха. Онъ закрываетъ глаза и блѣднѣетъ.

— Танецъ—это колыбель искусства. Начало его теряется въ глубинѣ вѣковъ. Въ религіи самыхъ первыхъ народовъ мы уже находимъ его... Каждая народность изливала въ нихъ свои мольбы, свои стремленія къ Безконечному, свои страсти... Танецъ—это душа націи...

— Да, вы правы!—взволнованно подхватываетъ Штейнбахъ.

Глаза Гаральда внимательно изучаютъ его лицо. Онъ почувствовалъ его волненіе. Причины онъ не знаетъ. Но все равно! Онъ понялъ, что коснулся души этого человѣка.

Но и Семенъ Николаевичъ насторожился.

— Маркъ Александровичъ! Вы меня смѣшите... Не хотите ли вы сдѣлаться основателемъ этой *Студіи*?

— Я именно объ этомъ пришелъ просить барона Штейнбаха... У насъ долженъ быть свой органъ и свой театръ. Я заручился уже согласіемъ двухъ богатыхъ людей. Они ищутъ третьяго пайщика... Дѣло надо поставить сразу на большую ногу, чтобъ поразить воображеніе толпы. Это половина успѣха.

— Вы презираете людей, господинъ... господинъ...

— Гаральдъ...

— Это вашъ псевдонимъ?

— Если я его выбралъ, то мое имя становится безполезнымъ.

„Навѣрное какой-нибудь Шельмензонъ или того хуже“, думаетъ Семенъ Николаевичъ.

— Я ихъ не презираю, баронъ. Но я знаю цѣну толпѣ... Она не прощаетъ геніальнымъ неудачникамъ и преклоняется передъ счастливыми авантюристами... Наше дѣло всѣмъ намъ слишкомъ дорого, чтобы поспѣшнымъ началомъ, безъ денегъ и связей, мы рискнули провалить его... Мы согласны выжидать годы, если вы откажете намъ въ поддержкѣ...

Семенъ Николаевичъ опять беззвучно трясется отъ смѣха, дѣлаетъ экспансивные жесты и прячетъ голову въ плечахъ. Но Штейнбахъ серьезенъ. Онъ обдумываетъ свой отвѣтъ.

— Такъ вы придаете большое значеніе балету?

— Не балету, а танцу... И не только какъ дополненію къ драмѣ или оперѣ, а какъ самостоятельному, самоцѣнному искусству. Вы знакомы съ мимами Востока?

— О да!.. Я видѣлъ мимовъ Японіи. Это что-то поразительное!..

— Мы мечтаемъ имѣть то же и въ Россіи. Танецъ долженъ воплощать все: драму и музыку, Радость и Смерть... Надо создать цѣлую литературу, надо показать новую красоту... И таланты найдутся...

— Они уже есть!—быстро говоритъ Штейнбахъ. Но онъ тутъ же спохватывается. „Я не хочу, чтобы Маня встрѣтилась съ Гаральдомъ.“ Это рѣшеніе всплываетъ внезапно.

— Вы видѣли Дунканъ, баронъ?—перебиваетъ брюнетка.

— Да, и даже ученицъ ея...

— Наши танцовщицы будутъ моложе, прекраснѣе, стройнѣе и граціознѣе, чѣмъ эта ирландка. Ея заслуга въ протестѣ, въ ея первомъ крикѣ возмущенія рутиной и банальщиной...

— Но она бросила идею... Не забудьте!

— Мы ее разовьемъ. Она одна была безсильна создать драму и трагедію новаго танца. Она показывала намъ по-своему понятаго Шопена... И вызывала недоумѣніе. Новый танецъ требуетъ новой музыки и новыхъ жестовъ...

— А какой спросъ на босоножекъ! И всѣ онѣ имѣютъ успѣхъ. Въ обществѣ созрѣла потребность въ эстетическихъ эмоціяхъ... Вы правы...

— Но поднятыхъ въ видѣ амфоръ рукъ и порханья по сценѣ слишкомъ недостаточно для выраженія сложныхъ эмоцій... Это будетъ цѣлая наука...

— Охъ, какъ это будетъ трудно. — срывается у брюнетки. И она виновато смѣется.

— Вы тоже балерина? — догадывается Семенъ Николаевичъ.

— Ха!.. Ха!.. Къ несчастію... Я съ семи лѣтъ училась вывертывать ноги... И всю жизнь прослужила въ балетѣ... Сколько лѣтъ стояла „у воды"!.. Все интриги... Потомъ мнѣ дали характерные танцы. Въ нихъ я всегда имѣю успѣхъ... Но мнѣ, конечно, не даютъ ходу... Не могу попасть въ балерины... Держу на нее экзаменъ... И все срываюсь... Надоѣло...

— Развѣ это такъ трудно?

— Если-бъ вы знали, какое это мученіе! И всѣ эти репетиціи... Я человѣкъ простой, интриговать не люблю... И какъ страшно видѣть кругомъ себя всѣ эти злые, завистливые глаза! Дѣлаешь какой-нибудь пируэтъ на носкахъ, а сама думаешь: „Пронеси, Господи!" Всѣ-то слѣдятъ за твоими ногами и желаютъ тебѣ оступиться. И если ошиблась, что это за шипѣніе за кулисами! Что это за злобная радость!.. Убѣжишь въ уборную. И либо разобьешь что-нибудь, чтобы душу отвести, либо заревешь въ голосъ...

— Пора!—властно говоритъ Гаральдъ, вставая. Онъ подходитъ къ Штейнбаху, холодный, непохожій на просителя. И смотритъ на него спокойными, глубокими глазами.

— Вы не отказываете намъ, баронъ?

— Не только не отказываю. Я глубоко заинтересованъ. Считайте меня главнымъ пайщикомъ этого дѣла...

Легкое полусдавленное восклицаніе срывается у Семена Николаевича, но онъ остается въ тѣни.

Гаральдъ замѣтно смущенъ... Онъ самъ не ожидалъ такой легкой побѣды.

— Позвольте мнѣ быть у васъ завтра, чтобы выяснить детали, намѣтить планъ...

— Пожалуйста! Я буду ждать васъ въ семь часовъ.

— Стась! Но вѣдь мы приглашены завтра въ ложу. Идетъ...

Онъ смотритъ на нее. И она сконфуженно смолкаетъ.

— Въ семь часовъ я буду у васъ.

Онъ надѣваетъ перчатки и беретъ цилиндръ.

— Желаю вамъ успѣха!—язвительно говоритъ Семенъ Николаевичъ.

— Его можетъ и не быть,—невозмутимо отвѣчаетъ Гаральдъ.— Толпа любитъ только понятное и боится всего новаго. Вспомните провалъ *Балаганчика*... Поэтому мы должны, послѣ перваго натиска любопытства ищущихъ и пресыщенныхъ, приготовиться работать среди пустыхъ стѣнъ... Но именно затѣмъ намъ и нужны деньги. Отъ публики зависѣть позорно и опасно! Мы не развлекать ее хотимъ, а развивать. Не итти за нею, а поднять ее до себя.

— Балетомъ?

— Всѣмъ, что мы ей дадимъ... Къ насмѣшкамъ мы приготовились... Скажу вамъ больше: мы не гонимся за оцѣнкой современниковъ. Она вѣнчаетъ лишь тѣхъ, кто ей близокъ и понятенъ. Насъ—новаторовъ—она отвергнетъ. Но мы будемъ работать...

— Для будущаго?

— Для избранныхъ. И для будущаго, конечно... Мы будемъ искать новыхъ путей и говорить новыя слова. Мы сильны вѣрой въ свое дѣло, любовью къ искусству. И ваше презрѣніе мы встрѣтимъ спокойно...

Онъ кланяется Штейнбаху съ замѣтно большей почтительностью, чѣмъ въ первую минуту встрѣчи. Взглянувъ въ уголъ, гдѣ стоитъ Семенъ Николаевичъ, онъ киваетъ ему головой. Небрежный, даже дерзкій, но красивый жестъ.

— Онъ великолѣпенъ! — громко вслѣдъ ему восклицаетъ Семенъ Николаевичъ. Штейнбахъ задумчиво смотритъ на волнующіяся складки портьеры.

VI.

Семенъ Николаевичъ нѣсколько мгновеній бѣгаетъ по комнатѣ широкими, возбужденными шагами. Потомъ, сцѣпивъ пальцы вытянутыхъ рукъ, останавливается передъ хозяиномъ.

— Маркъ Александровичъ... Я теряюсь... Ушамъ не вѣрю...

— Ревнуете?—тихонько бросаетъ Штейнбахъ. Его губы кривятся. „На всѣхъ хватитъ", говоритъ эта усмѣшка.

— Да, да... Ревную... Безумно ревную!.. Зачѣмъ лгать? Я еле сдерживалъ себя... Развѣ вы не нашъ? Душой и тѣломъ? Развѣ вы охладѣли? Развѣ вы могли измѣниться? Другіе устали, но не вы! Другіе извѣрились, но не вы... который стоялъ такъ близко и зналъ такъ много... Толпа близорука, тщеславна и низка. Она отвертывается отъ побѣжденныхъ. Она отвернулась отъ насъ. Потому что факты говорятъ противъ насъ. И мы разбиты... И на смѣну намъ пришли эти... носители новой красоты... Но вы-то знаете истину... разбиты ли мы? Уничтожены ли? Или только ждемъ, глубоко притаившись въ тѣни? Вы же знаете, согласны ли мы уступить мѣсто этимъ господамъ?.. Гдѣ были они, эти жалкіе фразеры, эти ничтожныя души? Гдѣ были они, когда мы рисковали жизнью? Первый громъ возстанія смелъ ихъ съ лица земли. Они нырнули въ свои норы... Они прятали въ щели револьверы, не смѣли отворить форточку послѣ семи часовъ... Не смѣли зажечь огня въ комнатахъ на улицу... Въ кухнѣ играли въ карты... Я все это знаю... Они ненавидѣли насъ, за то что театры закрылись, за то что журналы умирали, за то что они остались безъ хлѣба!.. Когда опасность миновала, они всѣ вылѣзли изъ своихъ норъ и всѣ стали революціонерами... Видали ли вы когда-нибудь такой

расцвѣтъ героизма въ русской литературѣ? Публика требовала революціонныхъ разсказовъ, издатели отвергали чистое искусство... И всѣ они приспособлялись. И вотъ этотъ самый Оскаръ...

— Гаральдъ!

— Ахъ! Одинъ чортъ... И этотъ самый авантюристъ...

— Извините... Я нахожу его убѣжденнымъ, интереснымъ. Да, интереснымъ въ своей цѣльности...

— Глупости, хотите вы сказать?.. Онъ приспособлялся, однако, какъ и другіе, когда надо было ѣсть... Потому что литература— это ихъ ремесло. А ремесленники руководствуются спросомъ. Ремесленникъ ничего не имѣетъ *своего*. Онъ весь продаженъ!

— Вы увѣрены, что и онъ писалъ о погромахъ и казняхъ?

— Ахъ, почемъ я знаю! Такихъ, какъ онъ, теперь легіоны. И имя имъ—ничтожество... Имя имъ—тщеславіе... Я не знаю, слѣдили ли вы за этой бѣшеной скачкой... скачкой за извѣстностью, которая наступила немедленно послѣ 17-го октября въ литературѣ? Мнѣ пришлось пожить два мѣсяца въ Петербургѣ и бывать почти ежедневно въ нашей газетѣ. И вотъ всѣ эти... носители и пророки... толпились въ редакціи, ловили нюхомъ, гдѣ открывается новый революціонный органъ?.. Безпартійныхъ тогда не было въ поминѣ... Я видѣлъ, какъ они на перебой кидались въ новую редакцію, чтобъ вписать свое имя въ число сотрудниковъ! Дрожа, что ихъ отвергнутъ, что ихъ забудутъ... Всѣ спѣшили опредѣлиться, приписаться, присосаться, щегольнуть моднымъ ярлыкомъ, торговать имъ, кормиться около насъ... Какъ эти самые господа плясали передъ рабочими!.. А теперь, видите ли, они пишутъ для *избранныхъ*! Для интеллигентовъ... Рабочіе могутъ ихъ хоть не читать!.. Они презираютъ ихъ по-старому... Вѣдь теперь „насталъ ихъ часъ"...

Онъ бѣгаетъ по комнатѣ, схватившись за голову.

Вдругъ онъ останавливается.

— Вы улыбаетесь, Маркъ Александровичъ?

— Да... Позвольте мнѣ улыбаться.

— Нѣтъ! Нѣтъ!.. Я не могу этого вынести...

Штейнбахъ беззвучно смѣется, слѣдя за мелькающей фигурой. Полы сюртука опять взмахиваютъ на поворотахъ, какъ крылья.

— Семенъ Николаевичъ, разбейте что-нибудь, пожалуйста!.. Вотъ бросьте это кресло со всего размаха... Вамъ станетъ легче... Ухъ! Какая энергія... Счастливецъ!

— Вы положительно смѣетесь надо мною?

— Нѣтъ... Нѣтъ... Я радъ за васъ. Если-бъ не было такихъ вспышекъ, ваше бездѣйствіе убило бы васъ, какъ Наполеона на островѣ Св. Елены... Хотите сигару?

Семенъ Николаевичъ садится, обезсиленный, у стола и вытягиваетъ свои длинныя ноги.

— Нѣтъ. Позвоните лучше, чтобъ дали вина! Серьезно, хочу напиться... Некрасиво. Какъ сапожникъ. Хочу скандала... Клянусь вамъ, если встрѣчу этого молодчика, я ударю его въ лицо...

— Вамъ очень удобно попасть въ участокъ... Это было бы какъ нельзя кстати.

Семенъ Николаевичъ кусаетъ губы.—Д-да!.. И этого нельзя...

— „Тяжела шапка Мономаха"?

Семенъ Николаевичъ поднимаетъ голову. И подозрительно изучаетъ неподвижное лицо хозяина. Зорки эти глаза. Желѣзная воля видна въ линіи сдвинутыхъ бровей.

„Неужели онъ ушелъ изъ моихъ рукъ?.. Когда?.. Куда?.."

— Маркъ Александровичъ, будемъ говорить серьезно... Меня взорвала сейчасъ ваша усмѣшка. Въ ней было то... чего я вамъ никогда не прощалъ... Цинизмъ.

Вѣки Штейнбаха вздрагиваютъ. Но и это маленькое движеніе тоже учтено.

— Вы слишкомъ горды, чтобы это отрицать. Вы подумали, что мнѣ жалко вашихъ денегъ? Что я себя считаю обиженнымъ при этой подачкѣ?... Вы подумали: „На всѣхъ хватитъ"?

Штейнбахъ поднимаетъ глаза и смѣется. Входитъ лакей.

— Подайте вина и дессертъ!.. Семенъ Николаевичъ, я всегда восхищался вами. Вполнѣ понимаю, почему вы играли и играете такую видную роль. Вы читаете въ душахъ... особенно въ такихъ простыхъ, какъ моя... У васъ рѣдкій темпераментъ. Изумительный темпераментъ борца! Въ немъ ваша сила... Но въ немъ же и ваша слабость... Потому что ненависть ослѣпляетъ васъ и мѣшаетъ вамъ оріентироваться, когда вы попадаете въ среду противниковъ. Вы такъ привыкли къ власти...

— Это что значитъ?

— Ахъ, другъ мой! Не надо между нами недоразумѣній и недомолвокъ... Рядомъ съ собой вы не только не терпите силы и власти... Вы любите только такихъ безвольныхъ, какъ я...

— Но позвольте...

— Да, да... Я говорю это безъ горечи. Себѣ я тоже знаю цѣну, Семенъ Николаевичъ... И я вѣрю въ искренность вашей ко мнѣ привязанности. Каждый творецъ любитъ свою креатуру...

— Вы каждую минуту готовы ускользнуть изъ рукъ!

— Ахъ, вы сами себя выдаете!

Какъ зарево загорается лицо Семена Николаевича. Но черезъ мгновеніе и онъ смѣется, показывая хищные, мелкіе зубы.

— Вы сдѣлали выразительный жестъ сейчасъ... Ха!.. Ха!..

Лакей стучится и вноситъ подносъ.

— Вы стали изучать жесты, Маркъ Александровичъ?

— Пейте, пожалуйста... О да!.. Меня всегда интересуютъ люди, теряющіе власть надъ собой. Люди въ аффектѣ... Можетъ-быть потому, что я самъ лишенъ темперамента... А вашъ прорывается на каждомъ шагу. Это же самое плѣняетъ меня и въ Гаральдѣ.

— Вотъ ужъ у кого нѣтъ ни капли темперамента!.. Еле ворочаетъ вѣками... И порочный... Это чувствуется. Развѣ вы не замѣтили, что у него лицо кривое? Лицо дегенеранта?

— У него хороши лобъ и брови. А глаза его не забудешь...

— Но его ротъ? Эта складка презрѣнія и горечи... А ему нѣтъ и 30-ти лѣтъ... Когда я вижу кривое лицо, кривой ротъ, я всегда думаю, что у человѣка долженъ и въ душѣ быть дефектъ... Но у него наврядъ ли есть душа... Тщеславіе и самовлюбленность. И безграничный апломбъ...

— Вотъ-вотъ,—именно эта сила вашей ненависти ослѣпляетъ васъ... И не позволяетъ дѣлать безпристрастную оцѣнку, какъ только вы сталкиваетесь съ людьми иного лагеря...

— Тамъ и лагеря нѣтъ...

— О, есть! И сильный. Возможно, что міросозерцаніе этого Гаральда ограниченно...

— Съ этотъ столъ...

— Но оно стройно, цѣльно. Оно не можетъ не вызывать интереса. Онъ—если хотите—даже трогателенъ въ своей вѣрѣ...

Семенъ Николаевичъ наполняетъ виномъ свой стаканъ. Но рука его замѣтно дрожитъ.

— Съ которыхъ поръ вы стали такъ сантиментальны?.. Послушайте, вы серьезно дадите себя одурачить этой кучкѣ авантюристовъ?

— Я вижу убѣжденнаго человѣка... Мнѣ, колеблющемуся, какъ тростникъ на вѣтрѣ, дорого яркое проявленіе воли и готовность къ борьбѣ...

— Вотъ... именно эта черта въ васъ и приводитъ меня въ отчаяніе!.. Маркъ Александровичъ, давно ли я ревновалъ васъ къ вліянію этого анархиста?.. И знаменитой Надежды Петровны? Удивляюсь, какъ вы уцѣлѣли до сихъ поръ въ этой компаніи? Вы даже книгу его издали?

— Да! Вотъ она... Моя настольная книга.

Семенъ Николаевичъ молча отпиваетъ вино. Потомъ тихонько качаетъ головой.

— Надо вамъ сознаться, что эластичная у васъ натура!

— Вѣрнѣе, никакой натуры нѣтъ... Я ищу чѣмъ наполнить убійственно скучную жизнь. И все, что опасно и красиво, манитъ меня.

— Тоже эстетическое міросозерцаніе выходитъ?

— Пожалуй, что и такъ... Можете и безъ ироніи... И нечего сверкать глазами. Ха!. Ха!.. Совсѣмъ тигръ на шелковой лентѣ...

— Маркъ Александровичъ, я долженъ былъ уѣхать нынче въ ночь. Но я останусь... Оставьте меня у себя! Я хочу присутствовать завтра при вашемъ свиданіи съ этимъ Олафомъ...

— Гаральдомъ... Ха!.. Ха!..

— Я долженъ собственными глазами видѣть паденіе моихъ акцій...

— Какая потребность въ власти!

— Можетъ-быть да... Можетъ и нѣтъ... Я не хочу васъ терять... И не прощаю вамъ вашей циничной усмѣшки... вашихъ низкихъ подозрѣній... Ваши милліоны деморализовали васъ. Нельзя безнаказанно владѣть такими богатствами... Вы презираете людей... Но я не хочу презирать васъ! Поэтому я не могу допустить, что вы ударитесь въ какую-то „эстетику“... Чортъ бы ее взялъ!

Онъ съ размаху ставитъ стаканъ, встаетъ и потягивается, гибкій и сильный.

— Я взвинченъ. И дома не хочу сидѣть. Поѣдемте въ театръ! Идетъ *Драма Жизни* въ Художественномъ... До безумія хочу толпы, свѣта, шума...

— Женщинъ...

Глаза Семена Николаевича суживаются и блестятъ.

— Счастливецъ!—вздыхаетъ Штейнбахъ. И идетъ къ телефону.

— А вы не боитесь?—спрашиваетъ онъ, беря трубку.

Тотъ дѣлаетъ энергичный жестъ, полный вызова.

VII.

Театръ полонъ. Они сидятъ въ ложѣ бенуара.

— Кто это киваетъ намъ изъ бельэтажа?—спрашиваетъ Семенъ Николаевичъ.—Позвольте бинокль... Ахъ, это они...

— Кто они?

— Бертрамъ и подруга.

И, опустивъ бинокль, онъ усмѣхается навстрѣчу широкой экспансивной улыбкѣ танцовщицы.

— Они одни?

— Окружены цѣлой толпой... носителей... Маркъ Александровичъ, взгляните! Не каждый день увидишь такія лица...

Въ антрактѣ они стоятъ въ фойе, у дверей, и оглядываютъ женщинъ.

— Вотъ хорошенькая,—громко говоритъ Семенъ Николаевичъ.—Люблю такой типъ—маленькихъ брюнетокъ...

Хрупкая фигурка въ бѣломъ платьѣ оборачивается, кидаетъ

Семену Николаевичу кокетливо-испуганный взглядъ, переводитъ глаза на Штейнбаха. И оступается.

— Ты ушиблась?—заботливо спрашиваетъ Нелидовъ.

— Нѣтъ... Ничего...

Катѣ страшно до дурноты. Она видѣла, какъ поблѣднѣлъ Штейнбахъ... Неужели и та тоже въ театрѣ?.. Куда бы уйти?.. Они не должны встрѣчаться... „Боже, какъ онъ на меня взглянулъ!.. Какіе глаза!..“

— Катя... Куда же ты?

— Пойдемъ... въ буфетъ... Мнѣ дурно... Хочу воды...

— Вы ее знаете?—спрашиваетъ заинтересованный Семенъ Николаевичъ.—Почему она такъ испугалась? Кто это, Маркъ Александровичъ?.. Ей-Богу, можно подумать... У васъ даже губы бѣлыя... Неужели старая любовь?

Штейнбахъ пробуетъ улыбнуться.—Вы недалеки отъ истины...

„Неужели это та самая дѣвчонка, за которой онъ удралъ за границу?.. Но почему она здѣсь, съ другимъ?“

— Странно! Я не считалъ васъ способнымъ на глубокую страсть..

— Ахъ, вы здѣсь, баронъ? Я васъ ищу!

— Дуничка... Ты скоро?—спрашиваетъ Коровину другая дама, рыжая, въ огромномъ парикѣ, разрисованная, полуголая.

— Сейчасъ... Ступай... Скажи Горѣ, что я потомъ...—Она машетъ рукой. Видно, что она вся растерялась отъ радости.

Дуничка сама вся лѣзетъ изъ своего лифа. Темно-красный шелкъ оттѣняетъ ея пышныя плечи. Къ ней очень идетъ модная прическа съ проборомъ посрединѣ и съ пышными, гофрированными, окаймляющими лицо бандо. Настоящіе солитеры горятъ въ ея ушахъ. Она смотритъ на Штейнбаха снизу вверхъ съ откровеннымъ, наивнымъ восторгомъ, отдаваясь ему этимъ взглядомъ; движеніемъ своей почти голой груди; улыбкой, красивой и непосредственной.

— Милый баронъ... Простите мнѣ мою навязчивость... Но мнѣ до безумія хочется сидѣть въ вашей ложѣ! Пригласите меня!

— Вашу руку,—говоритъ Семенъ Николаевичъ. И ноздри его трепещутъ, когда онъ наклоняется надъ ея плечами.—Мы съ барономъ сочтемъ себя счастливыми...

Звонокъ. Толпа хлынула изъ залы. Мимо идутъ Гаральдъ, рыжая дама и двое мужчинъ въ смокингахъ и эксцентрическихъ жилетахъ. У нихъ молодыя, но уже помятыя лица.

— Горя... Горя!—звонко кричитъ Дуничка. И дѣлаетъ экспансивные знаки. Гаральдъ невозмутимо щурится вдаль.

— Простите, на минутку...

Она подбѣгаетъ и беретъ Гаральда за руку. Онъ вдругъ склоняется надъ нею и говоритъ ей въ упоръ:

— Ты невозможна. Въ послѣдній разъ выѣзжаю съ тобой...

— Что такое?

— Гаральдъ—псевдонимъ. Гаральдъ не Григорій. Не имя. Никакихъ нѣжностей не допускается.

— Какъ *пальто*... Не склоняется. Поняли?—говоритъ другой. И дѣлаетъ глупое лицо. Рыжая машетъ рукой.

— Дуничка втюрилась... Дуничка обалдѣла...

— Я ушла, — весело говоритъ Дуничка. Поворачивается, и шлейфъ яркаго платья взлетаетъ, какъ пламя.

Она сидитъ въ ложѣ бенуара, впереди, вся высунувшись не только изъ ложи, но и изъ лифа. Она смѣется, болтаетъ, искрится вся радостью. Она опьяняетъ Семена Николаевича. Онъ прячется за ея стуломъ, вдыхая запахъ ея кожи. Онъ шепчетъ ей что-то на ухо. И она звонко смѣется. Точно ее щекочутъ.

Штейнбахъ сидитъ недвижно. Отвѣчаетъ невпопадъ. Многаго не слышитъ. Онъ видѣлъ, что Катя и Нелидовъ прошли въ первый рядъ. Онъ беретъ бинокль. Ему виденъ вкось его профиль. Какъ похудѣлъ! Онъ состарился лѣтъ на десять. Онъ, значитъ, страдалъ... Еще бы!.. Еще бы!.. Но теперь онъ женился... Когда же это случилось? Онъ смотритъ на Катю, на черные локоны модной прически, смуглый затылокъ, узенькія плечи... Любитъ ли онъ ее теперь? Неужели Маня забыта? Такая банальная эта Катя... Такое ничтожество...

Но его глаза... глаза... Этотъ усталый потускнѣвшій взглядъ, которымъ онъ обвелъ залу. Взглядъ равнодушія ко всему... Какое же это счастіе съ такимъ лицомъ?

Сердце Штейнбаха бьется такъ сильно, что рука дрожитъ. И трудно держать бинокль. Но оторваться отъ нихъ онъ не можетъ.

Опять антрактъ. Опять шумъ и гулъ голосовъ кругомъ. Штейнбахъ машинально подаетъ руку Дуничкѣ. И, между двумя высокими интересными „кавалерами“, она идетъ сіяющая, зажигая желанія мужчинъ, вызывая зависть женщинъ.

— Займите столикъ, баронъ! Я хочу пить!

Они садятся. На нихъ смотрятъ. Шепчутся. Она это любитъ. Она громко смѣется и чокается съ Семеномъ Николаевичемъ, и глаза ея искрятся, какъ ея солитеры.

— Вы всегда такъ мрачны, баронъ?

„Какъ сказать Манѣ? Что она почувствуетъ?“

— Ха!.. Ха!.. Онъ даже не слышитъ васъ... Дун... Евдокія...

— Просто Дуничка... Меня всѣ такъ зовутъ...

— Оставьте его!.. И займитесь мною...

— А вы? Семенъ...
— Николаевичъ...
— А потомъ?
— Больше ничего... Инкогнито...
— Что за вздоръ? Налейте еще! У васъ злые глаза... Я васъ боюсь...
„Обворожительно глупа... Люблю такихъ... изрѣдка!“
„Если она не разлюбила его до сихъ поръ, то разлюбитъ теперь“... думаетъ Штейнбахъ.
Поминутно къ ихъ столу подходятъ и раскланиваются: репортеры, драматурги, адвокаты, члены литературно-художественнаго кружка. Штейнбахъ разсѣянно жметъ ненужныя руки, старается отвѣчать впопадъ. Глаза его обыскиваютъ толпу.
— Послушайте, инкогнито... пригласите къ столу Гаральда!
— Ни за что!
— Почему?
— Вамъ мало насъ двухъ?
— Но онъ мнѣ мужъ...
— Это предразсудки... И потомъ вы не вѣнчаны.
— А вы почемъ знаете?
— Дуничка, вы уже не любите его. Въ васъ говоритъ привычка къ рабству!
— Можетъ-быть... Такъ хорошо быть рабой!
И она ласково смотритъ на Штейнбаха. Тотъ вѣжливо улыбается и говоритъ:
— Да...
— Вотъ видите! Баронъ меня понимаетъ...
Звонокъ. Они идутъ въ зрительный залъ. Въ дверяхъ столпились. Вдругъ сердце останавливается въ груди Штейнбаха. Обернувшись нечаянно, онъ встрѣчается съ глазами Нелидова.
„А гдѣ же *она*?“ спрашиваютъ эти глаза.
Въ десяти шагахъ, раздѣленные толпой, они черезъ головы женщинъ глядятъ другъ на друга. Лица ихъ блѣдны. Губы у обоихъ сжаты съ выраженіемъ ненависти.
Толпа дрогнула. Двинулась впередъ. Штейнбахъ идетъ за своей дамой. И видитъ, съ какой брезгливостью оглядываетъ ее Нелидовъ.
„Онъ не забылъ Маню“, думаетъ Штейнбахъ.

VIII.

— Дуничка, поѣдемте ужинать съ нами!
— А Горя?
— Что такое?
— Ну, Гаральдъ...
— Ахъ, что вамъ до него? Оставьте! Завтра вернетесь къ нему...

— Какой вы бѣдовый!.. Ой... Ой...

Они втроемъ садятся въ автомобиль. Дуничка вертится. Вотъ досада! Нѣтъ Гаральда и К°. Никто не видитъ ея тріумфа.

У Яра пьютъ шампанское. Штейнбахъ молчаливъ.

Послѣ двухъ онъ платитъ по счету и незамѣтно, подъ предлогомъ покурить, ускользаетъ въ переднюю. Тамъ онъ пишетъ на карточкѣ нѣсколько словъ и посылаетъ ее съ швейцаромъ и съ ключомъ отъ своей двери.

„Извиняюсь передъ дамой. Болитъ голова. Можете воспользоваться автомобилемъ. Я пройдусь пѣшкомъ. Ворота не будутъ заперты. Возьмите мой ключъ“.

Семенъ Николаевичъ читаетъ и хочетъ разорвать записку.

— Ахъ, дайте мнѣ ее на память!

— Вы сантиментальны, Дуничка. Развѣ вы несчастны въ любви?

— Ужасно!.. Горя—мое горе... Ха!.. Ха!.. Ха!..

— Онъ вамъ измѣняетъ?

— Рѣдко. У него нѣтъ темперамента.

— И нѣтъ фантазіи вообще?..

— Ха!.. Ха!.. Ха!.. Ахъ, какой вы бѣдовый!

— Онъ никого не любитъ кромѣ себя, Дуничка...

— Да. Онъ отчаянный эгоистъ. И гордецъ... Вы знаете, я для него бросила... Павла Ник... ну, все равно!.. Одного очень богатаго, очень хорошаго человѣка... Умоляла его жениться на мнѣ... И слышать не хочетъ!.. Онъ даже не согласился жить на одной квартирѣ...

— Значитъ, вы одна?

— Да... Господи, какъ это тяжело ложиться и вставать въ одиночествѣ!

Это срывается у нея такъ непосредственно, что Семенъ Николаевичъ трясется отъ смѣха. Эта глупость умиляетъ его.

— Сколько разъ у него описывали за долгъ все до молотка!.. Уносили все, даже его смокингъ... Онъ долженъ портному, сапожнику... Вы видѣли, какъ онъ одѣвается? Онъ говоритъ, что писатель долженъ изяществомъ выдѣляться среди толпы...

— A la Oscar Wilde?

— Что такое?

— Продолжайте, моя дорогая... Я слушаю...

— И вотъ еще на той недѣлѣ... я приношу ему вотъ эти бриллiанты, чтобъ онъ ихъ заложилъ и сразу расплатился...

— И...

— Прогналъ меня, представьте!.. Молча посмотрѣлъ. Взялъ за руку, вывелъ въ корридоръ. И щелкнулъ у меня подъ носомъ ключомъ... Я такъ и заревѣла въ голосъ...

— А онъ?

— Точно умеръ за дверью... И недѣлю не показывался...

— Скажите!.. А вотъ это его предпріятіе...

Дуничка съ проницательностью любящей женщины угадываетъ подозрѣнія собесѣдника и укоризненно качаетъ головой. Солитеры ея горятъ и искрятся.

— Ахъ, какой вы!.. Неужели вы думаете, что онъ хочетъ нагрѣть руки около этого дѣла?.. Онъ бредитъ *Студіей*... Да онъ и не возьмется за хозяйственную часть... Онъ поэтъ... Если-бъ онъ хотѣлъ имѣть деньги... Въ него безумно влюблена дочь Халатова... Вы слыхали? За ней даютъ полмилліона... Но для него свобода дороже всего... Ахъ, гадкій вы!.. Если-бъ вы видѣли, какой головокружительный успѣхъ онъ имѣетъ, когда выступаетъ въ литературныхъ вечерахъ...

— Съ этимъ акцентомъ и голосомъ?

— Ахъ, что такое акцентъ! Его забрасываютъ цвѣтами...

— Лучше-бъ онъ стоялъ молча, вашъ Оскаръ...

Она задумывается. Она замѣтно опьянѣла.

— Гдѣ это онъ теперь?

— Съ кѣмъ, вы хотите сказать?

— Ну, да... Впрочемъ завтра онъ мнѣ скажетъ...

— Онъ развѣ не лжетъ вамъ?

— Горя? Лжетъ?.. Такой гордецъ?.. Онъ съ перваго дня сказалъ: „Никакой вѣрности не обѣщаю, потому что все это ложь. Поэту нужна новизна. И я ни отъ чего не буду отказываться. Но при первой „сценѣ“ я уйду совсѣмъ“...

Ея губы дрожатъ. Глаза полны слезъ.

— Н-недурно... Дуничка... У васъ нервы... Не пора ли домой? Я васъ довезу и... вы угостите меня чашкой чая...

Она смахиваетъ слезу. Смотритъ ему въ глаза. И хохочетъ. Онъ цѣлуетъ ея руки.

— Бѣдовый вы!.. Вамъ не клади пальца въ ротъ...

— А онъ ревнивъ?

— Какъ бы не такъ!.. Не признаетъ ничего этого... Я на его глазахъ цѣловалась съ другими. Онъ и бровью не повелъ...

— Онъ стиленъ, вашъ Бертрамъ...

Они ѣдутъ. Когда фонари Яра перестаютъ кидать отблескъ на дорогу, Семенъ Николаевичъ мягкимъ, но властнымъ жестомъ обнимаетъ плечи Дунички, поворачиваетъ къ себѣ ея голову. И жадно приникаетъ къ ея губамъ.

IX.

— Здѣсь общежитіе высшихъ женскихъ курсовъ? — спрашиваетъ Штейнбахъ швейцара, который выскакиваетъ на подъѣздъ.

— А вамъ кого?

— Я васъ спрашиваю, въ этомъ подъѣздѣ общежитіе?

— Пожалуйте на четвертый этажъ.

Въ корридорѣ Штейнбахъ видитъ группы курсистокъ. Однѣ въ шляпкахъ и пальто. Другія въ домашнихъ костюмахъ. Гулъ и смѣхъ вырываются изъ двери на площадку этажомъ ниже, гдѣ прибита доска: *Аудиторія высшихъ курсовъ*. По лѣстницѣ вверхъ и внизъ бѣгутъ молодыя дѣвушки, озабоченныя и смѣющіяся. Студентъ, очевидно гость, спрашиваетъ кого-то, стоя на поворотѣ, внизу. Ему кричатъ сверху, смѣются... При встрѣчѣ съ Штейнбахомъ всѣ смолкаютъ, сторонятся, смотрятъ ему вслѣдъ большими глазами... Но онъ привыкъ къ этому вниманію, не замѣчаетъ его. И онъ такъ полонъ своей тревогой!

Въ корридорѣ наверху онъ останавливается. Никого. Онъ кашляетъ. Блѣдная дѣвушка въ платкѣ отворяетъ дверь.

— Вамъ кого?

— Софью... Госпожу Горленко. (Онъ вдругъ забылъ, какъ отчество Сони.)

— Горленко... Васъ спрашиваютъ, — кричитъ курсистка, стучась въ дверь напротивъ. Оттуда звучатъ быстрые шаги.

— Кто еще такое?—слышитъ онъ нетерпѣливый голосъ Сони.

— Благодарю васъ,—сконфуженно шепчетъ онъ, кланяясь курсисткѣ. Она съ любопытствомъ глядитъ на него.

Дверь въ полусвѣтлый корридоръ распахивается. Соня стоитъ на порогѣ сердитая, съ складкой между бровей, съ перомъ въ рукахъ.

— Вы??—Радость затопляетъ каждую черточку ея лица.

Курсистка скромно скрывается и запираетъ за собой дверь.

— Боже мой! Какое счастіе!.. Когда вы вернулись?

— Дней пять назадъ.

Держа его за обѣ руки, она глядитъ на него.

— Я сошла съ ума... Идите сюда!.. Вотъ моя комната... Какъ жаль!.. Сейчасъ вернется моя сожительница... Ну, снимайте пальто! Чѣмъ васъ угостить? Садитесь сюда!.. Хотите чаю?

— Вы работали, Соня. Я помѣшалъ вамъ?

— О, что вы такое говорите? Я, правда, готовилась къ зачету... Но это все равно! Я успѣю... Маркъ... Какой для меня праздникъ! Но почему вы... такой?.. Вы больны?

— Соня... Я не могу говорить здѣсь... То, что я вчера узналъ...

Она вдругъ вся тускнѣетъ.—Вы уже знаете?

— А вы?—Онъ беретъ ее за руки и притягиваетъ къ себѣ.

— Я сама только на-дняхъ узнала... Я ждала васъ, чтобъ сказать... Но когда вы вошли такъ внезапно...

— Соня, поѣдемъ ко мнѣ... Ради Бога, скорѣе!

Они выходятъ. На ходу Соня застегиваетъ свою жакетку.

— О милая комната! Какъ здѣсь хорошо!—говоритъ она, подходя къ камину, гдѣ пылаетъ огонь.

— Вы не завтракали, Соня?

— Я никогда не завтракаю. Я обѣдаю въ два...

Штейнбахъ звонитъ. И велитъ дать два прибора.

— Меня нѣтъ дома,—говоритъ онъ камердинеру.—Пріемъ только съ трехъ.

Они остаются одни. Онъ тоже придвигаетъ къ огню свое кресло и беретъ озябшую руку Сони.

— Вчера я видѣлъ въ театрѣ Нелидова и его жену. Когда они вѣнчались?

— На-дняхъ. Я получила письмо отъ дядюшки. Вы очень удивились?

— Это смѣшно, быть-можетъ!.. Но я чуть не упалъ, когда увидалъ ихъ рядомъ. Какъ будто меня ударили въ лицо... Гдѣ они вѣнчались?

— Въ Дубкахъ. Дядюшка былъ шаферомъ жениха. Все было скромно. Почти никакихъ приглашеній... Мама не поѣхала, хотя ее звали... Дядюшка говоритъ, было похоже на похороны. У него лицо больное. А она испуганная какая-то и плачетъ...

— У него ужасное лицо! Онъ постарѣлъ. Въ немъ уже нѣтъ обаянія. Онъ не забылъ ее.

— Я въ этомъ увѣрена, Маркъ...

Они долго молчатъ, глядя въ огонь.

Когда подаютъ завтракъ, и они остаются вдвоемъ, Штейнбахъ говоритъ:

— Онъ жаждалъ забвенія. И не нашелъ его. Возможно, что онъ смирится потомъ и полюбитъ эту... жену свою. Но самое важное: онъ не искалъ. Онъ взялъ то, что было подъ рукою... И это одно примиряетъ меня съ нимъ... отчасти...

— Вы рады, что онъ не забылъ ее?—быстро спрашиваетъ Соня.

— Да... хотя здѣсь никакой логики. Но въ любви искать ее не стòитъ.

За дессертомъ Соня спрашиваетъ:—Что намъ теперь дѣлать? Думаете вы, что она его помнитъ?

— Помнитъ ли, нѣтъ ли, онъ для нея умеръ. Человѣкъ долга, какъ Нелидовъ, женившись, запираетъ свое *я* въ высокую башню безъ дверей и оконъ... Даже все безуміе ея страсти безсильно проникнуть чрезъ эти стѣны...

Соня протягиваетъ ему письмо Мани, которое она всѣ эти дни носила въ сумочкѣ.

Штейнбахъ садится у камина и читаетъ долго. Потомъ молча смотритъ въ огонь.

— Отдайте мнѣ это письмо, Соня!

— Возьмите... Но зачѣмъ оно вамъ, Маркъ?

— Она еще любитъ его. Не знаю, въ какой фразѣ, въ какомъ словѣ я это нашелъ... Я перечту его потомъ... И пойму...

— Вы обратили вниманіе на приписку: „Когда ты его встрѣтишь, скажи ему, что я счастлива"... Гордость это? Или любовь?

— Любовь, Соня. И прощеніе...

— Маркъ, что же мы будемъ дѣлать? Надо сказать ей...

— Не говорите! Ради Бога, не пишите ничего... Я скажу самъ.

— А вы не думаете, что ей будетъ больнѣе этотъ ударъ при свидѣтелѣ?.. При васъ?

— Пусть! Я знаю слова, которыя ее исцѣлятъ...

— Слова безсильны тамъ, гдѣ есть страданіе...

— Слова—волшебныя завѣсы, скрывающія дали... Надо только, чтобъ она почувствовала за ними это *новое*. И если даже это будетъ ложь, я долженъ лгать...

Соня задумчиво качаетъ головой.

— Что можетъ исцѣлить отъ безумія любви? Только новая любовь... Маркъ... Почему ваша рука дрожитъ? Вамъ больно?

— Это пустяки... У меня бываетъ невралгія. Рвущая боль... Одно мгновеніе... Говорите... Вы думаете, что ей нужна любовь?

Соня тихо смѣется.

— Я никогда не могла себѣ представить Маню невлюбленной...

— Но пережитое, думаете вы, не измѣнило ея души?

— Вамъ ближе знать, Маркъ. Въ письмѣ ея я чувствую и силу, и порывы, и что-то...

— Новое?.. Да... Несомнѣнно. Въ эволюціи ея души страсть къ Нелидову—это пройденная ступень. Въ ней сейчасъ говоритъ физическая привязанность къ отцу ея ребенка... И только... Только, Соня!

— А развѣ этого мало, Маркъ?

— Это страшно много для средней женщины. Для Мани это тоненькая цѣпочка. Она должна порвать и ее...

— Знаете? На меня точно весной пахнуло, когда я прочла это письмо. Она научилась цѣнить себя. Это чувствуется...

— А развѣ это не самое важное? Любя Нелидова, она не цѣнила своей жизни и всѣхъ ея возможностей... Теперь она не позволитъ себя унизить.

Бьетъ два. Соня встаетъ.

— Постойте, дорогая!.. Сядьте... Еще одинъ невыясненный вопросъ... Но я боялся его коснуться въ эти свиданія съ вами... Знаетъ онъ, что у нея ребенокъ?

— Да. Но... Маркъ, мнѣ трудно говорить...

— Онъ думаетъ, что это мое дитя?

— Да, конечно... Ему легче такъ думать... И потомъ...

— Это думаютъ другіе?

— Маркъ, не сердитесь!.. Вы сами задѣли этотъ вопросъ...

— Словомъ...—Онъ на мгновеніе стискиваетъ поблѣднѣвшія губы.—Ей нѣтъ уже мѣста въ обществѣ вашей матери и вашихъ знакомыхъ?

Лицо Сони заливается краской.

— Маркъ... Я не могу отвѣчать за другихъ. Я поссорилась съ отцомъ и мамой, отстаивая мою дружбу. Что я могла сдѣлать еще?.. Эта ненавистная Катька Лизогубъ... ну, да... теперь Нелидова... и Наташа Галаганъ говорили о ней съ такимъ презрѣніемъ... О, я съ ними посчиталась!.. Лика, даже Анна Васильевна—всѣ осуждаютъ ее...

— За что?

— За то, что она *все-таки* уѣхала съ вами... И даже дядюшка, который ее жалѣетъ, говоритъ, что она скомпрометировала себя безвозвратно...

— Онъ думаетъ, что лежать въ могилѣ было бы приличнѣй?

— Господь его знаетъ, что онъ думаетъ! Ни въ бѣдность ея они не вѣрятъ, ни въ ея скромную жизнь, ни въ ея заработокъ... Ахъ! У меня желчь развивается, когда я вспоминаю все, что говорятъ о ней и о васъ...

— Вы показывали имъ ея рисунки въ „*Fliegende Blätter*“?

— Конечно да... Но они машутъ на меня руками... „Кому—говорятъ—охота зарабатывать, когда подъ рукой милліоны?“ Маркъ, милый... Будьте, какъ я! Не надо страдать... Презирайте чужія мнѣнія...

— Я страдаю за нее... Она должна стать *чѣмъ-нибудь*... И заставить ихъ всѣхъ глядѣть на себя снизу вверхъ...

— Я ухожу. Мнѣ пора...

— Когда вы ѣдете къ ней? Гдѣ она сейчасъ?—спрашиваетъ Соня, надѣвая шляпу передъ зеркаломъ камина.

— Я телеграфировалъ имъ, чтобы они ѣхали въ Вѣну и ждали меня въ Шенбруннѣ. Теперь планы измѣнились. Я отвезу ихъ въ Парижъ, когда жена моя поправится.

— Зачѣмъ въ Парижъ?

— Маня будетъ учиться у знаменитой Изы Хименесъ. Вы слышали о ней? Нѣтъ?.. Это мимическая артистка. Нѣсколько лѣтъ

назадъ она съ труппой объѣхала Европу. Была и въ Петербургѣ. Она дала рядъ представленій... Это было что-то потрясающее по трагизму и оригинальности... Это были драмы безъ словъ... Теперь она больна и покинула сцену. Но Маню она возьмется учить.

— Маркъ... Вы хотите, чтобы Маня пошла на сцену?

— Конечно! Искусство распрямитъ ея душу, залѣчитъ ея раны, сдѣлаетъ ея жизнь богатой, развернетъ передъ нею возможности. Она будетъ счастлива... Помните, мы сидѣли съ вами здѣсь?

— Это было почти годъ назадъ. О, конечно, я помню...

— Помните вы книгу Яна? Въ которой онъ зоветъ васъ, женщинъ, на высокую башню. И обѣщаетъ вамъ ключи счастія тамъ, наверху?

— Да, Маркъ... Да... Я не успѣла еще прочесть эту книгу... Но я ее прочту...

— Маня найдетъ этотъ путь, отдавшись искусству. И взойдетъ на высоту.

— О, Маркъ! Какъ это хорошо! Вы помните, какъ она плясала? Впрочемъ, что я говорю? Вы не видѣли...

— Я видѣлъ,—глухо говоритъ онъ.

Она смотритъ на него съ удивленіемъ. Его глаза закрыты. Скорбно сжаты брови. Она чувствуетъ, что онъ страдаетъ. И не смѣетъ заговорить.

Вдругъ съ хрустомъ разсыпается пылающее бревно въ каминѣ. Искры трещатъ и сверкаютъ. Онъ открываетъ глаза.

— Прощайте, Маркъ...

— Прощайте, Соня...

X.

Онѣ съ недѣлю въ Вѣнѣ. Фрау Кеслеръ наняла въ предмѣстьѣ, около Шенбрунна, двѣ комнаты и написала Штейнбаху въ Москву

Осень и здѣсь прекрасна въ этомъ году. Маня бродитъ съ книгой въ мрачномъ паркѣ Шенбрунна. Но она не читаетъ. Фрау Кеслеръ, уложивъ Нину въ колясочку, сидитъ на скамьѣ, въ тѣни каштановъ, и вяжетъ крохотные башмачки. Но Маня уходитъ дальше... Гладкой стѣной подымаются по бокамъ стриженыя акаціи. На тщательно выметенныя дорожки тихонько падаютъ сухіе листья. Вдали, за лужайкой, горитъ золото тополей.

Въ паркѣ нѣтъ ни души. Но для Мани онъ полонъ шопота, трепетанія, вздоховъ... Забывшись, она ищетъ на гравіи слѣдовъ маленькихъ ножекъ на высокихъ каблукахъ. Здѣсь ребенкомъ веселилась Марія-Антуанетта. Здѣсь грезила молодая принцесса. Она ждала отъ жизни такъ много радостей...

Маня давно познакомилась съ дворцовымъ смотрителемъ. Въ

часы, когда нѣтъ публики, она бродитъ по дворцу, гдѣ страдалъ и умеръ *Орленокъ*, несчастный сынъ Наполеона I, живой кошмаръ своихъ современниковъ. Усатый нѣмецъ любезно показываетъМанѣ картины, мебель, бронзу, фарфоръ. Она глядитъ и не слышитъ... Рядомъ звучатъ быстрые шаги маленькихъ ногъ... Сейчасъ она вбѣжитъ сюда, очаровательная пятнадцатилѣтняя принцесса съ гордымъ профилемъ и высокимъ лбомъ, на которомъ Судьба начертала роковой знакъ... А тамъ, за дверью, проплыла величавая тѣнь Маріи-Терезіи. Она была хорошей хозяйкой. Такой строгой, экономной... Она учила взбалмошную принцессу всѣмъ правиламъ жены-мѣщанки... Ахъ, ничто не пошло впрокъ женщинѣ, отмѣченной Судьбой!

Скрипитъ гравій подъ чьими-то тяжелыми шагами... Люди... Какая досада! Куда спастись отъ людей?

Вдругъ она встаетъ, и книга ея падаетъ на землю.

— Маркъ! Ты!!

Она бѣжитъ, повинуясь порыву нѣжности, не разсуждая, не взвѣшивая свои шаги, свои поступки. Бездумно, какъ цвѣтокъ... Какъ тамъ, въ горахъ, отдаваясь движеніямъ своей души... Она падаетъ на грудь Штейнбаха и подставляетъ ему лицо для поцѣлуевъ... Ахъ, ей такъ давно недоставало ласки!.. Она слышитъ, какъ стучитъ его сердце.

Онъ потрясенъ. Этотъ порывъ мгновенно лишаетъ его самообладанія. Онъ цѣлуетъ все ея лицо, и руки его дрожатъ. Нѣсколько разъ онъ пытается заговорить и... не можетъ.

— Ты... ждала... меня?

— Не знаю... Я объ тебѣ не думала... Но когда я тебя увидала... Сядемъ здѣсь! Поцѣлуй меня еще разъ, Маркъ... Такъ хорошо чувствовать твою нѣжность!

Какія слова!..

Но почему же блѣднѣетъ его радость?.. Нѣтъ вѣры въ себя... Если-бъ полгода назадъ... Но что же случилось?

— Маня... я безумно тосковалъ по тебѣ... Ни одного письма за цѣлый мѣсяцъ! Тебѣ не стыдно?

— Развѣ мѣсяцъ?

„Она и не замѣтила..."

— Прости, Маркъ... Я не люблю писать...

Она не видитъ его усмѣшки. Развѣ ея письма къ Сонѣ не лежатъ на его груди?

— Вѣдь я ужасно лѣнива! И всякое принужденіе заставляетъ меня страдать... Вѣдь тебѣ не будетъ цѣнно такое вниманіе?

„Лучше молчи!..“ думаетъ онъ, вздыхая. И опять тихонько привлекаетъ ее къ себѣ.

— Ты не спрашиваешь про Нину, Маркъ?

— Я все знаю о ней...

— Ахъ, да, конечно!.. А какъ ты меня разыскалъ здѣсь?

Онъ смѣется и молча цѣлуетъ ея глаза.

— Давно пріѣхалъ?.. Откуда? Гдѣ остановился?

Какъ раньше каскадъ вопросовъ...

— Нынче изъ Москвы... А остановился на этотъ разъ у жены.

— Она теперь совсѣмъ поправилась?.. Послѣ операціи?

— Она скоро умретъ.

Маня выпрямляется. Отстраняется невольно. Смотритъ большими глазами въ небо. Потомъ тихонько гладитъ руку Штейнбаха.

— Бѣдный Маркъ!.. Мнѣ жаль и ее... Какъ страшно умирать!.. Я этого не чувствовала въ горахъ... Я тамъ не боялась смерти...

Онъ сидитъ согнувшись, словно изъ него вынули кости. Она глядитъ на него пристально, съ удивленіемъ, какъ будто просыпаясь съ каждой минутой. Странно!.. Виски у него сѣдые. Онъ, должно-быть, много страдалъ. И какъ она не замѣчала раньше этихъ сѣдыхъ висковъ?

Они жили полгода рядомъ, только изрѣдка разставаясь, и говорили на *ты*. Они спали подъ одной кровлей. Какъ братъ съ сестрой. Все пережили вмѣстѣ... Во всей долгой и тяжкой эволюціи ея души она видѣла его съ собой рядомъ,—молчаливаго, стушевавшагося, близкаго и далекаго, въ одно и то же время.

Она много выстрадала изъ-за него. Да!.. Но настала минута освобожденія... Она ее помнитъ. Развѣ ее можно забыть?.. Она и его разлюбила, какъ того... другого... Она перестала страдать.

А потомъ они разстались. Таинственное существо, которое она носила въ себѣ, на время взяло не только всѣ силы ея организма, но и душу ея... Какъ спящая принцесса въ сказкѣ, и она была заколдована. И жизнь шла мимо, не волнуя и не задѣвая ее въ ея священномъ снѣ... И даже когда родилась Нина, и Маркъ вернулся, чтобъ любить ихъ обѣихъ,—она жила безъ желаній и грезъ, страстно отдаваясь своей новой любви, жертвуя ей съ радостью всѣми возможностями. Въ счастіи материнства утонуло все, что казалось ей цѣннымъ когда-то... Его жизни рядомъ она не замѣчала. Возможно, что она не разъ топтала его душу... Что пережилъ онъ?.. И что осталось отъ прежняго?

Она украдкой глядитъ на него. Этотъ профиль, брови, этотъ скорбный ротъ... Какъ она безумно любила все это недавно!.. Одно его прикосновеніе заставляло ее трепетать отъ жажды счастія...

Вотъ онъ сидитъ рядомъ. Все такой же красивый.

Но отчего въ душѣ ея нѣтъ былого экстаза? Нѣтъ трепета отъ его прикосновенія?.. Отчего она не чувствуетъ себя, какъ прежде, безвольной, безсильной, маленькой, рядомъ съ нимъ?

Куда ушло очарованіе?.. Грустно...

Точно читая въ ея душѣ, онъ вдругъ поднимаетъ голову и начинаетъ глядѣть. Сперва на ея ноги, потомъ на пышную грудь. Онъ тоже видѣлъ одну душу ея за это время. Онъ не замѣчалъ женщины въ страдающемъ существѣ. Нина была заклятіемъ, заколдованнымъ кругомъ, сковавшимъ его волю и желанія. Онъ не могъ шагнуть черезъ этотъ кругъ.

Потомъ онъ смотритъ въ ея лицо. Она расцвѣла и окрѣпла. Такъ молодое деревцо, помятое снѣжной бурей, оправляется весною. Она красива. Она стала совсѣмъ другой. Въ ней законченность и строгость линій. У нея другой ротъ. Другой взглядъ.

На мгновеніе встрѣчаются ихъ глаза. И онъ блѣднѣетъ отъ желанія.

Но она далека. Онъ ей чуждъ. Это ясно... Возможно ли вернуть прошлое? Повторяется ли жизнь?

XI.

— Маня, почему ты меня ни о чемъ не спрашиваешь?

Она точно просыпается.

— Ты видѣлъ Петю, Аню? Они здоровы?

Онъ ждетъ другихъ вопросовъ. О Сонѣ. Но она молчитъ.

— Я заѣхалъ къ Петру Сергѣевичу въ больницу. Всѣ здоровы и рады за тебя. Они знаютъ всѣ подробности отъ фрау Кеслеръ... Но братъ твой настойчиво спрашиваетъ, что хочешь ты сдѣлать изъ своей жизни?

— Ну... И что же ты отвѣтилъ?—Ея голосъ потускнѣлъ.

— На это ты сама должна дать отвѣтъ, Маня. Твой братъ правъ... Отдыхъ и созерцаніе воскресили тебя. Надо жить. Надо открыть двери на улицу... Бездѣйствіе опасно.

— Маркъ...

— Знаю твое отвращеніе. Но эту улицу надо пройти съ гордо поднятой головой. И найти свою дорогу... Жить безъ міросозерцанія нельзя, Маня! Книга Яна была передъ тобою всѣ эти два мѣсяца. Ты прочла ее?

— Я знаю ее наизусть. Я уходила съ нею въ горы. И мнѣ казалось, что я слышу его голосъ.

— И что же? Нашла ты свой путь?

Она медленно качаетъ головой.

— Хочешь, поищемъ его вмѣстѣ?

Она молчитъ. Рѣсницы ея не моргаютъ. Странно стиснуты губы.

Онъ не зналъ у нея этого выраженія. Ему больно... Неужели она такъ далеко ушла отъ него за этотъ годъ, что даже не нуждается въ его дружбѣ?

— Есть у тебя честолюбіе, Маня?

Она думаетъ. И искренно отвѣчаетъ:—Нѣтъ.

— Ты никогда не мечтала о славѣ?

Сцѣпивъ пальцы и обхвативъ ими колѣни, она сидитъ, слегка склонившись. Глаза глядятъ въ осеннее блѣдное небо.

— Никогда. Я всегда хотѣла только счастія...

„Только!" думаетъ онъ съ усмѣшкой. „Я его искалъ всю жизнь. И ищу до сихъ поръ."

— А какъ ты понимаешь его... теперь?

Она говоритъ медленно, вдумчиво, какъ бы отыскивая эти слова на днѣ своего сердца:

— Быть свободной... Въ этомъ все!.. И внѣшне и внутренне свободной... Быть любимой, но никого не любить...

Штейнбахъ дѣлаетъ движеніе, но сдерживается.—А Нина?

— Нина — это часть моей собственной жизни... Я говорю о любви... Нѣтъ!.. О желаніи...

— Что такое?!

— Мнѣ теперь многое становится понятнымъ, Маркъ... Слова Яна казались мнѣ загадкой раньше. Но потомъ изъ чащи лѣса его книга вывела меня на просторъ... И любовь меня ужъ не страшитъ... Я хотѣла бы устроить себѣ жизнь странную, но красивую... Хочешь разскажу?

— Да... да... Пожалуйста...

— Я представляю себѣ домъ съ пустыми комнатами, безъ вещей, буфетовъ, мягкой мебели... безъ сервизовъ и ковровъ. Но чтобы мраморныя статуи стояли посрединѣ. А кругомъ цвѣты.. А я буду созерцать ихъ часами, лежа на полу, у огня...

— На тигровой шкурѣ, конечно. Значитъ и каминъ будетъ?.. Квартира не изъ дешевыхъ!

Лѣвая бровь ея подымается.

— Вотъ видишь... У тебя уже кривятся губы. Тебѣ смѣшно? Ну, зачѣмъ я тебѣ это говорю? Развѣ ты поймешь?

— Нѣтъ, нѣтъ... Маничка... Не прячь отъ меня своей души!

Она удивлена отчаяніемъ, съ какимъ онъ прижалъ ее къ груди.

— Въ этомъ домѣ будутъ люди, Маня?

— Хорошо бы безъ нихъ, Маркъ!.. Но и среди нихъ я все-таки останусь одинокой... Я буду уходить и возвращаться внезапно. Бродить ночью, спать днемъ. Вѣдь я ночью совсѣмъ другая... Люблю звѣзды, безумно люблю лунныя ночи, тишину спящаго города, безмолвіе поля... Люблю темныя окна, закрытыя,

какъ глаза... Всѣ спятъ. А сны бродятъ между людьми. И задѣваютъ меня своими крыльями... А я стою тихонечко... и улыбаюсь... Ахъ, Маркъ! Въ такія ночи весь міръ принадлежитъ мнѣ одной!

— Счастливица!..

— А днемъ надо одѣваться, пить кофе, читать противныя газеты, придумывать рисунки... говорить трезвыя слова... Днемъ Нина плачетъ, сердится... И я чувствую себя ничтожной и безсильной... Агата стучитъ ложкой по подносу, чтобъ занять Нину, и я сразу глупѣю отъ этого шума... Пахнетъ пеленками... Надо ихъ мѣнять... Боже мой, какая проза!.. И потомъ, вѣдь, я ничего не умѣю, Маркъ. Ни шить, ни починить, ни сварить кофе... Даже лампы заправить не умѣю... И Агата сердится... „Ты наяву спишь", говоритъ она...

Онъ смѣется и страстно цѣлуетъ ея глаза.

— Скажу тебѣ по секрету, Маркъ... Я и Нину люблю сильнѣе ночью, когда она спитъ... Все тогда въ маленькой комнаткѣ становится жуткимъ и мистическимъ. Я опускаюсь на колѣни передъ ея кроваткой и гляжу на нее... И боюсь громко дышать... Я всего боюсь въ эти минуты... Самыя стѣны оживаютъ ночью и смотрятъ на меня... И думаютъ что-то... И что всего страшнѣе: всѣ эти предметы знаютъ о Нинѣ больше, чѣмъ знаю я... Тогда я убѣгаю изъ дома. Я не хочу этой враждебности, этой скрытой угрозы!.. Я смотрю на звѣзды, и мой ужасъ замираетъ... Я опять мирюсь съ жизнью... Смиренно принимаю все, что она мнѣ несетъ... Развѣ нѣтъ Вѣчности и Безсмертія? Развѣ я не встрѣчу мою Нину... *Тамъ*?

„Она уже познала муки быть матерью", думаетъ онъ.

— Ахъ, Маркъ!.. Я люблю эти одинокія ночныя прогулки... Иногда мнѣ кажется, вотъ сейчасъ, за этимъ угломъ, за этимъ поворотомъ я увижу стройную дѣвушку... Она оглянется на мои шаги... Это Нина... Мы засмѣемся и обнимемся, какъ сестры. И, обнявшись, пойдемъ дальше... Безъ страха, безъ колебаній...

— Куда?

— Все равно!.. Хотя бы и къ Смерти! Лишь бы вмѣстѣ!..

Она обнимаетъ его голову.

— Маркъ!.. Дорогой другъ мой!.. Какъ я счастлива, что наконецъ могу говорить кому-нибудь все, что переполняетъ мою душу! Видишь ли? Агата никогда не пойметъ меня... Она твердитъ: „Будь благоразумна... Не швыряй деньги! Не раздавай ихъ зря... Мы сами нуждаемся"... Я такъ не могу... Я не хочу думать о деньгахъ... Я хочу зарабатывать на самое необходимое. И грезить, грезить! И лелѣять мои грезы, какъ цвѣты... Быть-можетъ, лѣпить... или писать стихи... Для себя одной... А лѣтомъ уѣзжать въ горы... По первому порыву, не жалѣя, я буду отдавать все другому, когда

этотъ другой постучится въ душу мнѣ... Но благодарности не надо! Все это лишнія вериги на душѣ...

— Она должна быть голой и опустошенной, твоя душа?—съ горечью внезапно срывается у него.

— Зачѣмъ?.. Развѣ нѣтъ у меня и сейчасъ иллюзій? Но въ этой душѣ я широко распахну двери и окна настежь, чтобъ солнце заливало ее радостью... чтобъ не пахло въ ней тлѣніемъ... Все забыть! И начать сызнова! Вотъ какъ я понимаю счастіе...

„Забыть даже то, что пережито со мною?“ хочетъ крикнуть онъ.

— Когда я была маленькой, и мать меня била... несправедливо, не вникая, почему я плачу и чего я требую... И потомъ въ гимназіи, когда меня преслѣдовала начальница,—я всегда забивалась куда-нибудь въ темный уголъ и мечтала: если-бъ исчезнуть сейчасъ изъ круга этихъ людей, которые меня презираютъ и гонятъ!.. И попасть на островъ, гдѣ никто меня не знаетъ... И возродиться... Съ новой душой... для новой жизни...

Голосъ ея опьяняетъ Штейнбаха. Въ немъ такъ много новаго! У прежней Мани не было такихъ грудныхъ, полныхъ звуковъ, такихъ интонацій.

— Всегда въ душѣ моей горѣла эта мечта о новомъ, эта жажда исканій... Въ горахъ я ее осуществила, Маркъ... Ахъ, я была такъ счастлива въ горахъ!

— Надо жить, Маня,—грустно говоритъ онъ.

— Знаю... Но я никому не уступлю мои сны! Они мнѣ всего дороже. Они и мои настроенія...

„Гдѣ я слышалъ эти слова?“ вдругъ вспоминаетъ Штейнбахъ.

— Кто среди насъ любитъ ихъ? Кто любитъ себя? Кто цѣнитъ свою душу? Кто знаетъ радость часами созерцать статую, цвѣтокъ?

„Гаральдъ...“ точно говоритъ кто-то въ душѣ Штейнбаха. И, повинуясь предчувствію, онъ крѣпко прижимаетъ къ себѣ Маню... Онъ никому не хочетъ ее уступить!

— Кто изъ васъ знаетъ, что значитъ быть одной въ горахъ и слушать тишину, которой нѣтъ на землѣ?.. Или стоять въ лѣсу безмолвно, какъ дерево... какъ оно, пронизанной солнцемъ... И плакать отъ счастія?.. Я все это знаю, Маркъ. И эти минуты я не промѣняю на славу и на богатство... Я не хочу жить, какъ всѣ! И не буду... Мнѣ нужно такъ мало...

— И такъ много, Маня!.. Ты права... Этого не купишь за милліоны. Вообще, въ мірѣ цѣнно только то, что ничего не стòитъ на рынкѣ... Ты осталась прежней мечтательницей... Но все-таки путь твой?.. Дальнѣйшіе шаги сейчасъ?

— Передо мною два пути... А!.. Ты удивленъ?.. Я это знала... Первый—искусство. И я говорю себѣ: „Здѣсь!.. Преклони колѣ-

ни. Созерцай. Учись. Твори... Радости искусства вѣчны. Творчество сдѣлаетъ легкими неизбѣжныя печали жизни"...

— А другой путь? Странно!.. Я никогда не думалъ, что у тебя могутъ быть колебанія..

— Другой путь, которымъ шелъ Янъ...

— А!..

— Онъ страшитъ меня, Маркъ...

— Зачѣмъ же насиловать себя?—горячо подхватываетъ онъ.— Для тебя я не хотѣлъ бы этой жизни...

— О, конечно, я выберу мой путь свободно... Все, что не исходитъ непосредственно изъ души, кажется мнѣ ничтожнымъ... Но знаешь, Маркъ? Я не могу хладнокровно думать объ этой женщинѣ въ Римѣ... Ты помнишь ее?

— Н-нѣтъ...

— Маркъ... Какъ могъ ты забыть ея глаза?

— Постой... продавщица газетъ, кажется?

— Да... Но она сильнѣе меня. Она богаче... Я такъ часто думаю о ней... и о многомъ другомъ... Это все кусочки жизни. Это все отрывки, которые долетали до меня... Но за ними я чувствую что-то огромное, подавляющее... Быть-можетъ это путь, который ведетъ насъ, женщинъ, на высоту и даетъ намъ послѣднюю свободу?

— Ты молчишь, Маркъ?—спрашиваетъ она черезъ минуту, глядя на его склоненныя плечи.

— Что мнѣ сказать тебѣ? Ты поняла мысль Яна. Всѣ пути ведутъ въ Римъ. Всѣ пути ведутъ къ освобожденію... Выбирай свой...

— Я его найду,—гордо отвѣчаетъ она, встряхнувъ головой знакомымъ жестомъ. И кудри ея падаютъ на ея лобъ.

„Я совсѣмъ ее не знаю", съ страннымъ чувствомъ, похожимъ на страхъ, думаетъ Штейнбахъ.

— Въ твоей схемѣ будущаго, Маня, я вижу одинъ странный пробѣлъ... Въ ней нѣтъ любви...

Она задумывается и вдругъ весело смѣется.

— Ахъ, нѣтъ!.. Это трудно... Видишь, какъ я тебѣ обрадовалась!.. Я хочу, чтобъ меня любили... Но сама... я не могу уже ни страдать, ни плакать, ни безумствовать, ни унижаться!.. Я хочу только радости отъ любви... И эту радость возьму...

„Съ кѣмъ?" хочетъ крикнуть въ немъ его мрачная ревность. Но онъ молчитъ, стиснувъ зубы, опустивъ голову, чтобы она не видѣла его лица... Развѣ и безъ словъ не все понятно!

А она безпечно говоритъ, не чувствуя своей жестокости:

— Теперь мнѣ дико, мнѣ странно, какъ я могла видѣть только одно лицо передъ собою!.. Точно подъ гипнозомъ... Хорошо это

сказано въ книгѣ Яна! Вѣдь цѣлый міръ кругомъ... Развѣ не загадка каждое новое лицо, которое я встрѣчу?.. Я помню одну ночь въ Венеціи...

— Что?..—Онъ быстро поднимаетъ голову.

— Я невыносимо страдала... Но потомъ... настало выздоровленіе... Я такъ ясно почувствовала въ ту ночь, что въ душѣ моей пусто... Никакого рабства... Ахъ! Это было такое опьяненіе, это чувство свободы!.. Этого забыть нельзя.

— Ты можешь мнѣ... объяснить?

Она опять смѣется.

— Нѣтъ, Маркъ... Ты не поймешь меня. Я даже знаю, что̀ ты скажешь: кошмаръ, галлюцинація... Но Тотъ, кто принесъ мнѣ эту свободу души, унесъ съ собой мои печали...

Она смотритъ въ небо. И въ глазахъ ея экстазъ.

Ея слова кажутся ему бредомъ... Одно ясно: ее нечего щадить. Ударъ этотъ она перенесетъ легко...

Они долго молчатъ. Листья срываются потихоньку, кружатс.. передъ ними въ неподвижномъ воздухѣ и ложатся на землю съ странной покорностью. Они задумчиво смотрятъ на нихъ.

— А ты думала о сценѣ, Маня? Хотѣла бы ты быть артисткой?

Ея глаза сіяютъ. Она прижимается къ его плечу головой.

— Моя завѣтная мечта... Но какъ ее исполнить? Мы съ Агатой живемъ очень скромно на мои рисунки. И все-таки... мы... намъ не всегда хватаетъ. Ну, что ты такъ смотришь?.. Знаю... Мнѣ стоило бы сказать слово тебѣ или Петѣ... Но онъ далъ мнѣ и такъ почти все, что имѣлъ, чтобы послать меня за границу... Теперь мамѣ нужно много. Агата говоритъ, что ее опять отдали въ лѣчебницу... Аня писала, что тамъ ей будетъ лучше, чѣмъ дома. Видишь? Я знаю все...

— Слушай, Маня...

Онъ говоритъ ей о скоромъ возникновеніи *Студіи*. Онъ предлагаетъ ей ѣхать въ Парижъ—учиться у Изы Хименесъ. Все, что онъ затратитъ на ея ученіе за этотъ годъ, много два,—она вернетъ ему послѣ перваго же дебюта въ Парижѣ. Только тамъ умѣютъ цѣнить новые шаги. Цѣнить дерзанія... Своей творческой фантазіей и темпераментомъ она покоритъ толпу.

— А помнишь ты, что значитъ власть надъ нею? Ты уже испытала это ребенкомъ.

— Маркъ, я никогда не думала о другихъ, когда я плясала. Я только наслаждалась... Я была внѣ жизни...

— Вотъ гдѣ будетъ твой міръ, Маня. Ты будешь жить тамъ неуязвимой, вдали отъ печалей, недосягаемой для клеветы и людской низости. И только, когда имя твое будетъ извѣстно, когда

портреты твои появятся въ газетахъ, когда ты будешь независима и богата, только тогда ты вернешься въ Россію и... пріѣдешь ко мнѣ... гостить въ Липовку... Но не раньше, Маня!.. Что бы ни случилось... Ты не вернешься въ Россію раньше!

Сіяніе меркнетъ въ ея лицѣ. Она уловила что-то въ его тонѣ. Что-то поймала въ его глазахъ. Хочетъ заговорить. Духъ занялся. Онъ выпускаетъ ее руки... Но она сама судорожно цѣпляется за него. И въ этомъ жестѣ вскрывается вдругъ вся ея женственность, вся глубина охватившаго ея отчаянія... Отчаянія, вставшаго со дна сердца, и о которомъ она сама не знала ничего до этой минуты.

— Онъ... умеръ?..

— Нѣтъ, нѣтъ... Что ты?.. Я видѣлъ его въ Москвѣ на-дняхъ, въ театрѣ... Но для тебя, Маня, онъ умеръ... Это правда...

Онъ не хочетъ, не можетъ смотрѣть на нее. Но пальцы ея все больнѣе впиваются въ его руки. Когда онъ смолкаетъ, она дѣлаетъ судорожный жестъ, какъ будто хочетъ сказать: „Говори!..“

— Онъ былъ не одинъ въ театрѣ... Съ женою... Онъ женился на Катѣ Лизогубъ.

Ея руки мгновенно слабѣютъ и падаютъ на колѣни.

Онъ мелькомъ смотритъ въ ея лицо... Никогда не забыть ему этихъ исковерканныхъ болью, неузнаваемыхъ бровей ея и взгляда... Онъ роняетъ трость и обнимаетъ Маню.

— Дитя мое...

— Молчи... молчи... Подожди...

Голосъ сталъ хриплый... Совсѣмъ чужой.

Онъ слушаетъ ея прерывистое дыханіе. Она не плачетъ. Но лучше-бъ она плакала!

Она подноситъ руки къ горлу: — Давно?.. — срывается, наконецъ. Она говоритъ неясно, стиснувъ зубы.

— Недѣли двѣ назадъ.

— Соня ничего... не говорила... ему?

— Ничего... Она его не видѣла... почти годъ. Если это можетъ дать тебѣ удовлетвореніе, Маня, то я скажу тебѣ: онъ постарѣлъ и смотритъ больнымъ. Онъ замѣтно страдалъ. Онъ женился, чтобъ забыть тебя, чтобы прожить какъ-нибудь... создать себѣ семью...

— Развѣ одна... можетъ замѣнить другую?

— Никогда! Но онъ борется. И онъ правъ. Нельзя гибнуть изъ-за любви. Жизнь сильнѣе грезъ.

— Только онѣ спасаютъ!!

Какой крикъ отчаянія!.. Въ этомъ голосѣ дрожитъ рыданіе...

Но гдѣ же слова, которыми онъ надѣялся исцѣлить ее?.. Которыя онъ обѣщалъ Сонѣ? Какъ блѣдно звучатъ они сейчасъ!

Они похожи на нищихъ, которые на паперти храма ждутъ, чтобъ упалъ на нихъ взоръ прохожихъ...

Послѣ долгой паузы она сухо говоритъ, отстраняясь:

— Теперь оставь меня, Маркъ...

Лицо ея словно постарѣло. Глаза неподвижны.

Онъ тихонько цѣлуетъ ея руку и безшумно уходитъ почти на цыпочкахъ. Какъ уходятъ съ кладбища.

Развѣ не хоронитъ она въ эту минуту свои послѣднія иллюзіи?

„Пусть!“ думаетъ онъ. „Она идетъ на высоту. Ей будетъ легче итти теперь...“

XII.

Фрау Кеслеръ встрѣчаетъ Штейнбаха первая.

— Куда вы пропали, Маркъ Александровичъ? Вы недѣлю не были у насъ...

— Вы не читаете газетъ, фрау Кеслеръ!

— Что такое?

— Я схоронилъ жену.

Она только сейчасъ замѣчаетъ крепъ на его рукавѣ. Она растерялась.

— Я не телеграфировалъ. Зачѣмъ?.. Быть вѣстникомъ смерти— роль не изъ лестныхъ... Что Маня?

Онъ садится. У него осунувшееся лицо. Онъ сильно измѣнился.

— Я сейчасъ позову ее... Ахъ, Маркъ Александровичъ! Горе мнѣ съ нею! Я никогда не думала, что она будетъ такъ малодушна... У Ниночки рѣжутся зубы... Ну, понятно, жаръ, болитъ животикъ... Вещь обычная... Дѣвочка плачетъ. И эта безумная плачетъ...

— Маня?

— Ну, конечно. Да вы посмотрѣли бы, какъ она плачетъ. Точно Нина умираетъ... Стоитъ на колѣняхъ передъ ея кроваткой и рыдаетъ. Та кричитъ отъ боли... А эта кричитъ: „Я отравлюсь, если она умретъ!.. Ничего въ жизни у меня не осталось...“

Не замѣчая горести въ его лицѣ, она продолжаетъ:

— Ночью переполошили всѣхъ... Доктора, аптекаря... А главное—и слушать никого не хочетъ... Всѣ ошибаются, а не она... Постойте... Я посмотрю... Можетъ-быть, она заснула?.. Двое сутокъ она не спала...

— И не позвала меня? Не вспомнила?

— Она спитъ,—шепчетъ фрау Кеслеръ, возвращаясь на цыпочкахъ. — Да, конечно, я не буду ее будить. Вѣдь вы зайдете вечеромъ?.. До свиданія...

„И это хорошо... пока...“ думаетъ Штейнбахъ. „Эта новая боль отвлекла ее. Ослабила ударъ... Это жизнь... Могучая жизнь“.

XIII.

Поѣздъ мчитъ ихъ въ Парижъ.

Маня прислонилась вискомъ къ спинкѣ дивана и дремлетъ. Она очень устала за эти дни.

Пока фрау Кеслеръ укладывалась, Маня и Штейнбахъ ѣздили по редакціямъ юмористическихъ журналовъ. Въ нѣкоторыхъ у Штейнбаха были знакомства раньше. Въ другихъ ихъ приняли любезно, благодаря карточкѣ фрау Кеслеръ, которая сохранила связи съ художниками, товарищами ея покойнаго мужа. Въ третьи Штейнбахъ принесъ рекомендаціи отъ лично знакомыхъ ему издателей. Какой калейдоскопъ лицъ прошелъ передъ ними!.. Подъ обаяніемъ внѣшней культурности сколько холода и безразличія! Сколько скрытой тревоги въ глазахъ сотрудниковъ, у которыхъ Маня грозила отбить хлѣбъ!.. Все это утомило ее. Борьба за жизнь показалась унизительной и отталкивающей... Если-бъ не Нина...

Штейнбахъ показывалъ редакторамъ рисунки Мани, ея мелкія и крупныя каррикатуры. Ее поздравляли съ успѣхомъ, искренно восторгались ея талантомъ. Но... все занято, все распредѣлено... Конечно, если она возьметъ дешевле...

Она безъ колебаній соглашалась.

Уѣзжая изъ Вѣны теперь, она знаетъ цифру заработка, на который ей придется жить эти два года: четыре раскрашенныхъ большихъ рисунка на политическія темы, и отъ шести до восьми мелкихъ каррикатуръ въ мѣсяцъ. На это можно прожить, если Петя хотя полгода будетъ высылать ей тридцать рублей каждое первое число. Мясо и дрова въ Парижѣ очень дороги. Но вѣдь живутъ же на тридцать рублей сотни русскихъ курсистокъ и пробиваютъ себѣ дорогу въ жизни! Агата тоже поищетъ уроковъ. Какъ-нибудь устроятся... Лишь бы забыться въ трудѣ! Лишь бы найти себя въ искусствѣ...

Она думала все это, пока Штейнбахъ наблюдалъ за нею...

Оно стало спокойно, это лицо. Какъ-то непривычно спокойно. Темные глаза глядятъ жестко. Не смягчаются даже, когда останавливаются на личикѣ Нины. Не искрятся теперь эти глаза. Не зовутъ. Не спрашиваютъ. Не грезятъ... Нѣтъ въ нихъ ни прежней жадности къ жизни, ни прежней мечты. Они затаили въ себѣ... Что?...

И эта новая складка у губъ...

ЧАСТЬ IV.

Ужъ не разъ предъ нами ставили
Мертвый образъ красоты.
Мы же первые прославили
Бога жажды и Мечты...

В. Брюсовъ.

I.

— Gare de Lyôn!

Электрическій свѣтъ. Шумъ. Суета... Носильщики въ синихъ блузахъ. Красивый, мелодичный, быстрый говоръ съ характернымъ грассированіемъ. Это Парижъ...

Они взяли два фіакра. Другой для вещей. Съ неба сѣетъ дождь. Фонари окружены кольцомъ тумана. Громадныя площади, узкія, мрачныя улицы, дыханіе огромнаго города, зарево на небѣ...

Они ѣдутъ въ глубокомъ молчаніи, не замѣчая его.

— Парижъ...—говоритъ, наконецъ, фрау Кеслеръ.—Точно во снѣ... Что это такое мелькнуло? Обелискъ?

— Это іюльская колонна,—отвѣчаетъ Штейнбахъ.—Тамъ была когда-то Бастилія. Революція началась здѣсь.

Маня быстро спускаетъ окно. Высовывается и глядитъ на колонну, скрывающуюся въ туманѣ. Ребенокъ кашляетъ.

— Маня, закрой окно!.. Мы не поѣдемъ далеко, Маркъ Александровичъ. Я боюсь за Ниночку...

— И у насъ нѣтъ денегъ,—холодно бросаетъ Маня, предвидя возраженія.—Вонъ я вижу вывѣску: „Hôtel“... Остановимся здѣсь...

— Навѣрно дешево,—говоритъ фрау Кеслеръ.

Штейнбахъ молчитъ, чувствуя свое безсиліе.

Безконечная лѣстница. Пыль, грязь. Лифта нѣтъ.

— Въ шестомъ этажѣ есть двѣ комнаты,—говоритъ hôtelier,—одна для madame и monsieur, другая...

— Намъ нужно три,—перебиваетъ Штейнбахъ.

— Какъ жаль! Здѣсь жили русскіе, они уѣхали только вчера. Третья комната освободится черезъ два дня. Если monsieur и madame согласятся потѣсниться на двѣ ночи...

Онъ совершенно сбитъ съ толку, этотъ почтенный hôtelier. Мужъ, жена, ребенокъ, теща—все налицо. Почему бы имъ, въ самомъ дѣлѣ, не потѣсниться?

Они поднимаются. Хозяинъ свѣтитъ имъ по узкой лѣстницѣ.

— Какое отвращеніе!—говоритъ Штейнбахъ.

Комната въ одно окно выходитъ на длинную, безконечную, сѣрую и печальную улицу. Тутъ Парижъ похожъ на Руанъ, Ліонъ, даже на Москву. Трамвай гремитъ внизу, отвозя къ центру полные вагоны жителей съ окраинъ. Ни кафе, ни богатыхъ магазиновъ, ни уличной жизни... Ничего, что характерно для Парижа.

— А сколько стоитъ?—дѣловито спрашиваетъ фрау Кеслеръ.— Мы проживемъ здѣсь дней пять, не больше.

— Два франка въ день съ персоны.

— Безобразно дорого для такой трущобы!..

— Все равно! Куда мы пойдемъ искать ночью? Уѣзжайте сами дальше! Мы остаемся здѣсь... Завтра вы пріѣдете за нами.

— Но развѣ можно заснуть въ такой дырѣ?

Половину маленькой комнаты занимаетъ кровать, выступающая изъ безобразнаго алькова, съ ситцевыми темно-зелеными занавѣсками, но все-таки слишкомъ роскошная для такой каморки. Съ пружиннымъ матрацомъ, широкая, мягкая, съ большими подушками,—она кажется какимъ-то циничнымъ символомъ. Она какъ бы подчеркиваетъ всю чувственность французовъ.

— Ganz unanständig? (Совсѣмъ неприлично?) — смѣется фрау Кеслеръ. Въ лицѣ Мани отвращеніе. „Тѣмъ лучше! Тѣмъ лучше..."

Ни письменнаго стола, ни туалета, ни уютнаго кресла или уголка, манящаго почитать при лампѣ или помечтать у камина... И каминъ холодный и угрюмый... Убогій умывальникъ, небольшой рыночный комодъ, вотъ и все. „Жизнь на улицѣ,—какъ бы говоритъ громадная кровать.—Тамъ мысль, борьба, планы, работа, достиженіе, осуществленіе... Тамъ встрѣчи, обѣды, свиданія, договоры... Здѣсь же мое царство! Здѣсь только спятъ и наслаждаются."

„Нынче съ одной. Завтра съ другой", думаетъ Маня. „Не все ли равно, въ сущности? И чѣмъ любовь отличается отъ не-любви?.. Тѣ же слова, тѣ же жесты... Тѣмъ лучше!.. Жить безъ иллюзій... Съ голой душой. Силенъ только тотъ, кто глядитъ въ лицо жизни..."

— Но здѣсь холодно, какъ на улицѣ! Затопите сейчасъ же каминъ!—говоритъ Штейнбахъ.

Хозяинъ звонитъ. Входитъ горничная. Нарядная, вертлявая, въ кокетливомъ фартучкѣ, завитая. Простая крестьянка два года назадъ, она теперь парижанка съ головы до ногъ. Она умѣетъ зорко съ перваго взгляда оцѣнивать жильца; холодно отвергать заигрыванія неуклюжихъ и бережливыхъ провинціаловъ; заман-

чиво улыбаться тѣмъ, кто щедръ; съ презрѣніемъ подавать русской студенткѣ ея старую чищенную юбку; съ видомъ принцессы убирать постель за робѣющей передъ нею провинціалкой... У нея готовая улыбка, цѣлый запасъ интонацій и жестовъ, поверхностная любезность, твердое намѣреніе выбиться на дорогу, презрѣніе къ „честной женщинѣ". Она ждетъ только случая. Она знаетъ, что̀ такое Парижъ для миловидныхъ женщинъ.

— Теплой воды, пожалуйста, и побольше,—дружелюбно говоритъ ей фрау Кеслеръ.—Я буду купать ребенка. Какъ васъ зовутъ?

— Berthe, madame,—надменно говоритъ она.

Она красиво грассируетъ. Она поджимаетъ губы съ еле уловимой гримаской презрѣнія къ этимъ бѣднымъ, конченнымъ людямъ, которые пріѣхали въ Парижъ, чтобъ купать bébé...

— Вы сейчасъ дадите воды?

— Tout de suite, madame...

Маня снимаетъ шляпу и видитъ дверь на крошечный балконъ. Она быстро отпираетъ ее. Штейнбахъ выходитъ за нею.

Они одни. Точно висятъ въ воздухѣ. Подъ ними, далеко внизу, грохочетъ трамвай. Надъ ними съ угрюмаго неба сѣетъ дождь. Изъ тумана вдали встаютъ какія-то грандіозныя очертанія. Вонъ влѣво высится что-то... Быть-можетъ, тотъ самый обелискъ? Небо багровое вдали отъ электричества. Это Парижъ...

— Какъ хорошо! — говоритъ она. И протягиваетъ ему руку.

— Поѣдемъ куда-нибудь сейчасъ, Маня...

— Нѣтъ, я устала. И мнѣ надо остаться одной.

— Опять?.. Ты будешь думать... И все о томъ же?

— Нѣтъ!

И только... Но онъ вѣритъ звуку этого голоса. Этой новой интонаціи. Въ ней не только горечь утраченнаго. Въ ней сила торжествующаго самосознанія.

Въ темнотѣ онъ не видитъ ея лица. Но онъ изучилъ его. Изучилъ хорошо. Онъ вспоминаетъ линію ея рта, новую черту въ уголкѣ ея устъ, которую онъ замѣтилъ только вчера, когда они сѣли въ поѣздъ.

Что можетъ быть краснорѣчивѣе этихъ линій? Мы встрѣчаемся съ людьми и говоримъ: „Они состарились". А между тѣмъ—овалъ, румянецъ, волосы, смѣхъ, голосъ—все осталось неизмѣннымъ. Въ чемъ же загадка? Мы смотримъ въ глаза. Мы видимъ уста. Только они выдаютъ тайну пережитаго. И кто умѣетъ читать въ лицахъ, тому одна горькая черточка, одинъ опустившійся уголокъ цвѣтущихъ, еще недавно улыбавшихся устъ скажутъ больше, чѣмъ самая страстная исповѣдь. И Штейнбахъ вспоминаетъ, что̀ сказалъ отецъ его, этотъ скептикъ, презиравшій людей:

„Если ты хочешь узнать человѣка, то не слушай его словъ а гляди на его ротъ“.

— Покойной ночи, Маня,—говоритъ онъ, цѣлуя ея руку.

— Покойной ночи, Маркъ.

Стоя на балконѣ, она смотритъ внизъ. Вонъ онъ сѣлъ въ фіакръ и поѣхалъ. Далеко. Въ центръ города. Туда, гдѣ живутъ богатые и знатные. А она осталась здѣсь. Здѣсь ея мѣсто.

Позади пылаетъ каминъ, освѣщая угрюмыя комнаты. Нина проснулась и плачетъ. Мелькаетъ тѣнь хлопотуньи-Агаты.

Черезъ часъ она ляжетъ въ эту безобразную постель, куда приходили спать и обниматься чужіе люди. Обниматься безъ любви, безъ иллюзій, съ голой жаждой наслажденія... Разсвѣтъ заставалъ ихъ рядомъ, этихъ двухъ людей, сошедшихся случайно. Они вставали, одѣвались и расходились навсегда. Она къ своему ремеслу, онъ къ своему дѣлу...

Она когда-то жалѣла ихъ, искавшихъ счастія въ такихъ бѣглыхъ встрѣчахъ, въ такихъ мимолетныхъ ласкахъ... въ этомъ суррогатѣ любви... А Соня презирала ихъ за умѣніе мириться на маломъ... Но кто былъ *онъ*? Можетъ-быть, это былъ поэтъ?.. Или художникъ? Или ученый? Все равно! Онъ носилъ въ себѣ цѣлый міръ... сокровище новой идеи, новаго открытія, новыхъ образовъ... Быть-можетъ, онъ плакалъ здѣсь, на груди случайно встрѣченной имъ женщины? Плакалъ слезами истиннаго экстаза? Слезами, которыя не повторяются?.. Не все ли равно? Развѣ не несъ онъ въ своей груди могучую тайну превращать проститутку въ богиню? Уродство въ красоту? Развѣ талантъ его не былъ волшебной палочкой, преображающей все, чего она коснулась? Развѣ въ его фантазіи онъ не владѣлъ истиннымъ счастіемъ? Не обнималъ любимую женщину? Не царилъ надъ міромъ? Не дарилъ его сокровищами?

Все въ насъ! Въ насъ однихъ... Найти въ себѣ волшебные ключи живой воды, ключи творчества! Свергнуть иго любви съ ея унижающими душу страданіями... Уйти изъ жизни въ царство вымысла... Отвергнуть то, что несутъ ей люди: ласку, поклоненіе, даже дружбу. Выбрать одиночество. Убѣжище сильныхъ... Замкнуться, какъ въ броню, въ свою горячую вѣру. Не измѣнять своимъ снамъ...

Она глядитъ передъ собою въ холодный плачущій туманъ.

Съ голой душой, опустошенной разочарованіемъ, пришла она къ тебѣ, великій городъ, гдѣ подъ мрачными мансардами трепещутъ мечты поэта; гдѣ камни мостовой залиты кровью борцовъ; гдѣ родятся великіе замыслы; гдѣ гибнутъ невѣдомые таланты;

куда стремятся люди, какъ волны рѣки стремятся къ морю. Что ждетъ ее здѣсь? Она растеряла въ дорогѣ всѣ цвѣты изъ своего вѣнка... Что дашь ты ей взамѣнъ, великій, страшный городъ? Увѣнчаешь ли славой? Разобьешь ли ее, какъ щепку?

— Маня, я ложусь. Уже поздно,—говоритъ фрау Кеслеръ, стуча въ стекло.

Облокотившись на заржавѣвшія старыя перила, она глядитъ въ небо...

Ни луны ни звѣздъ. Все облачно. Все угрюмо. Но это Парижъ... Городъ, о которомъ она грезила ребенкомъ; гдѣ жили Дантонъ и Робеспьеръ; гдѣ запылалъ первый факелъ великой революціи, отъ которой дрогнулъ и рухнулъ старый міръ; гдѣ съ такого же балкончика, а можетъ и изъ окна мансарды, никому невѣдомый юноша съ мрачнымъ взглядомъ и профилемъ Цезаря глядѣлъ въ такія же угрюмыя осеннія ночи на великій городъ, мечтая покорить его. Глядѣлъ въ небо, ища тамъ свою звѣзду, приведшую его къ трону...

Хриплый звукъ старой мѣди вдругъ доносится издалека. Это бьютъ часы... Ихъ слышало столько поколѣній! „Всѣ исчезли...“

Уныло льются мѣдныя волны въ сыромъ воздухѣ. Дрожатъ и таютъ... Звуки угаснутъ. „Угасну и я...“

О, стать *чѣмъ-нибудь*! Поэтомъ, скульпторомъ, артисткой... Личностью... Бросить міру свой вымыселъ. Подарить людямъ радость... Создать свой міръ...

II.

— Вотъ Лувръ, Маня!

Мрачный четырехугольникъ раскинулся передъ нею. Черезъ улицу, невдалекѣ, колокольня и скверъ.

— Это St.-Germain Auxerrois, откуда былъ данъ сигналъ къ Варѳоломеевской ночи... Вонъ видишь, за угломъ, окно? Карлъ IX стрѣлялъ оттуда въ народъ...

Она оглядывается съ потемнѣвшими глазами, не смѣя вѣрить своему счастію. Солнце заливаетъ шумный городъ. И жизнь здѣсь кажется праздникомъ. Подъ оголенными деревьями звучитъ дѣтскій смѣхъ. Пестрая толпа, нарядная, суетливая, жизнерадостная, затопляетъ всю площадь и скверъ. Вдали поютъ гудки автомобилей и звенитъ трамвай. Омнибусы ѣдутъ, нагруженные пассажирами. Всѣ спѣшатъ. Всѣ ликуютъ. Эта радость захватываетъ. Ярко ноябрьское небо. Тепло.

Онъ прижимаетъ къ себѣ ея трепещущую руку.

— Маркъ, пойдемъ скорѣе! Агата дала мнѣ одинъ только часъ.

Они входятъ во дворецъ Валуа.

Въ этихъ длинныхъ, узкихъ залахъ, съ небольшими окнами, съ змѣиной улыбкой своихъ длинныхъ глазъ бродила когда-то Катерина Медичи, обдумывая убійство тѣхъ, кто стоялъ на ея пути. Дверь отворялась безшумно. И навстрѣчу къ ней крался ея довѣренный флорентинецъ Ренэ, искусный отравитель, убивавшій перчатками, духами, цвѣткомъ... Теперь здѣсь толпятся иностранцы и провинціалы, зѣвая передъ сокровищами Рубенса.

Вотъ какая-то интересная женщина въ черномъ сидитъ передъ мольбертомъ. На немъ пейзажъ-копія. Оригиналъ на стѣнѣ предъ нею. Она какъ будто играетъ кистью. Она знаетъ, что на нее смотрятъ, что она красива. Нѣтъ одушевленія въ ея работѣ.

„Ничего не выйдетъ изъ тебя!" враждебно думаетъ Маня. „Къ чему это? Кого удовлетворитъ это рабское подражаніе оригиналу? Гдѣ *твое*? Единственно то, что цѣнно въ искусствѣ? О, если-бъ мнѣ владѣть талантомъ художника или скульптора? Какія сказки подарила бы я міру! Я работала бы, какъ батракъ, быть-можетъ, здѣсь же, чтобы одолѣть технику. Но я презирала бы толпу. Я не искала бы ей нравиться..."

Дальше... дальше...

Передъ ними открывается анфилада залъ. И тамъ, въ концѣ, вдали, на красномъ фонѣ...

— Она?—шепчетъ Маня, задыхаясь отъ сердцебіенія.

Божественный мраморъ сверкаетъ навстрѣчу. Они идутъ, взявшись за руки... Медленно входятъ и останавливаются на порогѣ.

Темно-красная комната, вся въ одномъ тонѣ. По стѣнамъ рядъ красныхъ скамеекъ. И ничего больше... И на этомъ мрачномъ фонѣ стоитъ она,—Венера Милосская,—символъ женскаго могущества. Величественный торсъ безъ рукъ, съ дивнымъ изгибомъ полуобнаженнаго тѣла. Строгій взглядъ каменныхъ глазъ. Цѣломудренныя губы. Въ мраморномъ ликѣ царственная гордость...

Хочется преклонить колѣни, облобызать цоколь, зарыдать слезами восторга.

Тишина, какъ въ храмѣ. Входятъ на цыпочкахъ. Долго смотрятъ недвижно. Робко садятся на скамьи. И отдаются созерцанію.

Кто была эта женщина, голову и торсъ которой увѣковѣчилъ скульпторъ? Кто былъ онъ самъ?.. Нѣтъ отвѣта на эти загадки. Но не все ли равно? Міръ преклонился предъ геніемъ. Дуновеніе его проносится надъ толпой и смыкаетъ ея уста. И въ эти часы созерцанія отрѣшаетъ ее отъ земли.

Крѣпко стиснувъ руки, Маня глядитъ на этотъ лобъ, на эти губы. Сколько власти! Сколько сознанія силы!.. Богиня любви? Не то... Нѣтъ въ ней опьяняющей женственности, какъ въ Венерѣ Капитолійской, ни трогательной стыдливости, какъ въ Венерѣ

Медицейской. Всѣ онѣ женщины. Эта—царица. Чело ея мыслитъ. Глаза приказываютъ. Губы чуть замѣтно горделиво усмѣхаются. Могутъ ли молить эти губы? Могутъ ли плакать такіе глаза?

Если она была способна любить, *эта*, увѣковѣченная въ мраморѣ, то любовь ея была—даромъ. Опять-таки даромъ царицы. На день? На часъ?.. Все равно!.. Кто смѣлъ судить ее? Такую?..

Знала ли она муки ревности? Нѣтъ... Горечь раскаянія? Нѣтъ... Все мелкое, будничное, что отравляетъ душу женщинъ, невѣдомо богинѣ. Она не станетъ мучить, какъ Діана. Шпіонить, какъ Юнона. Она не захочетъ унизиться... Вотъ какой должна быть женщина! „Любовь—сила, созидающая міръ, покоряющая даже боговъ", говоритъ это лицо. „И эта любовь во мнѣ. И эта сила—я!.."

— Маня... ты плачешь?—шепчетъ Штейнбахъ.

— О, молчи!.. Я счастлива...

III.

Дни бѣгутъ, жизнь—сказка. Они уже недѣлю здѣсь. Устроились въ предмѣстьѣ, въ крохотной квартирѣ. Прислуги нѣтъ. Агата готовитъ сама. Но у нихъ есть садикъ, терраса. Есть скамья подъ деревомъ. Можно ночью, накинувъ платокъ на плечи, выходить на террасу и часами глядѣть въ небо. На стѣнѣ, въ комнатѣ Мани, виситъ превосходная гравюра Венеры Милосской.

„Теперь я богачка", смѣется Маня. „У меня вилла, паркъ, балконъ, луна, книги, Нина... И эта богиня передъ глазами... Что нужно еще для счастія?"

А Штейнбахъ думаетъ: „Какъ скромны ея потребности! А вѣдь у нея такіе утонченные вкусы. Такое пониманіе красоты... Но внѣшнее не имѣетъ для нея значенія. Она права. Все въ насъ самихъ. Я нищъ среди своихъ милліоновъ. Она—крезъ въ своей нищетѣ".

Всѣ эти дни они осматривали Парижъ. Обѣдали наскоро, въ какой-нибудь „bouillon" по дорогѣ, на мраморныхъ столикахъ, безъ скатерти, но вкусно и баснословно дешево. И опять бѣжали въ Лувръ или въ Люксембургскій дворецъ. Скульптура сводитъ Маню съ ума.

— Попробуй учиться!—говоритъ Штейнбахъ.

— Не надо ни славы ни заработка. Лишь бы творить и наслаждаться! И видѣть, какъ изъ слѣпой, бездушной глины подъ рукой твоею создаются глаза, улыбка, торсъ... грація, сила...

Потомъ зданія... Есть ли въ мірѣ другой такой городъ, гдѣ сѣрыя стѣны говорили бы такъ много, умѣющему угадывать душу камней?.. Консьержери и мрачныя башни Palais de Justice, музей де Клюни и старый домъ французскихъ королей, съ низкими потолками, съ деревянными лѣстницами; интимныя комнаты коро-

левы Бланшъ съ ея пяльцами, прялкою и молитвенникомъ. Какъ все было узко здѣсь! Какъ сама жизнь!.. Какъ душа женщины... Чудовищная зала Карла Великаго и таинственные колодцы ея, откуда вѣетъ могилой и забвеніемъ, тоже оставили глубокое впечатлѣніе ничтожества всего земного. А мрачное Тюльери съ садомъ, гдѣ бродятъ тѣни Генриха Гиза, Генриха IV и Маргариты Наваррской?.. Все даетъ настроенія глубокія, многозвучныя...

Но лучше всего соборъ *Notre-Dame*, чудовищный и прекрасный, съ застывшими въ камнѣ угрозами, съ зловѣщими химерами, всматривающимися въ Парижъ... Особенно любитъ Маня видъ города съ крыши собора. Она стоитъ тамъ, объятая мистическимъ ужасомъ, вглядываясь въ этотъ окаменѣвшій бредъ, забывая о времени; вмѣстѣ съ химерами созерцая Парижъ; какъ бы прислушиваясь, не заговорятъ ли эти застывшіе кошмары... Вотъ уже вѣка, какъ съ высоты собора глядятъ они—безсмертные—на похоронныя и свадебныя процессіи, на кровавыя схватки, на дефилирующія войска, на геройскія баррикады, на карнавалы и ярмарки... Перегнувшись внизъ и жадно вытянувъ шеи, или же присѣвъ на корточки, онѣ смотрятъ, нѣмыя и загадочныя, на этотъ жалкій людской муравейникъ у ихъ ногъ... Что чувствуютъ? Завидуютъ? Смѣются? Заклинаютъ?

Когда въ первый разъ Маня очутилась на Place de la Concorde, гдѣ съ головой Людовика XVI, подъ грохотъ барабановъ, палъ старый міръ, она дрожала... Вся дрожала, съ головы до ногъ... Передъ ней раскинулась громадная, залитая солнцемъ площадь. Чудовищные канделябры съ электрическими солнцами затопляютъ ее по вечерамъ яркимъ свѣтомъ. Красивая праздничная картина! Всюду бѣгутъ изящныя парижанки, граціознымъ жестомъ приподнимая платье; кухарки спѣшатъ съ корзинами; дѣти мчатся изъ школъ съ фартучками до колѣнъ, мальчики и дѣвочки, безразлично... Торговцы и газетчики выкрикиваютъ что-то среди гула. Фіакры перегоняютъ другъ друга тамъ, за цѣпью... Какъ могутъ всѣ эти люди равнодушно проходить здѣсь, гдѣ стояла гильотина? Какъ могутъ они забывать, что подъ сѣнью этого обелиска палъ старый строй и родились новыя формы жизни?

Глаза Мани невольно ищутъ стѣнъ Консьержери. Тамъ, изъ окна, выглядывало блѣдное лицо Маріи-Антуанетты. Видѣть казнь оттуда она не могла. Но она все-таки глядѣла сюда, на эту площадь. Она угадывала зловѣщій силуэтъ гильотины... Маня всѣхъ ихъ любитъ, какъ это ни странно!.. И легкомысленную Марію-Антуанетту, и загадочнаго Робеспьера, и великаго Марата, и безумную Шарлотту, и Дантона, и Сенъ-Жюста. О! Его больше всѣхъ любитъ она, какъ и Наполеона! Всѣхъ, кто побѣдилъ забвеніе, кто

умѣлъ итти къ цѣли, кто боролся и жертвовалъ собой... Кто бросилъ міру свое имя, какъ искру въ темную ночь... Всѣхъ, въ комъ горѣла любовь къ людямъ, кто поднималъ ножъ мстителя. Кто владѣлъ толпой, кто умиралъ за нее... Всѣхъ, кто ярко чувствовалъ, кто интенсивно жилъ...

А эти сѣрыя, старыя, угрюмыя зданія, пережившія тѣхъ, кто ихъ строилъ, и тѣхъ, кто въ нихъ страдалъ... О, какъ любитъ Маня ихъ морщинистыя лица! Ихъ загадочную дрему! Ихъ застывшіе сны... Больше людей любитъ она эти камни... реликвіи прошлаго...

IV.

Утро. Маня сидитъ на террасѣ, въ блузѣ и пальто. Голова покрыта шелковымъ платочкомъ. На колѣняхъ книга, но она не читаетъ. Нина только что заснула, и Агата побѣжала за провизіей. Агата любитъ эти часы, шумъ рынка, запахъ овощей, утреннюю свѣжесть. Маня наслаждается тишиной и одиночествомъ.

— Автомобиль ѣдетъ, madame,—говоритъ лысая старуха, хозяйка, выходя за ворота садика и вглядываясь въ даль шоссе.

Екнуло сердце въ предчувствіи радости.

Вотъ и Маркъ. Она его ждала. И только сейчасъ поняла это. Сердце дрожитъ въ груди.

— Ѣдемъ кататься? Ты за мною?

— Да, да... Ты готова?

— Я одѣнусь быстро. Подождемъ только Агату! Она скоро вернется. Посиди...

Онъ садится на старыя ступеньки и закуриваетъ.

Почему нынче въ ея глазахъ онъ увидалъ тѣнь прежняго? Почему дрогнули ея пальцы, коснувшись его руки?

„Я безумецъ", думаетъ онъ съ горькой усмѣшкой. „Она теперь вся въ искусствѣ и въ прошломъ. Она грезитъ о Версалѣ. На что ей моя любовь?"

Они мчатся по шоссе, оставляя въ сторонѣ вокзалъ St.-Lazare и желѣзнодорожную линію.

Закрывая глаза отъ наслажденія, Маня подставляетъ лицо вѣтру. Ея сѣрый вуаль бьетъ ее по плечамъ.

Вотъ и Версаль. Площадь. Ратуша. Гостиница. Вокзалъ... Теперь это захудалый провинціальный городокъ, гдѣ живутъ тихо, торгуютъ тихо, вечеромъ играютъ въ залѣ гостиницы на билліардѣ, рано ложатся спать, а утромъ читаютъ газету всю, отъ доски до доски. Здѣсь всѣ ярые политики. Въ Парижъ ѣздятъ рѣдко. И долго потомъ говорятъ объ этой поѣздкѣ.

Они идутъ пѣшкомъ по длинной аллеѣ.

Впереди рѣшетка Версальскаго парка. Темная, чугунная, съ золочеными гербами Бурбоновъ.

— Маркъ... Я вспомнила... Въ Липовкѣ я видѣла рѣшетку, похожую на это... И дядюшка сказалъ: „Это подражаніе Версалю“...

— Когда это было, Маня?

— Я тебя еще не знала. Это было за годъ до встрѣчи съ тобой... Въ то лѣто, когда Янъ... Нѣтъ! Не надо вспоминать...

Сторожъ отворяетъ передъ ними ворота. Они идутъ по стриженной аллеѣ, одной изъ лучевыхъ, ведущихъ къ площадкѣ. Всѣ листья опали. Многіе умираютъ, почернѣвшіе, подъ ногой. Вдали мелькаетъ зданіе. Неужели дворецъ?

Онъ грандіозенъ и строенъ, несмотря на свои размѣры. Талантъ архитектора чувствуется въ каждой линіи. Ряды статуй на огромной лужайкѣ какъ бы привѣтствуютъ его. Вонъ сверкаютъ бассейны съ мраморными группами. Уступами спускается садъ. На каждомъ уступѣ фонтанъ. А дальше звѣздой расходятся лучевыя аллеи...

Здѣсь бродила въ слезахъ влюбленная покинутая Лавалльеръ. У бассейна съ Нептуномъ и Нимфами грезила очаровательная Фонтанжъ. Гордая Монтеспанъ волочила царственный шлейфъ по гравію этой площадки. Иллюминація озаряла рябое лицо великаго короля, маленькаго человѣчка на огромныхъ каблукахъ. А вдова Скаррона, будущая madame Maintenon и властительница Франціи, стоя въ почтительной толпѣ придворныхъ, хищно глядѣла на Людовика XIV и втайнѣ лелѣяла свои дерзкіе планы... Паркъ полонъ призраками. Въ туманѣ, подымающемся вдали, надъ террасами, Маня угадываетъ ихъ печальные контуры.

Черезъ широкій вестибюль, гдѣ сейчасъ торгуютъ портретами и картинами, они подымаются по лѣстницѣ.

Какое счастіе! Они одни... Горло сжимается. Слезы жгутъ глаза... Прошлое, сколько въ тебѣ обаянія!.. Она въ дѣтствѣ грезила объ этомъ дворцѣ... А теперь эхо звучитъ отъ стука ея каблучковъ въ безмолвныхъ, печальныхъ царственныхъ залахъ. Неужели здѣсь, вотъ здѣсь—они жили, дышали, двигались, любили и умирали, эти гордые полубоги, передъ которыми преклонялся міръ?

Блеклые тона шелка... Старая стильная мебель... Не встрѣтишь теперь нигдѣ такой, кромѣ Эрмитажа! Безцѣнные гобелены на стѣнахъ, бронза и эмаль часовъ на каминахъ... Шитыя золотомъ ткани на окнахъ, бюсты королей, бронзовая статуя Сюлли. Темное лицо Корнеля, улыбающіеся портреты въ величественныхъ парикахъ и пудрѣ... Тусклыя зеркала. Они какъ будто дремлютъ. Жутко подойти и посмотрѣть въ нихъ. А вдругъ оттуда выгля-

нетъ напудренная головка, блѣдное лицо съ черной мушкой у рта и алой розой въ волосахъ?

— Спальня Людовика XIV,— торжественно объявляетъ гидъ.

Посреди большой холодной комнаты роскошное, широкое ложе. Шелковый балдахинъ спускается тяжелыми складками. Наверху корона. Здѣсь совершался le grand lever du roi. Здѣсь, держа подъ гипнозомъ дегенеративной фантазіи умы современниковъ, ничтожный человѣчекъ ежедневно совершалъ, въ присутствіи дипломатовъ всѣхъ странъ и знати Франціи, съ цинизмомъ и апломбомъ, характеризующимъ маніаковъ,—самые неприличные повседневные акты. Сидя на деревянномъ стульчикѣ, который обыватели стыдливо прячутъ въ потайныхъ уголкахъ дома, король-солнце принималъ доклады министровъ... Принцы крови считали за честь натянуть ему чулки. И съ умиленіемъ глядѣли, какъ онъ поѣдалъ свой бифштексъ. Самыя красивыя женщины добивались чести раздѣлить съ королемъ его ложе... Штейнбахъ смѣется:

— Не даромъ Ларошфуко сказалъ: „Вѣрь въ себя, и другіе въ тебя повѣрятъ...“

Изъ этихъ холодныхъ комнатъ Маня рвется въ покои королевы, наверхъ. Ничтожныя и несчастныя жены обоихъ Людовиковъ не интересуютъ ее. Она мелькомъ глядитъ на ихъ портреты и вещи. И спѣшитъ дальше... Только передъ портретомъ Людовика XV она останавливается въ задумчивости. Онъ былъ красивъ.

Вотъ, наконецъ... Залъ... И во весь ростъ у окна чудный портретъ молодой Маріи-Антуанетты. А тамъ другой... Она же съ дѣтьми, прелестными, какъ цвѣты... Рядомъ дверь въ ея покои.

Маня переступаетъ порогъ и замираетъ. Она боится себѣ вѣрить. Здѣсь?.. Ея кресла съ шитыми сидѣньями, ея клавесинъ?.. Часы съ амурами, на которыхъ останавливались ея глаза... Книжный шкафчикъ, рѣзная шифоньерка съ инкрустаціей изъ перламутра... Если-бъ распахнуть эти дверки! Вдохнуть этотъ запахъ тлѣнія... Печальный запахъ невозвратнаго... Неуловимый ароматъ женщины, ея любимыхъ духовъ!.. Если бы побыть одной въ этой комнатѣ...

Спальня королевы...

Все на виду теперь, до самыхъ интимныхъ вещей обихода... Вплоть до этого крохотнаго стульчика, устроеннаго, какъ пачка книгъ, брошенныхъ наискосокъ, одна на другую... Вотъ и дверь, маленькая, незамѣтная среди обой. Она ведетъ въ спальню короля. Королева искала спасенія черезъ эту дверь въ памятную ночь, когда чернь ворвалась въ Версаль.

Гидъ—ярый республиканецъ—съ ненавистью говоритъ о Маріи-Антуанеттѣ. До сихъ поръ не остыла въ народѣ злоба противъ гордой австріачки.

— Сюда!—зоветъ онъ.—Вотъ съ этого балкона *она* выходила по требованію толпы. *Она* не смѣла отказаться...

Маня отстраняетъ его. И облокачивается на перила.

Вонъ тамъ, внизу, она чернѣла, эта страшная толпа. Звѣрь, не знающій пощады... Она кричала, оскорбляла, свистала, посылала проклятія на гордую головку... Голгоѳа для несчастной королевы началась съ этой ночи. И все остальное, пережитое и выстраданное, не было такъ неожиданно, такъ позорно, какъ эти минуты, когда она стояла здѣсь...

— Вотъ какая она была, когда ее везли на казнь!—говоритъ гидъ, показывая портретъ ея, набросанный на улицѣ современнымъ художникомъ, очевидцемъ процессіи.—Hein? Не особенно красива?

О да!.. Ни одной черты изъ плѣнительнаго образа, улыбающагося въ залѣ!.. Почти мужское лицо, съ рѣзкими чертами, съ упрямымъ ртомъ, съ непреклоннымъ взглядомъ... Но закалъ великой души вдругъ проступилъ въ этихъ чертахъ, внезапно постарѣвшихъ, разомъ потерявшихъ обаяніе женственности. Въ простомъ чепцѣ, въ грубомъ платьѣ, въ позорной колесницѣ, которая везла ее на казнь, эта женщина оставалась королевой. Она была ею здѣсь больше, чѣмъ на портретѣ, съ напудренной высокой прической, въ бальномъ платьѣ, съ жемчугами Валуа на ослѣпительной шеѣ.

— Пойдемъ, Маркъ!.. Я ничего больше не хочу видѣть!

Въ ея голосѣ усталость. Опустились углы губъ. Глаза потускнѣли. Какъ будто не другую женщину, а ее самое въ этихъ стѣнахъ унижала и развѣнчивала толпа.

— А вотъ тутъ, у лѣстницы,—говоритъ имъ гидъ,—погибли швейцарцы, наемная стража, защищая грудью жизнь чужого короля. Здѣсь они пролили французскую кровь... Они заплатили за это жизнью...

Лицо его торжественно и серьезно. Онъ снимаетъ шляпу передъ священными ступенями, обагренными кровью народа.

— Маркъ... Я не могу больше... Уйдемъ!..

V.

— Мы хотимъ осмотрѣть Тріанонъ,—говоритъ Штейнбахъ завѣдующему дворцомъ.

Ихъ пропускаютъ безпрепятственно. Нынче сѣрый осенній день. Безъ дождя, но облачно. Печаль его гармонируетъ съ умирающимъ паркомъ.

Невыразимой тоской вѣетъ отъ знаменитой хижины (Hameau) Маріи-Антуанетты. Это развалина, обвитая плющомъ. По узкой

лѣстницѣ поднимаешься въ крохотныя комнатки. Окно обвалилось. Крыши нѣтъ. Домикъ—игрушка... И гордая королева забавлялась здѣсь, какъ пансіонерка. Утомленная этикетомъ двора, съ смутной жаждой иной жизни, съ страстнымъ стремленіемъ „опроститься“, сойти съ ходулей, быть ближе къ природѣ—она уходила сюда... Переодѣтая пастушкой, здѣсь, съ своими подругами Ламбалль и Полиньякъ, она искала первыхъ подснѣжниковъ, рвала ландыши, доила коровъ, училась быть „какъ всѣ“... Версаль для нея былъ буднями. Тріанонъ—поэзіей... Прелестная женщина, рожденная для радости! Гордая индивидуалистка, уходившая отъ пошлой жизни въ красивый міръ своей мечты,—знала ли ты, обѣгая эти аллеи и тропинки, о трагической встрѣчѣ, которая ждетъ тебя? О встрѣчѣ съ Толпой?

День умираетъ. Тихонько спускаются сумерки. Паркъ дремлетъ. Они сидятъ въ бесѣдкѣ. Бѣлка прыгнула надъ ихъ головой, вверху.

Маня смотритъ на нее. Тишина такъ глубока, сами они такъ недвижны, что бѣлка безъ страха качается на ели.

Вдругъ она видитъ жестъ Мани. Свистнувъ, она мчится вверхъ и исчезаетъ изъ глазъ.

Мраморная скамья позеленѣла отъ старости. Маня ищетъ... Быть-можетъ, есть надписи?.. Какое-нибудь имя?.. *Она* сидѣла здѣсь...

— Маня,—шопотомъ спрашиваетъ Штейнбахъ.—Можно съ тобой говорить?

— Да...

— Обо всемъ?

Онъ сбоку видитъ ея профиль. Ея рѣсницы слегка вздрагиваютъ. Но губы усмѣхаются.

— О чемъ хочешь, Маркъ...

— И тебѣ... не будетъ больно?

— На мнѣ крѣпкая броня теперь. И нелегко меня ранить.

— Я развѣ хочу причинить тебѣ боль?

— Говори... И, пожалуйста, безъ недомолвокъ. Безъ сожалѣній... Какъ съ равной...

— Маня...

— Не лги!.. Развѣ ты не считалъ меня еще вчера ребенкомъ, котораго надо щадить? Вести на помочахъ? Не предлагалъ ли ты мнѣ искать вмѣстѣ мою дорогу?

Онъ опускаетъ голову.

Она беретъ его руку. И прижимаетъ ее къ своей груди.

— Не считай меня неблагодарной! Слышишь, какъ бьется мое сердце? Оно—твое, Маркъ, до послѣдняго біенія! До послѣдней капли крови...

Онъ дѣлаетъ движеніе. Рука ея опускается.

— Но это дружба,—говоритъ она. И въ голосѣ ея холодокъ.

— Я развѣ ждалъ другого? — глухо спрашиваетъ онъ. Рука его дѣлаетъ слабую попытку освободиться.

— Я твердо знаю одно: Это твоя любовь спасла меня уже разъ, давно... И когда я брела во мракѣ, ты распахнулъ передо мною дверь... Я страстно желаю одного: чтобъ настала минута... какая-нибудь опасность для тебя... И чтобъ я приняла на свои плечи ударъ, который грозитъ тебѣ...

— Зачѣмъ?—чуть слышно срывается у него.

Она удивленно вскидываетъ рѣсницы.

— Чтобъ расквитаться съ тобой за все, что ты для меня сдѣлалъ...

Онъ вырываетъ у нея свою руку. Лицо его искажено. Онъ встаетъ и отворачивается. Зачѣмъ ей видѣть его страданія? Развѣ она пойметъ ихъ теперь?

— Маркъ... Что я сказала?..

— Молчи... О, замолчи!..

Онъ ходитъ взадъ и впередъ. И трость его бьетъ по мшистымъ дупламъ столѣтнихъ деревьевъ.

Расквитаться... Ея благодарность!.. Онъ былъ счастливѣе, когда она топтала его ногами и оскорбляла, называя „жидомъ". Она любила... Она была жестока. Да... Но зато какъ горячи были ея поцѣлуи, когда она возвращалась къ нему! Она любила... И ему хочется крикнуть ей: „Топчи опять твоими ножками мою душу! Ты не думала раньше о благодарности. Ты рабства требовала отъ меня... Но ты платила по-царски... И я былъ счастливъ..."

Она молчитъ, растерявшись. Какъ чуждъ ей сейчасъ строй его мыслей! Его настроеніе...

Сумерки падаютъ.

— Маркъ... Ты забылъ свои вопросы.

— Я хочу говорить о Нелидовѣ!—рѣзко и быстро отвѣчаетъ онъ. И садится рядомъ.

Она выпрямляется, разглаживаетъ складки своей юбки.

— О немъ, Маня, ты можешь говорить?

— Почему бы нѣтъ, Маркъ? Онъ для меня умеръ.

— Когда?..—быстро срывается у Штейнбаха. Поймавъ себя на этомъ, онъ закусываетъ губы и прижимается щекой къ холодной ручкѣ трости. Онъ не хочетъ смотрѣть въ ея лицо. Въ это чужое, новое для него лицо... Онъ хочетъ только слышать ея голосъ.

— Въ тотъ день, когда я узнала, что онъ сумѣлъ примириться на маломъ.

— Но кто тебѣ сказалъ, что онъ утѣшился?.. Онъ взялъ то, что было подъ рукою. Такъ поступаютъ всѣ кругомъ...

„И ты!!" хочетъ крикнуть она. Но слова эти замерли въ ея груди. Зачѣмъ?..

— Но развѣ это значитъ быть счастливымъ? — спрашиваетъ онъ съ тоской... Она щурится, припоминая...

— А если ты встрѣтишь его съ женою, Маня?

Голосъ его доносится къ ней изъ какой-то дали. Ей надо усиліе, чтобъ вернуться къ прежнему строю души и понять его.

— Неужели ты думаешь, что я хотѣла бы очутиться на ея мѣстѣ?

— Но ты не станешь отрицать, что ты страдала въ этотъ день? Значитъ ты... надѣялась вернуть его любовь?

— О Маркъ! Какъ ты далекъ отъ меня! Ты пересталъ ясно видѣть въ моей душѣ. Никогда я не надѣялась вернуть прежнее. Между нами была пропасть всегда. Это моя любовь перекинула черезъ нее мостъ... Воздушный и красивый... Помнишь, какъ та радуга, что мы видѣли подъ Земмерингомъ? Я шла къ нему по этому воздушному мостику. Шла съ довѣріемъ... А онъ грубо столкнулъ меня. Прямо въ бездну... И любовь моя утонула въ ней.

— Ты еще любишь его. Почему ты поручила Сонѣ сказать ему?.. Твое письмо у меня...

Она тихонько смѣется.

— Не его, Маркъ. Мою любовь къ нему любила я безумно. Я одѣла его въ свѣтлыя и прекрасныя одежды моихъ иллюзій. Но онъ сорвалъ ихъ. Остались однѣ лохмотья... Пусть ихъ подбираетъ другая! Мнѣ ничего не нужно...

Она встаетъ. Лицо ея спокойно, губы улыбаются... Новая улыбка... Неизгладимая линія, проведенная рѣзцомъ жизни.

— А меня когда ты разлюбила, Маня?

Она удивленно вскидываетъ рѣсницы.

— Я тебя очень люблю, Маркъ... Почему ты думаешь?

Но онъ перебиваетъ съ горечью:

— Раньше ты не говорила „очень"... На такой вопросъ ты кидалась мнѣ молча на грудь... И все было понятно...

Она вся насторожилась. И онъ это чувствуетъ.

— Я спрашиваю, когда ты разлюбила меня? Отвѣть!.. Въ ту ночь, когда... я ушелъ изъ дома?.. И ты думала, что я ушелъ къ другой?

Охъ, какъ больно стиснулъ онъ ея руки! Захваченная его волненіемъ, она глядитъ въ его глаза... И вдругъ видитъ въ нихъ свое прежнее страданіе... Обликъ другой... Бѣлую кожу, рыжіе волосы... „Нѣтъ... Не обидно уже... Отболѣло... Какъ хорошо!.."

Онъ дрожитъ весь, и она это видитъ. И что-то тоскливое и тревожное вдругъ заметалось въ ея собственной душѣ.

„Нѣтъ... Нѣтъ... Изъ жалости? Никогда!..“ ясно и твердо говоритъ кто-то за нее... „Все это плевелы, засоряющіе душу...“ Ахъ! Это Янъ... Это его слова...

— А ты развѣ... не былъ у нея въ ту ночь?

— Нѣтъ. Я съ ней совсѣмъ не видѣлся,—говоритъ онъ глухо, но сдержанно, боясь быть смѣшнымъ, боясь выдать свое отчаяніе.—Но я знаю, что она меня ждала... Ты видишь? Я не лгу...

— А гдѣ же ты былъ?

Онъ молчитъ одну секунду. Онъ выпустилъ ея руки.

— Этого я тебѣ не скажу... Теперь это ничего не измѣнитъ...

Она задумчиво глядитъ передъ собой.

— Я безумно страдала въ ту ночь, Маркъ... Я безумно любила тебя... „Все прошло. И я свободна...“ хочетъ она сказать. Но чувствуетъ свою жестокость. И смолкаетъ.

Онъ вдругъ опускается на колѣни передъ нею. Это такъ неожиданно!.. Съ такой жадной силой обхватили ее его руки! Столько хищнаго желанія и безумной мольбы въ поминутно мѣняющемся лицѣ!... Она хочетъ отстраниться... Онъ держитъ крѣпко...

Вдругъ воспоминаніе пронзаетъ ее... Мистическій ужасъ ледяной волной бѣжитъ отъ мозга ея въ самые тайники ея тѣла... И цѣпенѣетъ оно, какъ мраморная глыба. И дрожь отвѣтнаго желанія гаснетъ... Блаженство, пережитое въ ту ночь въ кошмарѣ, въ незабвенный часъ ея освобожденія,—кто дастъ ей его здѣсь, на землѣ? Все будетъ ниже...

— Не надо, Маркъ!.. Оставь...

Этотъ крикъ... Этотъ жестъ... Лицо ея...

Его руки падаютъ. „Все кончено...“ говоритъ онъ себѣ.

Автомобиль мчитъ ихъ въ Парижъ.

Они молчатъ. Лица ихъ словно закаменѣли. Глаза неподвижны.

Въ душѣ у обоихъ тихонько плачетъ тоска о Невозможномъ.

VI.

Но эта минута должна была настать.

Въ первый же день пріѣзда Штейнбахъ послалъ публикаціи во всѣ газеты, желая снять домъ-особнякъ. Черезъ пять дней онъ нашелъ его, недалеко отъ рѣки. Черезъ двѣ недѣли онъ закончилъ его отдѣлку. Это старый кварталъ, гдѣ уже триста лѣтъ стоятъ дома роялистовъ-аристократовъ. Они бѣжали во время революціи, а вернулись послѣ паденія Наполеона. Здѣсь тихо... Дома отдѣлены запущенными садами.

Онъ и здѣсь сумѣлъ окружить себя красивыми вещами, создать иллюзію „home“,—интимной жизни, отразить въ обстановкѣ

свое *я*. Вся мебель въ трехъ комнатахъ внизу строго выдержана въ стилѣ empire. Темная, мрачная, царственная. Не поддѣлка подъ старину, а настоящее красное дерево и корельская береза, съ инкрустаціями изъ слоновой кости, съ львиными головами и лапами изъ бронзы. Только въ старыхъ домахъ французской знати, во дворцахъ и въ музеяхъ можно все это найти теперь.

Наверху стиль рококо. Все кокетливо, жеманно. Вычурно изогнутыя золоченыя ножки креселъ, съ вышитыми и выгорѣвшими шелковыми сидѣньями, съ зеркалами въ фарфоровой оправѣ, съ улыбающимися пастушками на каминѣ, съ тусклыми зеркалами, съ выцвѣтшими гобеленами на стѣнахъ.

Съ волненіемъ везетъ Штейнбахъ Маню на новоселье. Онъ заѣхалъ за ней. Она будетъ завтракать у него послѣ катанья въ Булонскомъ лѣсу.

Она оглядывается, восхищенная.

— Тебѣ нравится, Маня?

— У тебя много вкуса, Маркъ. Гдѣ ты досталъ эти сокровища? Такъ и кажется, что сидишь гдѣ-нибудь въ замкѣ Сенъ-Клу или въ Большомъ Тріанонѣ, въ покояхъ Жозефины. Откуда этотъ гобеленъ?

— Совершенно случайно. Я обошелъ всѣхъ антикваріевъ. Эту мебель, картины, ковры, гобелены—я все купилъ только на-дняхъ.

И онъ добавляетъ тихонько:

— Я зналъ, что ты придешь. Мнѣ хотѣлось, чтобъ ты приходила сюда грезить у камина.

— Какіе чудные часы! Они похожи на версальскіе.

— Немудрено. Они той же фабрики. Имъ уже двѣсти лѣтъ. И эта фабрика давно исчезла.

Въ кабинетѣ внизу горитъ каминъ. Столѣтніе каштаны подъ окнами кидаютъ въ комнату тѣнь. Дверь выходитъ на террасу, въ садъ.

— Тамъ заглохшій фонтанъ,—говоритъ Маня, глядя въ окно.— Какъ я буду любить этотъ домъ, Маркъ!

Она садится у огня.

— Что ты дѣлаешь одинъ здѣсь цѣлый день? Тебѣ не страшно? Тамъ, наверху, нѣтъ привидѣній?

— Со мной мой камердинеръ изъ Москвы. Я привыкъ къ нему. Потомъ я написалъ дядѣ, чтобъ онъ выѣхалъ сюда. Онъ тоскуетъ безъ меня. Его меланхолія обострилась...

Маня смолкаетъ. Съ тяжелымъ чувствомъ вспоминаетъ она жуткую фигуру, которую видѣла два раза въ жизни.

— Ты его любишь, Маркъ?

— Не въ томъ дѣло. Сейчасъ въ его жалкой жизни я—един-

ственная его привязанность. И это обязываетъ... Мы рѣдко разлучаемся. И когда меня съ нимъ нѣтъ подъ одной кровлей, на него нападаетъ безумный страхъ. И онъ уходитъ...

— Куда?

— Не знаю... Онъ бродитъ по дорогамъ и лѣсамъ, пока я не подыму на ноги мѣстную полицію. Тогда его привозятъ домой.

Она вспоминаетъ, какъ по аллеѣ Липовки, въ отсутствіе Штейнбаха, печальный старикъ шелъ, опираясь на трость, глядя на закатъ таинственными глазами безумца. А походка и жесты были такъ безцѣльны... Его гнала тоска.

— Вы удивительно похожи!

— Ты мнѣ это уже говорила.

Въ его голосѣ она слышитъ досаду.

Она тихонько, шаловливо улыбается.

Передъ каминомъ брошена великолѣпная тигровая шкура. Маня гладитъ ее рукой. Съ печалью глядитъ въ стеклянные глаза хищника. Царственное животное... Зачѣмъ у тебя отняли жизнь?

— Не сердись... Сядь рядомъ... Какъ хорошо!

Штейнбахъ подбрасываетъ полѣнья. Каминъ разгорается опять. Таинственно вьется, то падая, то подымаясь, синій огонекъ... Штейнбахъ смотритъ на маленькія туфельки, и кровь бьетъ въ его виски.

— Маркъ, когда мы поѣдемъ къ Изѣ?

— Это зависитъ отъ тебя. Ты должна будешь плясать передъ нею... Развѣ ты готова?

Обхвативъ колѣна руками, она задумчиво смотритъ въ разгорающееся пламя.

— Кажется да... Для этого нужно настроеніе. Ты самъ понимаешь... Это та же импровизація. Это творчество...

Онъ беретъ ея руки и притягиваетъ ее къ себѣ. Они долго молчатъ. Она закрыла глаза.

— Маня, неужели это возможно? Что же ты будешь изображать?

— Тише!.. Тише... Маркъ... Не спугни словами того, что встаетъ въ моей душѣ!.. Образы смутные... жесты печальные... Боже мой! Какъ жутко... Ускользаютъ... Маркъ... Я счастлива... Я ихъ вижу опять... О, я начинаю понимать...

Поднявъ голову, она глядитъ вверхъ, на карнизъ. Черезъ листву деревьевъ въ саду, черезъ кружевныя гардины оконъ прокрался лучъ заходящаго солнца. И зайчики задробились и заиграли на стѣнѣ.

Онъ видитъ въ глазахъ ея міръ. Загадочный и священный. И въ его собственной душѣ рождается трепетъ, котораго онъ не зналъ до сихъ поръ.

— Маня,—шепчетъ онъ, и горло его сжимается.—Знаешь ли ты значеніе этого мига? Наши души прикоснулись сейчасъ... Наши далекія души...

— Тише!.. О, молчи...

Ноябрьскія сумерки входятъ безшумно и заполняютъ всѣ углы обширной комнаты. Въ кабинетѣ уже темно. Штейнбахъ встаетъ и на цыпочкахъ подходитъ къ окну. Онъ опускаетъ тяжелые занавѣсы. Отблески огня падаютъ на угрюмую мебель. Тускло поблескиваетъ позолота. Призраками кажутся фигуры охотниковъ на гобеленѣ.

Штейнбахъ тихонько опускается на колѣни. Душа его трепещетъ отъ восторга. Если и горѣла сейчасъ его кровь отъ желанія, все утонуло теперь въ этомъ беззавѣтномъ порывѣ души, въ этомъ страстномъ стремленіи опять слиться съ ея таинственной душой, къ которой онъ прикоснулся на одинъ краткій мигъ... Если-бъ она поняла его тоску! Если-бъ она почувствовала эту жажду Безпредѣльнаго!

И какъ бы околдованная, противъ воли, утративъ собственную индивидуальность подъ гипнозомъ его стремленія, она опускаетъ голову и смотритъ на него. Далекимъ, глубокимъ, таинственнымъ взглядомъ души. Глазами поэта, который прислушивается къ звукамъ пѣсни, родящимся гдѣ-то внѣ его... Она не видитъ его. Онъ это чувствуетъ. Онъ глядитъ въ эти огромные глаза и говоритъ себѣ: „Я подошелъ къ тайнѣ“.

Робко обнимаетъ онъ ее. Но она не замѣчаетъ и этого жеста. Онъ кладетъ голову въ ея колѣни. И въ груди его закипаютъ слезы. Послѣ цѣлаго года разлуки (вблизи отъ нея) онъ держитъ ее такъ близко у своего сердца. Но какъ далека она опять!..

Онъ это чувствуетъ. И отчаяніе его растетъ.

Она глядитъ въ огонь неподвижными глазами. Удивленная, тревожная... Она похожа на лань, которая слушаетъ эхо далекихъ шаговъ на опушкѣ... Чувствуетъ ли она тоску его объятій?.. Нѣтъ... Сознаетъ ли значеніе этой близости? Нѣтъ...

Шаги звучатъ... Шаги Невѣдомаго бога... Это Тотъ, кого ждутъ и призываютъ... кого ищутъ на всѣхъ дорогахъ. Но пути его загадочны. Онъ входитъ въ душу внезапно. И подъ ногой его выростаютъ цвѣты.

Онъ поднимаетъ голову и съ трепетомъ глядитъ въ ея лицо. Оно прекрасно. Такъ вдохновенны ея глаза, что ему хочется крикнуть:

„Возьми съ собою въ свои чертоги меня, нищаго духомъ!..“

Ея руки безсильно падаютъ на его плечи.

Сказалъ онъ что-нибудь? Просилъ о чемъ-то?... Она не по-

мнитъ. Огромными таинственными глазами она глядитъ въ его зрачки...

Почему онъ здѣсь, съ нею, въ это высочайшее мгновеніе ея жизни? Какой тайный смыслъ во всемъ совершающемся? Кто сказалъ, что такъ должно?..

Ихъ уста такъ близки. Дыханіе сливается... Онъ молчитъ. Какъ и она. Но въ его лицѣ, въ глазахъ, въ каждомъ фибрѣ его тѣла— напряженное ожиданіе и ужасъ радости.

Онъ ей знакомъ, этотъ Ужасъ.

Все ниже склоняется она къ его лицу, какъ будто притягиваемая этими алчными устами, этими дикими зрачками чужихъ, незнакомыхъ ей глазъ... Отчего дрожитъ онъ? Весь, весь... Съ головы до ногъ?.. И сама она насторожилась, какъ натянутая струна. Въ душѣ растетъ волна. Изъ глубины ея встаетъ вихрь. Онъ все сметаетъ на своемъ пути! Всеразрушающій вихрь, несущій новую жизнь...

Дрогнули и развернулись крылья души.

О, долго жданная радость! . . . .

. . . .

Кто это плачетъ на ея груди?.. Чьи руки трепещутъ у ея сердца? Чьи объятія сомкнулись желѣзнымъ кольцомъ?

Ты это, Невѣдомый богъ?.. Богъ вдохновенія и творчества?.. О, продли эти минуты!.. Дай проникнуть въ тайну твоихъ велѣній... Коснись еще разъ сердца, чтобы зацвѣли въ немъ алыя розы... Осіянные мечтою цвѣты...

VII.

Былъ ли онъ все-таки счастливъ?

Кто отвѣтитъ на этотъ вопросъ?

Онъ взялъ ее, повинуясь бѣшеной силѣ собственнаго желанія, не соглашаясь упустить этотъ мигъ, этотъ случай... Угадалъ ли онъ въ ея душѣ отвѣтную дрожь? Онъ не могъ бы ничего отвѣтить на это. Онъ зналъ теперь, что въ глубинѣ его сердца упорно и цѣпко жило ожиданіе этой минуты... что оно никогда не умирало въ немъ.

Она не была оскорблена. Онъ это хорошо зналъ тогда... Онъ видѣлъ экстазъ въ ея лицѣ. Въ тотъ мигъ, казалось, исчезло все, что раздѣлило ихъ за этотъ годъ. Передъ нимъ была Маня дѣвочка. Та, которая писала ему облитое слезами письмо.

Онъ вынимаетъ его изъ бумажника.

„Они говорятъ, что вы меня погубите... Что значитъ погубить? Если гибель—ваша любовь, пусть я погибну!“

Онъ цѣлуетъ это письмо.

Но развѣ *та* Маня не умерла давно? Развѣ знаетъ онъ ту, которую обнималъ вчера?

— Здравствуй, Маня!

— Здравствуй, Маркъ...

Его голосъ срывается. Онъ стоитъ предъ нею блѣдный, растерявшись, съ внутренней дрожью, отъ которой трепещутъ его губы и руки, со страхомъ изучая ея лицо.

Она чуть-чуть улыбнулась, покраснѣла. И спокойно протянула ему руку къ которой онъ прижался губами. Онъ цѣлуетъ эту руку страстно, съ благодарностью... Развѣ нужны слова? Однимъ движеніемъ губъ, легкимъ трепетомъ пальцевъ, бѣглой улыбкой можно дать отвѣтъ. Положить конецъ его сомнѣніямъ.

Но она спокойна и ясна, какъ дѣвочка. Единственная перемѣна въ ней—это радость... Тихая, глубокая радость осуществленія. Не та опьяняющая жажда жизни, которой вѣяло отъ нея годъ назадъ. Это что-то другое... И Штейнбаху чудится, что онъ и его любовь стушевались, утонули въ тѣни того Большого, того Новаго, что вошло въ ея душу теперь.

— Когда мы ѣдемъ къ Изѣ?

— Хоть сейчасъ! Вотъ уже недѣля, какъ она насъ ждетъ.

— О Маркъ! Поѣдемъ нынче! Поѣдемъ вечеромъ...

— Почему вечеромъ?

— Потому что днемъ я одна. А вечеромъ другая. У меня не только другіе глаза, ротъ, походка... У меня вечеромъ другая душа! Неужели ты до сихъ поръ этого не знаешь?

Ниночка плачетъ и капризничаетъ рядомъ, въ комнатѣ.

— Что съ нею? Жаръ?

— Нѣтъ. Могла бы я развѣ быть счастливой, если-бъ у нея былъ жаръ?

„Значитъ ты счастлива?“ хочетъ онъ спросить. Но не смѣетъ.

— А все-таки этотъ плачъ дѣйствуетъ на меня такъ, точно на душу камень кладутъ. Все притупляется разомъ. И знаешь, что я замѣтила? Я дома одна. На улицѣ другая... Это меня даже озабочиваетъ.

Она вдругъ улыбается. И лѣвая бровь ея капризно подымается.

— Не могу же я имѣть двѣ квартиры: одну для дневной, другую для вечерней жизни...

— А! Ты замѣтила зависимость артиста отъ повседневнаго!

Онъ опять беретъ ея руку и цѣлуетъ въ страстномъ порывѣ... Она вдругъ широко открываетъ глаза. Съ неподдѣльнымъ изумленіемъ. Смотритъ одну секунду...

Довольно! Онъ понялъ... Онъ встаетъ и отходитъ къ окну. „Она уже не любитъ меня".

— Ѣдемъ, Маркъ, къ тебѣ, — серьезно, озабоченно говоритъ она, черезъ полчаса входя въ комнату, уже одѣтая, въ шляпѣ.

— Маня!.. Какъ красиво! Гдѣ ты сшила это платье?

— Сшила!.. Я купила его готовое въ Вѣнѣ. У меня нѣтъ еще денегъ, чтобъ имѣть портниху. Но неужели тебѣ нравится это платье? Эта идіотская мода?

— Ты прекрасна. Вотъ все, что я вижу!

— Когда у меня будутъ деньги, я отвергну моду или создамъ ее сама, какъ это дѣлала Башкирцева. Одѣваться—какъ всѣ... Въ этомъ есть что-то возмутительное!.. Но... я смиряюсь.., пока...

— Ты хочешь позавтракать со мною?

— Нѣтъ. У тебя есть рояль?

— Клавесинъ!

— Ты долженъ мнѣ сыграть то, что будетъ слушать Иза.

— А!.. Вотъ что... Ѣдемъ...

VIII.

Она сидитъ у камина, обхвативъ колѣни руками, склонивъ станъ. Она стала словно выше ростомъ въ этомъ платьѣ. Корсета она не носитъ. У нея дѣвственная грудь и гибкая фигура. Каждое движеніе ея музыкально. Это опять-таки не прежняя Маня.

Вотъ здѣсь вчера она отдалась ему. Когда она входила, онъ глядѣлъ въ ея лицо, ища признаковъ волненія... Одинъ жестъ... Одинъ штрихъ... Ничего!.. Она словно все забыла. Или какъ будто это былъ сонъ... Она такъ полна своими мыслями, что не только не волнуется рядомъ съ нимъ... Она о немъ забываетъ.

— О чемъ ты думаешь, Маня?

— Я, кажется, нашла, Маркъ... Все, что ты игралъ тамъ, сейчасъ, идетъ въ разрѣзъ съ моимъ настроеніемъ. Ты слышалъ *Полетъ Валькирій*? У тебя есть Вагнеръ?

— Н-нѣтъ... Можно послать сейчасъ въ магазинъ.

— Но сумѣешь ли ты сыграть? Переложено ли это для рояли? Ахъ, Маркъ, если это мнѣ нынче не удастся... Ты телефонировалъ ей?

— Да, не волнуйся.

Онъ садится на коверъ, у ея ногъ. И, обнявъ ее, прижимается головой къ ея груди. Она остается недвижной.

— Я все-таки не знаю до сихъ поръ, что̀ хочешь ты разсказать своей пляской...

— Исторію моей души... А... ты удивленъ?

Она обнимаетъ его рукою, какъ будто рядомъ съ нею Петя, братъ или товарищъ.

— Не знаю, что пойметъ въ этомъ Иза?.. И пойметъ ли она, вообще... Но ты долженъ знать... Твоя музыка создаетъ міръ. Это будетъ исторія моей души.

— Любви?

Она отодвигается и внимательно смотритъ въ его насторожившіеся глаза.

— Нѣтъ. Почему именно любви?.. Развѣ безъ нея уже ничего нѣтъ въ жизни?

„О, какъ много въ этой фразѣ!.. Прощай Маня-дѣвочка!.. Ты уже не вернешься“.

— Моя пляска нынче это то, что было. И то, что будетъ...

Онъ съ отчаяніемъ прижимается лицомъ къ ея груди. Безумное желаніе растетъ въ его душѣ. Стоило прикоснуться къ этому тѣлу, какъ стихійная страсть начинаетъ туманить сознаніе. Онъ крѣпко, больно обнимаетъ Маню.

Но рука ея ласково падаетъ на его лицо. Такъ довѣрчиво и нѣжно. И она говоритъ трепетнымъ голосомъ, горячимъ и страстнымъ, какимъ говорятъ слова любви:

— Я мечтаю изобразить въ танцѣ, въ жестахъ и мимикѣ все, что пережила... Мою любовь къ жизни и жажду счастія... Мою любовь къ Любви... Ты понялъ? Потомъ...

„Неужели это та, которая была безсильна передъ моей лаской?“

— Потомъ смерть... Это самое трудное, Маркъ... Не знаю, найду ли я жесты прекрасные и скорбные? Будутъ ли они трагичны?. Видишь ли?.. Я думаю...

„Какой броней одѣта она? Гдѣ ея чувственность, порабощавшая ее мнѣ всецѣло? Въ чемъ ея сила теперь?.. И во мнѣ холодѣетъ желаніе...“

— Я думаю, что только трагическіе сюжеты надо брать, чтобъ поднять танецъ на ту высоту, на какой онъ былъ въ древности. Это была часть религіи. Толпа опошлила его. Изъ религіи сдѣлала развлеченіе. Но я хочу служить новой религіи!

„Она сильнѣе меня. Ея душа горитъ. Но не для меня. Я не могу бороться съ холодомъ, которымъ вѣетъ отъ нея“.

Она вдругъ оборачивается и кладетъ ему обѣ руки на плечи.

— И вотъ вчера... когда мы сидѣли тутъ вмѣстѣ, я вдругъ почувствовала въ себѣ такую силу... такой трепетъ... такъ много образовъ поднялось... Я вдругъ словно проснулась, когда ты... поцѣловалъ меня... О Маркъ!.. Я поняла, что значитъ—вдохновеніе!

Она глядитъ въ его зрачки. Глаза ея опять большіе и таинственные. Потомъ тихонько наклоняется и цѣлуетъ его въ лобъ

— Я люблю тебя, Маркъ,—говоритъ она. И это звучитъ, какъ молитва.

Обезсиленный, уничтоженный, подавленный ея индивидуальностью, онъ закрываетъ глаза.

Все ясно теперь. Въ одинъ мигъ очами своей страдающей души онъ какъ бы видитъ все будущее ихъ любви. Она будетъ брать его въ рѣдкія минуты душевнаго подъема. Его страсть будетъ той музыкой, безъ которой она не можетъ создать своихъ образовъ. Потомъ онъ останется въ тѣни. Она вернется къ искусству.

Откажется ли она отъ новаго увлеченія? О нѣтъ! Къ этому онъ долженъ быть готовъ! Все, что обогатитъ ея душу, все, что расцвѣтитъ ея творчество, должно быть дорого ему.

Никакихъ договоровъ. Никакихъ клятвъ. Онъ будетъ ждать...

Вернется ли она?

— О Маркъ! Сумѣю ли я выразить то, что родилось во мнѣ? Сумѣю ли я захватить тебя и ее? Есть ли у меня талантъ?

IX.

Въ салонѣ креолки мебель и сторы золотистаго шелка. Свѣтъ электрической лампы на высокой подставкѣ скрадывается палевымъ огромнымъ абажуромъ съ блестящей бахромой. Свѣтлый коверъ покрываетъ всю комнату. Въ каминѣ огонь. Въ углу дремлетъ піанино.

Изъ золоченой рамы надъ диваномъ глядитъ матовое лицо танцовщицы съ длинными глазами и чувственнымъ ртомъ. Она изображена въ бальномъ платьѣ. Трудно угадать ея индивидуальность въ этомъ банальномъ портретѣ. Подъ нимъ и по угламъ комнаты красуются лавровые вѣнки. Всѣ стѣны увѣшаны портретами артистки въ шляпахъ всѣхъ сезоновъ. Есть даже въ шубѣ и подписано *Pétersbourg*. Засохшіе букеты прибиты въ уголку. И красныя ленты висятъ до полу. На каминѣ двѣ японскія драгоцѣнныя вазы, старинные фарфоровые часы съ серебристымъ звономъ, серебряная чаша. Все это подношенія. Между окнами шкафчикъ, весь уставленный серебромъ. На всемъ лежитъ густая пыль.

Когда они входятъ, бѣлый какаду, дремавшій въ клѣткѣ, уцѣпившись за кольцо черными лапками, вдругъ просыпается. Онъ смотритъ на нихъ круглыми черными глазами, встряхиваетъ хохломъ и говоритъ рѣзкимъ звукомъ какое-то непонятное слово.

— Онъ насъ привѣтствуетъ по-испански, Маня...

— Какой экзотическій салонъ! — шепчетъ она.

Вдругъ отворяется дверь, и съ звонкимъ, рѣзкимъ лаемъ подъ ноги гостямъ кидаются два крохотныхъ спаньёля, бѣлыхъ и пушистыхъ.

Иза входитъ, экспансивная, шумная, протягивая Штейнбаху обѣ руки. Она кричитъ на собакъ. Толкаетъ ихъ ногой и приглашаетъ гостей садиться. Зорко щурится она на Маню, оглядываетъ ее съ ногъ до головы взглядомъ оцѣнщика. И потомъ привѣтствуетъ ее съ любезностью королевы, какъ бы подчеркивая разницу между знаменитостью и простой смертной.

„Это мнѣ нравится", думаетъ Маня. „Терпѣть не могу самоуничиженія! Она и должна быть такой... Но что за ужасный воздухъ! Здѣсь никогда, должно-быть, не отворяютъ оконъ".

Артисткѣ не болѣе сорока лѣтъ, но она уже увяла. Болѣзнь, заставившая ее покинуть сцену, заклеймила ея лицо желтизной и рѣзкой худобой, отъ которой выступаютъ скулы. Ротъ у нея большой, и губы толсты. Глубокія складки идутъ отъ крыльевъ носа къ угламъ рта... Это признакъ двухъ страстей: чувственности и скупости. На низкій лобъ спускаются жесткіе черные, пышные волосы... Это лицо было бы отталкивающимъ, если-бъ не трагическая линія сросшихся бровей и глаза... Огромные, черные, длинные, они то искрятся какъ алмазы, то устало щурятся, какъ бы прячутся въ тѣни рѣсницъ... Она средняго роста, гибка, вся укутана въ серебристый шарфъ. Но грація фигуры угадывается подъ ея чернымъ шелковымъ платьемъ empire, безъ таліи... На ней огромныя золотыя серьги въ видѣ колецъ, которыя качаются при каждомъ ея движеніи. Шаль придерживается двумя брошками. На шеѣ толстая золотая цѣпь съ медальономъ... Всѣ руки унизаны кольцами, и пальцы сгибаются съ трудомъ. „Настоящая выставка", думаетъ Маня. „Какъ вульгарна!"

Она говоритъ по-французски быстро, съ акцентомъ, странно и непріятно картавя... Разговаривая съ Штейнбахомъ, она улыбается Манѣ. Зубы у нея хороши, и улыбка пріятна.

Глазомъ художника, съ захватывающимъ интересомъ Маня изучаетъ лицо этой женщины, въ рукахъ которой ключи къ ея счастію.

Лицо сложной натуры, съ низменными инстинктами и съ сильными страстями. Но поразительно краснорѣчивое и дѣйствительно трагическое. Оно передастъ ревность, отчаяніе, ненависть, лесть, пламенную молитву къ мстительному богу, раскаяніе, ужасъ. Оно передастъ любовь, бурную и стихійную... всѣ элементы, которые живутъ въ ея душѣ...

Но что знаетъ она о любви поэтической и далекой? О любви къ картинѣ, къ образу, родившемуся въ утреннихъ грезахъ? Что знаетъ она о тишинѣ въ горахъ и тишинѣ въ сердцѣ? Объ экстазѣ, который зажигаетъ слезы въ груди и ведетъ человѣка къ подвигу?.. Что знаетъ она объ этомъ чуждомъ ей мірѣ, гдѣ нищія съ

огневыми глазами отвергаютъ золото богачей и страстно требуютъ справедливости отъ жизни, какъ своего неотъемлемаго права? Гдѣ люди, покидая любимую женщину, идутъ съ пѣсней на устахъ. И принимаютъ на себя выстрѣлы, предназначенные для другихъ?..

Развѣ это тоже не область искусства? Развѣ міръ, въ которомъ экстазъ зажигаетъ душу, можетъ быть чуждымъ артисту? Развѣ Янъ и все, чѣмъ жилъ онъ: его мечты, его слова, его жесты, его трагическая смерть—не было ли все это музыкой? Дивной поэмой? Сномъ наяву?

„Нѣтъ. Подъ этимъ низкимъ лбомъ никогда не могла зародиться высокая мысль. Міросозерцаніе этой женщины такъ же пошло, какъ вся ея обстановка... Ея жесты пластичны. И мимика богата. Но нѣтъ у нея творчества. Ничего *своего* не могла она внести въ искусство. Она дастъ форму. Новую форму. Но у нея нѣтъ идеи.“

„Вотъ она глядитъ на меня. Съ удивленіемъ ищетъ на мнѣ бриллiантовъ. Любовница Штейнбаха, какой она меня считаетъ, должна быть усыпана ими... Они у меня есть,—рѣшила она.—Но почему же я ихъ не надѣла?.. И, не вѣря въ скромность, которой у нея нѣтъ, она видитъ въ этомъ что-то загадочное. Это импонируетъ ей... Какъ измѣнился ея тонъ со мною!.. Теперь надо отвѣчать на вопросы... Она мной заинтересовалась...“

— Не хотите ли начать?—Иза указываетъ на піанино.

— Oh, madame... Въ другой разъ. Я прошу извиненія... Я слишкомъ... подавлена впечатлѣніями...

„Что это значитъ? Ужъ не передумала ли она?“ говорятъ черные глаза хозяйки. И алчный огонекъ загорается въ нихъ.

Опустивъ голову и разглаживая складки юбки на колѣняхъ, Маня холодно говоритъ Штейнбаху по-русски:

— Я никогда не смогу танцовать въ такой обстановкѣ, среди собакъ и попугаевъ. Объясни ей это. Пригласи ее къ себѣ завтра. Пусть она назначитъ часъ!

Штейнбахъ съ секунду думаетъ. Потомъ, не измѣняя ни одного слова, передаетъ артисткѣ, что сказала Маня.

Лица обѣихъ женщинъ вспыхиваютъ румянцемъ. Ихъ глаза встрѣчаются.

„Такъ вотъ ты какая!“ какъ бы говоритъ растерянное лицо Изы.

И сдвинутыя брови Мани какъ бы отвѣчаютъ: „Я не хочу быть другой“.

— Но постойте... Я подумаю... Я никуда почти не выѣзжаю... Впрочемъ, днемъ...

— Madame... Я могу... работать только вечеромъ,—твердо го-

ворить Маня.—Днемъ моя душа—тускла. Какъ артистка, вы это поймете... И если бы вы согласились...

Иза молчитъ. Ея глаза искрятся, погружаясь въ зрачки Мани. За этимъ тономъ она чувствуетъ *что-то*, съ чѣмъ нельзя не считаться... Сейчасъ только она спрашивала себя, что нашелъ Штейнбахъ въ этой дѣвушкѣ? Почему выбралъ ее изъ всѣхъ другихъ? Она вчера еще, прочитавъ его записку, удивилась странной фантазіи, возникающей у этихъ русскихъ... Учиться искусству мимовъ... Какъ будто этому можно учиться? Какъ будто она сама—дочь прачки, почти нищая—училась чему-нибудь?

Но сейчасъ сомнѣнія встаютъ. Просыпается любопытство. Не только банальное женское любопытство. Но интересъ артистки. Она смотритъ на Маню безъ улыбки, широко открытыми глазами. „Днемъ моя душа тускла...“ Въ этой фразѣ много сказано...

— Хорошо. Я пріѣду. Назначьте часъ...

Уже въ дверяхъ, когда, подъ оглушительный лай собакъ и крики разсерженнаго какаду, они выходятъ изъ салона, она вдругъ вспоминаетъ. И алчный огонь сверкаетъ опять въ ея глазахъ.

— Вы понимаете, конечно, что при этихъ условіяхъ гонораръ...

Стоя у окна, артистка смотритъ, какъ они садятся въ автомобиль.

„Душа моя днемъ тускла“... О да! Она хорошо знаетъ, что значитъ быть дома. И быть на сценѣ. Другое лицо. Другая психика... Но ей надо было десять лѣтъ сценической работы и извѣстности, чтобы понять такую простую истину, что между творчествомъ и ремесломъ лежитъ пропасть... Русская понимаетъ это и сейчасъ.

„Увидимъ, увидимъ“, бормочетъ она задумчиво, глубоко заинтересованная. Она подходитъ къ клѣткѣ и качаетъ ее.

— Дура!—кричитъ ей сердитый попугай, которому собаки не даютъ заснуть.

— Милый Баккô,—говоритъ она попугаю.—Какъ можешь ты чему-нибудь мѣшать?

И въ первый разъ, нахмуривъ брови, она съ удивленіемъ оглядываетъ эту комнату, которая часъ назадъ казалась ей послѣднимъ словомъ роскоши и вкуса.

X.

Въ обширномъ кабинетѣ Штейнбаха весь полъ покрытъ ковромъ, и мебель отодвинута. Въ углу рояль. Электричество даетъ только мягкій полусвѣтъ. Каминъ пылаетъ.

Свернувшись въ клубочекъ, въ старинномъ „вольтеровскомъ“ креслѣ, съ поджатыми ножками сидитъ Иза. Она закутана въ мѣхъ. Волной упали на низкій лобъ ея черные жесткіе волосы. Глаза ея искрятся, устремленные на Маню.

Она стоитъ посреди комнаты въ свѣтло-голубой газовой туникѣ. Руки, шея и ноги обнажены. Волосы схвачены греческимъ узломъ на затылкѣ. Она смотритъ вверхъ.

Странные звуки Грига въ тихой игрѣ Штейнбаха строятъ что-то новое въ ея душѣ... Она никого не видитъ. Она вспоминаетъ... Въ прошлое погрузился ея взоръ. Утонула въ немъ душа ея, растворилась... Она ждетъ... Легкій трепетъ ожиданія дергаетъ ея губы и концы пальцевъ въ опущенныхъ рукахъ. Глаза застыли, неподвижные. Зрачокъ разлился. Она ждетъ... Сейчасъ зазвучатъ вдали шаги Того, кто несетъ радость забвенія. И подъ ногой его залѣютъ цвѣты...

Вдругъ воздухъ затрепеталъ отъ полета Валькирій... Онѣ мчатся, прекрасныя, свободныя. И вѣтеръ треплетъ ихъ волосы и цѣлуетъ ихъ лица... Маня видитъ ихъ тамъ, высоко... Она слышитъ, какъ бьютъ ихъ крылья, какъ разсѣкаютъ онѣ воздухъ... „О, возьмите меня съ собою, вы, гордыя! Недоступныя печалямъ земли. Предъ вашими очами раскинулись дали, и будущее васъ не страшитъ!"

Руки ея взмахнули... Вотъ она закружилась, понеслась по комнатѣ въ какой-то стихійной потребности движенія, въ какой-то дикой радости, вдругъ забившей ключомъ въ ея сердцѣ. Волосы упали и разметались. Запылало лицо. Она видитъ черное небо, огромныя звѣзды... Въ лицо вѣетъ степной вѣтеръ... И Любовь, свѣтлая и радостная, и Желаніе, темное и жгучее, глядятъ ей въ глаза изъ прошлаго, обнявшись, какъ братъ съ сестрой... И раздѣлить ихъ нельзя...

Вдругъ мрачный аккордъ... И жизнь замираетъ.

А звуки темные и трагическіе льются, какъ подавленныя рыданія. Жуткіе диссонансы вплетаются въ аккорды и сѣютъ Ужасъ. И Смерть входитъ, какъ царица, и гаситъ жизнь ледянымъ дыханіемъ... Зигфридъ умеръ... Гибнетъ радость...

Маня медленно, шагъ за шагомъ, отступаетъ назадъ, въ глубь комнаты, съ трагическимъ лицомъ, съ вытянутыми руками, какъ бы защищаясь отъ Неизбѣжнаго.

Вся подавшись впередъ, жадно полуоткрывъ губы, глядитъ Иза въ это лицо... Цѣлая гамма оттѣнковъ прошла по немъ сейчасъ... Отчаяніе. Нѣмой вопль тоски... Изогнулась линія бровей... Открылись уста въ гримасѣ страданія... Вдругъ ужасъ перекрылъ блѣдностью черты. Движенія почти нѣтъ... Лишь слабые жесты рукъ, какъ бы отталкивающихъ безмолвно Что-то, надвигающееся неумолимо. И мольба въ расширенныхъ глазахъ.

И, наконецъ, эти медленные жесты, полные отреченія...

Вдругъ руки падаютъ. Глаза меркнутъ. Уста сомкнулись съ горечью. Голова свѣшивается на грудь.

Фигура неподвижно застыла, какъ надгробное изваяніе. И четко выдѣляется на темномъ фонѣ стѣны. А торжественные, глубокіе звуки говорятъ о Вѣчности, о Безпредѣльномъ.

Сердце Штейнбаха бьется. Ему вспоминается ночь самоубійства... Онъ видитъ лицо Изы. Онъ чувствуетъ ея волненіе...

„Это было самое трудное", думаетъ онъ. „Сейчасъ конецъ..."

Задрожали новые звуки... Высокіе-высокіе и чистые.

Тамъ, выше облаковъ, въ лазури родились они. И зазвенѣли, какъ пѣсня небесъ, непонятная людямъ... Какъ съ горныхъ высотъ бѣжитъ серебристый ключъ, такъ спускаются эти звуки въ темную долину печали, въ нашу жестокую жизнь. Мечты, не знающія осуществленія. То, что снится каждому изъ насъ на зарѣ и забывается подъ вечеръ. Это сны безумцевъ... Вѣчныя загадки, на которыя нѣтъ отвѣта. Бѣлый лебедь Лоэнгрина. Свѣтлая улыбка рыцаря Грааля...

И неподвижная фигура оживаетъ. Затрепетали безжизненныя руки... Глаза открылись широко и глянули въ міръ, просыпаясь къ новой радости. И улыбнулись уста.

Мелодія растетъ. И трепетъ жизни слышенъ въ ней. И яркими нитями вплелись въ нее земные восторги.

Маня идетъ медленно впередъ, простирая руки къ тому, кто обѣщалъ ей счастіе. Это Янъ, рыцарь Грааля, плыветъ ей навстрѣчу.

Она страстно раскрываетъ объятія, закидываетъ голову. И, закрывъ глаза, блаженно улыбаясь, слушаетъ то, что растетъ въ душѣ, возрожденной и омытой страданіемъ...

Но звуки уже уходятъ... Подымаются все выше... Звенятъ все тоньше... Какъ наши сны подъ утро...

„О, постойте! Возьмите меня съ собой!.." говорятъ ея глаза. „Подымите меня надъ большой дорогой жизни, вы—безгрѣшные!.."

И съ лицомъ, полнымъ экстаза, она идетъ на цыпочкахъ... Все выше поднимая руки... Вся—порывъ и движеніе... Какъ бы силясь оторваться отъ земли, догнать ускользающій призракъ... Какъ бы силясь взлетѣть на крыльяхъ души за таинственнымъ Лоэнгриномъ. За бѣлымъ лебедемъ нашей Мечты...

Все земное отпало... Все прожитое забылось...

Она идетъ на высоту . . . .
. . . .

Серебряные звуки дошли до предѣльной черты. На крыльяхъ лебедя Лоэнгринъ перенесся за грани земли. И скрылся изъ глазъ людей навѣки.

И прозрачные звуки растаяли...

Минута молчанія. Двѣ... Руки Мани опускаются. Она оглядывается, какъ бы просыпаясь.

Вдругъ съ истерическимъ крикомъ Иза срывается съ кресла и кидается ей на грудь.

Забыты разсчеты, самолюбіе, мелочная зависть... Художникъ въ ея душѣ торжествуетъ надъ женщиной.

И только теперь Маня очнулась. И чувствуетъ свою побѣду.

XI.

Они остаются вдвоемъ... Наконецъ!

Вся разбитая пережитымъ подъемомъ, Маня лежитъ въ кабинетѣ. Каминъ пылаетъ, но ей холодно. Теплый пледъ окуталъ ея всю. У нея нѣтъ силъ переодѣться...

Штейнбахъ ходитъ на цыпочкахъ. Боится сдѣлать лишнее движеніе... Онъ тоже потрясенъ. Онъ не ждалъ подобнаго исполненія. Иза права... Чему ей учиться?.. Полгода, много годъ... Нѣкоторые пріемы техники, нѣсколько пластичныхъ позъ. Изучить національные танцы... И она будетъ артисткой.

— Она меня растрогала,—говоритъ Штейнбахъ, подсаживаясь у кушетки, на коврѣ, и цѣлуя холодную руку Мани.—Я никогда не ждалъ отъ нея такой непосредственности. Что значитъ истинная артистка!.. Но ты была удивительна, Маня... Нѣтъ... Я не прибавлю ни слова больше! Ты знаешь все...

Ея пальцы слабо гладятъ его лицо.

— Маркъ...Я тебѣ обязана моимъ успѣхомъ. Я ничто безъ тебя!

— Что ты говоришь? Ты смѣешься надо мною?

— Ты такъ дивно игралъ!.. Почему разгадалъ ты все, что я думала, когда стояла посреди комнаты и ждала... ждала того, что пережила уже одинъ разъ... давно... И только съ тобою... Какъ будто твоя душа шепталась съ моею... И поняла, чтó нужно мнѣ...

Они долго молчатъ.

— Маня, — говоритъ онъ съ волненіемъ, которымъ тщетно силится овладѣть.—Черезъ годъ ты будешь артисткой... Помнишь?.. Ты недавно сказала... что хотѣла бы... отплатить мнѣ чѣмъ-нибудь за любовь... Она не требуетъ награды, конечно... И я не расплаты со мною прошу...

— Маркъ... Почему ты дрожишь?.. Чего боишься?

— Твоего отвѣта, Маня... Ты знаешь, что моя жизнь принадлежитъ тебѣ... Но я хотѣлъ бы большей близости... иной формы... Не для себя... Но чтобъ оградить тебя отъ грязи... Ты до сихъ поръ живешь за хрустальной стѣной, и не знаешь, что такое жизнь... Она сомнетъ тебя своими лапами, если ты... и Нина... останетесь одинокими... Тебѣ нуженъ другъ, защитникъ... Ар-

тисткѣ даже болѣе, чѣмъ всякой другой, трудно быть одинокой Кругомъ тебя будетъ травля, сплетни... Боже мой!.. Я такъ близко знаю этотъ міръ!.. У насъ, въ XX вѣкѣ, не научились еще уважать женщину. И чѣмъ выше она поднялась силой таланта, тѣмъ озлобленнѣе кидаютъ въ нее комьями грязи...

Она кладетъ пальцы на его губы.

— Словомъ, ты просишь меня быть твоей женой?

Она чувствуетъ, какъ онъ замеръ въ ожиданіи ея отвѣта. Но она долго молчитъ, усталая и пресыщенная реальностью послѣ сна наяву.

— Нѣтъ, Маркъ... Не могу...

— Почему?—чуть слышно спрашиваетъ онъ

— Сейчасъ не могу. Я слишкомъ люблю мою свободу.

— Развѣ я...

— Ахъ, знаю!.. Ты деликатенъ, благороденъ... Ты это доказалъ... Но у меня въ мечтахъ уже сложилась моя жизнь...

— Гдѣ мнѣ нѣтъ мѣста?

— Подъ одной кровлей? Нѣтъ...

— Это все мелочи Маня! Я готовъ исполнить всѣ твои самыя безумныя фантазіи...

— Я могу полюбить, другого, Маркъ... Ни благодарность ни состраданіе меня не остановятъ... Я хочу здѣсь, на землѣ, осуществить всѣ мои грезы. Взять всѣ возможности... Сдѣлать изъ моей жизни поэму...

Она видитъ его скорбную усмѣшку, которую такъ любила когда-то.

— Я все это уже пережилъ съ тобою, Маня. И готовъ ко всему. Чѣмъ можешь ты запугать меня?..

— Страданіемъ, Маркъ...

— За эти страданія я полюбилъ тебя, Маня.

— Не бери на себя такъ много, Маркъ! Натянутая струна срывается, наконецъ... Я это знаю по себѣ

Онъ горько улыбается.

— Я для тебя старъ, дитя мое. И знаю, мы не пара... Ты—талантливая, недюжинная женщина. Я—самый средній человѣкъ, замѣтный только благодаря случайности... деньгамъ, нажитымъ моими предками... Но у меня есть одинъ даръ, который въ твою колыбель забыли положить феи...

Она приподнимается на локтѣ и смотритъ въ его темные глаза безъ блеска:

— Я умѣю любить...

Эти слова дошли до души ея, утомившейся повседневнымъ.

Она ложится опять головой на подушки, и рука ея ласково падаетъ на его плечо.

Она говоритъ послѣ паузы, тоскливо глядя вверхъ:

— Милый Маркъ... Жизнь начинается... Єны уходятъ... Вотъ я опять на распутьѣ... Одна...

— Со мною!—съ отчаяніемъ перебиваетъ онъ.

Она переводитъ на него глаза. И смотритъ пристально, вдумчиво и строго, ища чего-то забытаго въ этихъ любимыхъ когда-то чертахъ... И ему страшно подъ этимъ взглядомъ. Онъ чувствуетъ, что въ эту минуту молчанія рѣшается его судьба.

— Съ тобою,—говоритъ она страннымъ звукомъ.

И со вздохомъ закрываетъ глаза.

Долго длится тишина. Слышенъ хрустъ разсыпающихся углей въ каминѣ.

Сердце его стучитъ съ такой болью, что даже потъ выступилъ на вискахъ. Но онъ боится двинуться. Быть-можетъ, она заснула...

Вдругъ она дѣлаетъ движеніе.

— Хорошо, Маркъ... Я буду твоей женой... Но не теперь, нѣтъ...

— Почему, Маня?.. Почему, скажи?

Онъ цѣлуетъ ея руки, пледъ, покрывающій ея колѣни. Онъ дрожитъ отъ счастія. Развѣ онъ не думалъ, что все потеряно?

— Мнѣ почему-то казалось, что ты поймешь меня сразу... Видно самый любящій мужчина неспособенъ проникпуть въ нашу душу... Я сама хочу подняться на высоту, Маркъ. На ту высоту, о которой грежу... Безъ твоей помощи... Безъ твоего имени и... твоихъ денегъ.. Я хочу стать чѣмъ-нибудь, прежде чѣмъ двери распахнутся передъ женой Штейнбаха... Я не уважала бы себя, если бы чувствовала иначе... Не сердись, Маркъ!.. И подожди... Вѣдь осталось уже немного...

И въ голосѣ ея глубокая усталость.

— Я подожду,—отвѣчаетъ онъ тихо.—Я умѣю ждать...

3-е декабря 1910 г.
Москва.

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ.

Въ непродолжительномъ времени выйдетъ IV и послѣдняя книга романа „Ключи счастія“

НА ВЫСОТѢ.

Того же автора.

I. **СНЫ ЖИЗНИ.** Сборникъ разсказовъ. *Пятое изд. 12—22-я тыс.* Ц. 1 р. 10 к.
II. **ПЕРВЫЯ ЛАСТОЧКИ.** Повѣсть. *Четвертое изд. 12-я тысяча.* Ц. 80 к.
III. **ВАВОЧКА.** Романъ. *Третье изд. 17-я тысяча.* Ц. 1 р.
IV. **ОСВОБОДИЛАСЬ.** Романъ. *Третье изд. 16-я тысяча.* Ц. 1 р.
V. **ПРЕСТУПЛЕНІЕ МАРЬИ ИВАНОВНЫ.** Повѣсти и разсказы изъ жизни учащейся молодежи. *Четвертое изд. 13 — 23-я тысяча.* Ц. 1 р. 25 к. Обложка художника К. Спасскаго.
VI. **ИСТОРІЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ.** Романъ. *Второе изд. 15-я тысяча.* Ц. 1 руб.
VII. **ПО-НОВОМУ. ВЕЧЕРИНКА.** Повѣсти. *Второе изд.* Обложка художника П. Гославскаго. *15-я тысяча.* Ц. 1 р.
VIII. **ЧЬЯ ВИНА?** Повѣсть. *Третье изд. 11—19-я тысяча.* Ц. 1 р. 10 к.
IX. **ЗЛАЯ РОСА.** Повѣсть конца XIX вѣка. *7—15-я тысяча. Второе изданіе.* Ц. 1 р. 10 к.
X. **СЧАСТІЕ.** Сборникъ новыхъ разсказовъ. *10-я тысяча.* Ц. 1 р.
XI. **МОТЫЛЬКИ.** Разсказы и повѣсти. *10-я тысяча.* Ц. 1 р.
XII. **СВѢТАЕТЪ!..** Повѣсть въ память 9-го янв. 1905 г. *10-я тысяча.* Ц. 60 к.
XIII. **БЕЗПЛОДНЫЯ ЖЕРТВЫ.** Пьеса съ пред. автора. *6-я тысяча.* Ц. 80 коп.
XIV. **ГОРЕ УШЕДШИМЪ!..** Повѣсть. *Третье изд. 10—20-я тысяча.* Ц. 1 р. 25 к. Обложка художника К. Спасскаго.
XV. **ДУХЪ ВРЕМЕНИ.** Современный романъ въ 2-хъ книгахъ. *Второе изд. Тридцать-пятая тысяча.* Ц. 2 р.
XVI. **НАШИ ОШИБКИ.** 4-е изд. *За подвигомъ.* Повѣсти. *12-я тысяча.* Ц. 1 р. 10 к.
XVII. **МИРАЖЪ.** Пьеса, съ портретомъ автора. *Четвертая тысяча.* Ц. 1 р.
XVIII. **РАЗСВѢТЪ.** Пьеса. Обложка художника П. Гославскаго. *5-я тыс.* Ц. 1 р.
XIX. **МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ!** Автобіографическіе очерки съ 3-мя портретами автора. *Седьмая тысяча.* Ц. 1 р. 50 коп. (Дѣтство. Годы ученья.)
XX. **КЛЮЧИ СЧАСТІЯ.** Новый современный романъ. Книга 1-я печаталась въ 1909 г. въ кол. 15.000 экз. *Второе изд.*—въ 1910 г.—25.000 экз. Ц. 1 р. 25 к.
XXI. **КЛЮЧИ СЧАСТІЯ.** Книга 2-я печаталась въ сент. 1909 г. въ кол. 15.000 экз. *Второе изд.*—въ февр. 1910 г.—25.000 экз. Ц. 1 р. 30 к.
XXII. **КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ.** Книга 3-я (Дрожащія ступени). Ц. 1 р. 50 к.
XXIII. **КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ.** Книга 4-я (На высотѣ) готовится къ печати.
XXIV. **МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ!** Книга вторая. Юность. Готовится къ печати.

Изданія А. Вербицкой.

Вып. I. **ПОЛУЖИВОТНОЕ.** Романъ **Елены Белау**, пер. съ нѣм. Н. П. Дадоновой. *Четвертое изд. 10-я тысяча.* Ц. 80 коп.
Вып. II. **ИЗЪ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ.** Романъ **Габріэли Рейтеръ.** *3-я тысяча.* Пер. съ нѣм. **Ея же.** Ц. 1 р. *Все разошлось.*
Вып. III. **ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ОСМѢЛИЛАСЬ.** Романъ соціалиста **Грантъ-Аллена.** Пер. съ англ. **Ея же.** *Четвертое изд. 13-я тысяча.* Ц. 60 коп.
Вып. IV. **КУРСИСТКИ.** (Les Sévriennes.) Романъ **Габріэли Реваль**, изъ жизни парижскихъ студентокъ. Пер. **Ея же.** *6-я тысяча.* Ц. 80 коп. *Второе изд.*
Вып. V. **ПОТУСТОРОННІЯ ИСКАНІЯ.** Романъ **Дж. Мура.** Пер. съ англ. **Ея же.** *3-я тысяча.* Ц. 1 р.
Вып. VI. **ВРАГИ МѢЩАНСТВА.** (Въ поискахъ.) Романъ **Шляфа.** Пер. съ нѣм. **Ея же.** *3-я тысяча.* Ц. 80 коп.
Вып. VII. **СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ.** Романъ **Вассермана.** Пер. съ нѣм. **Ея же.** *4-я тысяча.* Ц. 1 р.
Вып. VIII. **КОНТОРЩИЦА.** Романъ **Рувра.** Пер. съ франц. Д. И. Соловьева. *4-я тысяча.* Ц. 60 коп.
Вып. IX. **ГИМНАЗИСТКИ.** Романъ **Габріэли Реваль.** Пер. съ франц. Н. П. Дадоновой. *4-я тысяча.* Ц. 80 коп.
Вып. X. **ТРЕТІЙ ПОЛЪ.** Романъ **Коллеты Иверъ.** (Les Cervélines.) Пер. съ франц. Н. П. Дадоновой. *7-я тысяча.* Ц. 85 коп.
Вып. XI. **ПРАВО НА ЛЮБОВЬ.** Пер. съ франц. А. Соколовой, подъ ред. В. П. Дадонова. *5-я тысяча.* Ц. 85 к.
Вып. XII. **ОГОНЬКИ.** (Сельская учительница). Ром. Леона Фрапье, удостоенный преміи Гонкура, съ 28-ю рисунками въ текстѣ. Съ предисловіемъ и подъ редакціей А. Вербицкой. Ц. 1 р. 25 к. *10-я тысяча.*
Вып. XIII. **НИЦЩЕАНКА.** Романъ Лезюэръ. Пер. съ фран. Н. П. Дадоновой. *7-я тысяча.* Ц. 85 к.
Вып. XIV. **ЧАРЫ ЛЮБВИ.** Пер. съ нѣм. Н. Іевлевой. Подъ ред. В. П. Дадонова. Ц. 1 р. (Печатается.)
Вып. XII. **СТАТИСТЫ ЖИЗНИ.** Леона Фрапье. Пер. съ франц. Л. Н., под. ред. В. П. Дадонова. Ц. 85 к. (*Печатается.*)